



ДОН_ НОВЫЙ 13/3-4

Литературно-художественный и общественно-политический журнал. Орган Союза писателей России, министерства культуры Ростовской области и Ростовского регионального отделения Союза писателей России

Главный редактор Г. В. Студеникина

Общественный редакционный Совет:

А. Г. Береговой, Ростов-на-Дону
В. И. Воронов, Старочеркасская Ростовской области
А. И. Глазунов, Сальск Ростовской области
Н. И. Дорошенко, Москва
Г. В. Иванов, Москва
И. Н. Кудрявцев, Ростов-на-Дону
В. И. Лихоносов, Краснодар
С. Н. Макарова, Краснодар
А. Н. Можаяев, Можаяевка Ростовской области
Б. А. Орлов, Санкт-Петербург
Е. Е. Пиетилияйнен, Петрозаводск
А. А. Резванов, Ростов-на-Дону
Н. М. Скрёбов, Ростов-на-Дону
Б. М. Стариков, Тихорецк Краснодарского края

Учредители: Союз писателей России

Ростовское региональное отделение СП России

Журнал выходит при поддержке министерства культуры РО

Попечительский Совет:

И. И. Переверзин, Литературный Фонд России
В. В. Свитенко, ОАО «Южтехмонтаж»
Б. М. Стариков, ООО «Пламя»
Н. Н. Грищенко, ООО «Сплав-Алексеевское»
И. И. Муругов, ООО «Транссервис»
А. Г. Береговой, ООО «Издательство «Донской писатель»
А. А. Ковалевский, СФ «Волгодонскэнергострой»
О. В. Токарев, ЧП

Издатель: ООО «Издательство «Донской писатель»

СОДЕРЖАНИЕ:

Алексей Береговой. *Ростовской областной писательской организации 90 лет*. Предисловие к юбилейному номеру. 4

ПРОЗА

Василий Воронов. *Загряжский пантеон*. Роман. Часть 1. (Продолжение). 8

Геннадий Селигин. *Сапоги для отца*. Рассказ-притча. 17

Юрий Харламов. *Как Солнечный Лучик сражался с Ночью*. Сказка. 28

Алексей Береговой. *«Да здравствует...»* Рассказ. 40

Владислав Ефремов. *Мой дедушка — управляющий!* Рассказ. 53

Владимир Барвенко. *«Я как-то был счастливым...»*

Отрывок из романа «Дыхание Голгофы». 56

Александр Можаяев. *Серый дом*. Повесть. Окончание. 62

Александр Кравченко. *Выя*. Рассказ. 102

Галина Лободина. *«...И на прогнание всякого супостата...»* Отрывок из романа «Рать соборная». 117

Григорий Рычнев. *«Вот на ж тебе, мать!..»* Отрывок из романа «Покровский Спас». 134

Алексей Глазунов. *Журавлик*. Рассказ. 142

Николай Бусленко. *Ожог*. Рассказ. 154

Геннадий Колесов. *Россия!..* Былинки. 162

Константин Полупанов. *Береги себя...* Отрывок из рассказа «Шаги слёз». 177

Анатолий Рощупкин. *Затмение*. Рассказ. 181

Людмила Хлыстова. *Пустая квартира*. Рассказ. 190

Тамара Привалова. *«Рассказать маме...»* Новелла. 198

Ксения Баштовая. *Круги на полях*. Рассказ. 218

ПОЭЗИЯ

Игорь Кудрявцев. *И хмарь, и улыбку приму...* Стихи. 6

Леонид Дьяков. *Твои вечерние глаза*. Стихи. 15

Виктор Шостко. *Неуловимое смещение...* Стихи. 26

Виктор Чеботников. *В зоне юности моей*. Стихи. 60

Виктория Можаяева. *На ниточке*. Стихи. 81

Анна Ковалёва. *И поверилось...* Стихи. 105

Ольга Губарева. *Романс*. Стихи. 116

Юрий Ремесник. *Эхо любви*. Стихи. 125

Владимир Моисеев. *Сексуальные часы*. Стихи. 131

Юрий Карташов. *Я говорил тебе о красоте*. Стихи. 140

Галина Студеникина. *Иной любимой не бывает*. Стихи. 151

Журнал

«ДОН_НОВЫЙ»

распространяется на территориях России и стран СНГ.

Содержание журнала не всегда отражает точку зрения редколлегии на затронутые авторами темы.

За точность имён, цифр и фактов ответственность несут авторы.

Редколлегия оставляет за собой право не разъяснять авторам причины отказа в публикации их произведений.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Все произведения публикуются в журнале «ДОН_НОВЫЙ» пока на безгонорарной основе. Авторам предоставляются бесплатно по 2 номера журнала с их публикациями. Присылка авторами своих произведений для печати в журнале «ДОН_НОВЫЙ» считается их согласием на безгонорарную публикацию.

Клавдия Павленко. <i>Я затаюсь...</i> Стихи.	159
Николай Китаев. <i>Узоры.</i> Стихи.	167
Ирина Сазонова. <i>На грустном излёте.</i> Стихи.	174
Алексей Сазонов. <i>Фортуна моя бедовая.</i> Стихи.	179
Кнарлик Хартавакян. <i>Расплесните лазурь.</i> Стихи.	188
Алексей Кеда. <i>От сладких губ.</i> Стихи.	193
Валерий Калмацуй. <i>Всего-то...</i> Стихи.	194
Борис Стариков. <i>Открыта дверь...</i> Стихи.	196
Дмитрий Ханин. <i>Встречая перелётную весну.</i> Стихи.	203
Владимир Диклов. <i>Роняют звёзды...</i> Стихи.	205
Ольга Корнеева. <i>Вот и славно.</i> Стихи для детей.	213
Роза Агоева. <i>«Я знаю, что в начале было слово».</i> Благой	
Димитров. Перевод с болгарского.	215
Маргарита Григорьева. <i>Отдаём в залог...</i> Стихи.	216

ОЧЕРКИ И ПУБЛИЦИСТИКА

Михаил Астапенко. <i>В годы царской опалы.</i> Отрывок из книги «Вихорь-атаман».	32
Владимир Жуков. <i>Духовные мысли для правителя.</i> Фрагменты шестой главы из книги «Правитель».	107
Владимир Мостипан. <i>Благовест к заутрене.</i> Отрывок из фенологического этюда «Грусть ли осень?!»	128
Вячеслав Зименко. <i>В грибном царстве.</i> Эссе.	207

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Людмила Малюкова. <i>Революцией «мобилизованный и призванный».</i> Критическое обозрение.	168
---	-----

МНОГОГО ЕЩЁ НЕ РАССКАЗАЛ...

Николай Егоров. <i>Мчит поезд...</i> Стихи.	84
Николай Скрёбов. <i>Как повезло мне.</i> Стихи.	87
Наталья Суханова. <i>Час открытых дверей.</i> Рассказ.	90
Игорь Бондаренко. <i>Вот такой был человек.</i> Эссе.	94
Аршак Тер-Маркарян. <i>Лунный коростель.</i> Стихи.	99

ББК 99(2Рос-Рус)87

Д-124

ISBN 978-5-87612-058-8

Литературно-художественный и общественно-политический журнал «ДОН_новый» №№ 3-4, ноябрь 2013 г.

Издатель: ООО «Издательство «Донской писатель»

Над выпуском работали: Атланова Н.С., Береговой А.Г., Малов П.Г., Студеникина Г.В., Ханин Д.И.

Художник Никулин М.Н.

Фотохудожники: Аникин А.И., Хлыстов В.Т.

Директор издательства Береговой А.Г.

Тираж 950 экз. т.ф. 8-918-599-67-51; 8-988-567-43-95;
8-918-854-80-59.

e-mail: don_new@rambler.ru

Авторы присылают свои произведения в журнал только электронной почтой по адресу: **don_new@rambler.ru** в программе «WORD» без макетирования и без архивирования.

Рукописи для публикации в журнале «ДОН_новый» принимаются только при соблюдении следующих правил набора:

1. Обязательное применение в наборе текстов буквы «ё».
2. При наборе прозаических текстов обязательно применять знак «длинное тире», при наборе поэзии — знак «короткое тире».
3. Не допускается использование знака «дефис» или знака «нижнее подчёркивание» вместо знака «тире» и наоборот.
4. Не допускается «украшение» текстов различными декоративными вставками, рисунками, фотографиями.
5. Фото- и изоматериалы присылать только в программе «Фотошоп».
6. В присланных работах обязательно должны быть указаны фамилия автора, его электронный адрес (при наличии такового) и номер телефона.

Рукописи, не соответствующие указанным условиям набора, рассматриваться не будут.

Редколлегия

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 90 ЛЕТ



Уважаемый читатель!

Перед вами исторический номер литературно-художественного журнала «ДОН_новый», который посвящён знаменательной дате — 90-летию Ростовской областной писательской организации, одной из самых старейших в стране.

5 октября 1923 года партийным руководством региона было принято постановление о создании в Ростове-на-Дону, столице Северо-Кавказского края, Ростовского отделения Российской Ассоциации Пролетарских Писателей (РАПП), которая должна была стать творческим противовесом уже существовавшему тогда отделению Всероссийского Союза поэтов (СОПО). Почему Ассоциация создавалась именно как «противовес», в постановлении не говорится, — видимо, СОПО представлял собой не самый лучший образец творческого литературного союза.

По поручению Юго-Восточного бюро ЦК компартии возглавил новую организацию драматург Владимир Киршон, у истоков Ростовской писательской организации стоял и Александр Фадеев. С созданием в стране в 1935 году Союза писателей СССР, ростовское отделение РАПП стало называться Ростовской писательской организацией в составе Союза писателей СССР.*

За годы своего существования Ростовская организация дала стране немало ярких писательских имён, среди которых Константин Тренёв, Александр Се-
рафимович, Николай Погодин, Владимир Ставский, Вера Панова, Анатолий Софронов, Николай Доризо, Михаил Никулин, Виталий Закруткин, Владимир Черносвитов, Борис Куликов, Анатолий Калинин, Виталий Семин, Владимир

* Некоторые исторические сведения о Ростовской писательской организации взяты из справочника «Писатели Дона», Ростовское книжное издательство, 1986 г.

Фоменко, Павел Шестаков, Даниил Долинский, Анатолий Гриценко, Александр Рогачёв, Ашот Гарнакерян, Владимир Фролов и многие, многие другие, не говоря уже о всемирно известном гении русской литературы Михаиле Александровиче Шолохове, который непосредственно членом Ростовской организации не был, но имел с нею прямые связи.

И сегодня на Дону живут и работают писатели, среди которых есть мастера слова всероссийского уровня, и сложно выбрать лучших из них — талантливых писателей, которые живут и творят ныне на Дону.

Жива и крепка в текущий период всеобщих перемен Ростовская писательская организация, которую теперь представляет на российском литературном небосводе её правопреемник — Ростовское региональное отделение Союза писателей России. С уважением относятся члены СПР и к творчеству донских представителей Союза российских писателей.

Была сначала задумка выпустить сборник в виде книги к юбилею организации, потом кто-то из писателей подсказал: есть у нас теперь свой, возрождаемый под эгидой Союза писателей России, журнал, и было решено вместо сборника выпустить очередной номер журнала юбилейным.

В него вошли произведения 52-х донских писателей. Самому старшему из них, Николаю Матвеевичу Егорову — 90 лет, самому молодому, Дмитрию Ханину — 23 года. Объединяет их преданность литературе, творческая самоотдача, талантливость и любовь к Родине, желание быть сопричастным её культуре.

Под обложкой журнала Редсовет собрал практически всех лучших на сегодня, профессиональных писателей Ростовской области.

Разрешите мне поздравить писателей и читателей Дона с нашим общим праздником — 90-летием Ростовской писательской организации.

Алексей Береговой, председатель правления Ростовского регионального отделения Союза писателей России, секретарь Правления Союза писателей России

19. 9. 2013.

Алексей Береговому
с благодарностью
за удельный номер
номер нового „Дона“
Донские писатели всегда
Гни одной из ведущих
организации Союза
писателей России.
Так держать!
Ст. Куняев

Игорь Кудрявцев



И ХМАРЬ, И УЛЫБКУ ПРИМУ...

Проживу среди добрых-недобрых людей,
Безнаказанно путая горе с весельем:
То ли каркает в кущах моих соловей,
То ли ворон зашёлся рассыпчатой трелью.
Новолуние сердца придёт – не придёт,
Свистнет полдень разбойный, пугая задворки.
Не беда, коли ветер залётный рванёт,
Будто ворот рубахи, оконные створки.
Остаются от прожитых вёсен в золе
Золотинки мгновений у быстрой протоки...
Нынче мне одиноко на этой земле
Оттого, что тебе одиноко.

СНЕГ

Снег придёт из ниоткуда,
Снег появится из чуда,
Снег придёт, как строчки эти,
И тебя во мне осветит.

ПОД ВЕЧЕР

И хмарь, и улыбку приму...
Под вечер дорогу уйму...

Игорь Кудрявцев, член Союза писателей СССР (1979), России, Международного сообщества писательских союзов, лауреат Всесоюзной литературной премии (1978), автор книг и публикаций, вышедших в Ростове-на-Дону, Москве, за рубежом, соавтор композитора и певца, заслуженного артиста России Вячеслава Малезика.

Живёт и работает в г. Ростове-на-Дону.

А небо спокойно взирает,
Как жизнь монотонно, во тьму,
На стрелках часов убывает.

УЙТИ

Уйти на выдохе Зимы,
А там, за рощей, – Вёсень,
А там – и летние холмы,
А там – и горькие дымы
Относит к долу Осень.
Жизнь, говорят, затейный сон:
Горчит, а всё же сладок он.
И хочется остаться,
И надо просыпаться.

АЛЛЕЯ

*Льётся дней моих розовый купол...
С. Есенин*

Зелёная аллея – не встретишь зеленей –
Сомкнулась надо мною в зелёный купол дней.

Зелёная аллея, у неба под пятой
Ты бросишь на дорогу листянный золотой.

И там, где ветродуем зима утюжит след,
Сомкнёшься надо мною в неброский холмик лет.

Май – такой-разэтакий, и в окне зарит.
«Умирать не хочется», – мама говорит.

«Умирили, милая, смерды и князья,
Вороги несметные, молодцы-друзья,
Чудища болотные, солнышку грозя,
Царства-императорства... а тебе – нельзя...»

Как белый сон, как наважденье,
В окно ломился Снеговал...
Я по утрам стихи писал
О том, что снег лежал вповал,
Что есть маяк на берегу
(Так ненавидящий пургу),
О том, что скоро предвесенье,
Что жизнь моя – стихотворенье
На вечеряющем снегу.

Василий Воронов



ЗАГРЯЖСКИЙ ПАНТЕОН

Роман

(Продолжение. Начало в №2, 2013 г.)

15

С утра у Егорькова Ключа собирались сотни паломников. Они сидели в тени под вербами, ожидая хозяйку. Многие были из дальних мест и ночевали тут же на траве под деревьями. Дети играли в чехарду, женщины раскладывали на рушниках нехитрую снедь, тихо переговаривались...

Хозяйка запаздывала. Дрюня в монашеском одеянии сидел в домике у самого родника возле купальни, слушая точёные пересвисты соловьёв и человечьи клики кукушки. На днях отец Амвросий благословил своего друга носить монашеское облачение и именоваться старцем Андреем, как его давно уже называли паломники. Они же — с почтением называли матушкой Софью Ильиничну; надо полагать, не без её просьбы. Старец и матушка уже прославились исцелением министра. — В купальне на глазах у толпы паломников вылечили мальчика от заикания. Много лет страдающий от судороги местный учитель прямо у родника отбросил костыли и стал делать приседания, как молодой. Но самым впечатляющим было выздоровление молодой женщины с нервным расстройством. Её накрывала падучая по несколько раз в день. И вот после двухнедельного купания в ледяной родниковой воде и растирания сухими полотенцами женщина объявила всем, что выходит замуж, и до скончания дней своих будет молиться за старца Андрея и матушку Софью... Царица небесная, все во власти твоей! Сколько умников остались в дураках, не вкусив блаженства испытать чудо. А может, им не дано видеть то, что видят страждущие и алкающие благодати. Хвала вам, вкушающие ис-

Василий Воронов, член Союза писателей СССР (1984), России, прозаик, публицист. Автор ряда книг прозы и публицистики. 2006 – 2011 гг. — председатель правления Ростовского регионального отделения СП России.

Живёт и работает в станице Старочеркасской Аксайского района Ростовской области.

целение и утешение в Егорьевом Ключе от старца Андрея и матушки Софьи.
Ищите и обряцете!

Хозяйка появилась, как ясно солнышко, светлая, целомудренная. В белой приталенной кофточке, в белом шёлковом платочке, с веткой жасмина в руке. Паломники почтительно встали, кланяясь. Низко поклонилась и матушка Софья.

— Здравствуйте!

Она спустилась к купальне, поздоровалась со старцем Андреем и уселась в плетёное кресло. Две служки стояли у входа, у открытой железной калитки, пропуская по двое паломников. Две медсестры у купальни принимали пациентов, проделывали водные процедуры, растирали сухими полотенцами, напутствовали советами и обращались к другим страждущим исцеления. Процесс сопровождался жалобами, стонами, мольбами... Участие старца Андрея заключалось в накладывании рук на головы пациентов, стоящих в купальне и обращением к каждому:

— Во имя Отца и Сына, окунайся!

Процедуры длились каждый день с утра до вечера, и паломников прибавлялось. Гостиница была переполнена, люди устраивались на ночлег по соседним дворам, а то и вовсе на траве под деревьями. Хозяйка начала строительство ещё одной гостиницы. Прикладбищенский бизнес процветал. Отец Амвросий, благословивший Егорьев Ключ, теперь укоризненно качал головой и говорил своему другу Дрюне:

— Негоже подогревать людские страсти. Негоже брать деньги за дармовую водицу...

Дрюня вздыхал, мрачнел и отмалчивался.

Тихон, директор кладбища, всегда под хмельком умилялся и хвалился загрязцам:

— Это не женщина, а совет министров! Софья Ильинична даст фору любому Ротшильду. Молюсь и буду молиться за неё до скончания века.

В этот день Соня выглядела не совсем обычно. Многозначительная улыбка дрожала на губах, рука беспокойно теребила ветку жасмина. Белая прозрачная кофточка с глубоким вырезом на груди выглядела не совсем скромно на этом почти церковном обряде... Она недолго побыла у родника, царственно встала с кресла, позвала старца Андрея и повелела:

— Андрей Васильевич, пожалуйста, зайди ко мне в обеденный перерыв...

Голос Сони был по-девичьи чист, воркующ. Веточка жасмина медленно щекотала кончик носа. Прямой немигающий взгляд был настолько откровенен, что Дрюня почесал поясницу и отвёл глаза.

Соня ждала своего компаньона в комнате отдыха, вход в которую был прямо из кабинета. В комнате было прохладно и темно, работала охладительная установка. Небольшой столик был накрыт просто и со вкусом. — Отварное мясо, овощи, балык из осетрины, чёрная икра. Коньяк, соки. Огромная ваза с розами... Пока Дрюня осваивался с темнотой и разглядывал закуски, из глубины комнаты вышла Соня в розовом прозрачном халате. Она улыбнулась

многозначительно, вскинула голые руки к затылку, прищипывая длинные волосы. Сквозь прозрачную ткань близко виделись тёмные подмышки и тёмный мысок под животом.

— Дрюня, милый,— сказала она буднично, по-родственному. — У меня сегодня именины. Ты мой родственник и друг самый близкий в Загряжске. Поздравь меня.

Дрюня облизнул губы и твёрдо сказал:

— Поздравляю!

— Поцелуй меня.

Дрюня взял в ладони её маленькую голову и медленно, тщательно поцеловал в губы.

— Иди ко мне... — Она медленно отступала в темноту, роняя на пол халатик. — Иди... Тут хорошо, мягко...

Дрюня пожевал пересошие губы и косолапо потянулся к ней...

Через полчаса они сидели за столом, пили коньяк, ели мясо с кинзой и огурцами. Дрюня наивно спрашивал:

— Ты зачем... это?

Соня строго посмотрела ему в глаза.

— Дурачок ты, Дрюня. Ребёнка хочу.

— А муж? Денис?

— Он знает.

— Это... это как-то по-московски...

— Дрюня, ты же понятливый: Денис не может, — что же мне, на дискотеку ходить? Ты из Пучеглазовых; порода хорошая — вот весь мой расчёт. Мне наследник нужен, сыночек... Давай выпьем, ты поймёшь меня.

За свою грешную жизнь Дрюня познал немало женщин, и на старости лет они мало чем могли его удивить. Соня его удивила. Он стучал по темени кулаком и восхищённо изрекал:

— Царица!

После этого он как-то попытался обнять её, — Соня наотмашь ткнула его локтем и зло отрезала:

— Слышишь! Никогда больше не прикасайся ко мне!

Дрюню точно кипятком ошпарили. Он с ожесточением скрёб затылок и мотал головой:

— Царица!

Она милосердно погладила его по голове, приказала:

— Тогда служи мне!

И — пропал казак! Никогда уже мы не увидим прежнего Дрюню, вольного и гордого сына Загряжска. Не совершить ему больше рыцарских подвигов и поступков, не пировать с друзьями в «Шалашах», не петь, не плясать на свадьбах и гульбищах. Уготовано тебе, атаман, жалкое прозябание возле бабьей юбки! Не жены, не любовницы, не подружки даже, а так, пришей-пристебай, заезжей цыганки-молдаванки. Будь жива Антонина, получил бы от неё горячую оплеуху, а гордая Клариса навсегда бы отворотилась от своего рыцаря. А уж Кукуй-Прискоков дал бы тебе в морду такой хук, которого сроду не видели в Загряжске. Впрочем, что же мы заживо хороним человека! Много

раз спотыкался, падал Дрюня. Но вставал! Поднимался! И совершал! Удивлял и загрязцев, и президента даже. Осталась ещё вера у земляков, что восстанет Дрюня, просияет его имя на скрижалях Загрязска! Поживём — увидим.

Видно, суждено Дрюне на своем веку попадать в переплёты...

В последние годы в Пантеоне стали хоронить всё больше чужих людей. Ничем не прославивших Загрязск. Больше того, позорящих славный город. Хоронили за большие деньги с почестями, достойными, разве что, государственных мужей и просиявших в вере Христовой. Ропот пошёл по Загрязску: богатеют на святом деле чиновники из мэрии, Сонька Пучеглазова, отец Амвросий...

Очередные похороны в Пантеоне обернулись всероссийским скандалом. В Загрязск нагрянула бригада бритых яйцеголовых качков на четырёх джипах. Они зашли в мэрию, заручились поддержкой и отправились на кладбище. Отыскали директора кладбища Тихона и приказали рыть яму в Пантеоне. Тихон, глядя на ядрёных немногословных ребят, струхнул и, заикаясь, стал задавать законные, вроде, вопросы:

— А где разрешение? А Софья Ильинична? А отец Амвросий? А кого хороните?..

Старший с тремя складками на затылке с трудом разлепил губы:

— Старичок, через час выкопаешь яму там, где укажут. Задачу понял?

— П-понял...

Некстати появился Дрюня с метлой и совком в руках.

— В чём нужда?

Старший даже не повернулся, жестом показал — уйди, исчезни. Один из хлопцев больно ткнул пальцами в грудь:

— Вали отсюда!

Дрюня споткнулся, устоял однако, расставил ноги пошире и взял метлу наперевес. Обидчик мгновенно выхватил пистолет и, не целясь, стал палить по ногам. Дрюня упал, корчился и выл от боли. Из лодыжки через штанину хлынула кровь. Из раскрытых церковных дверей полоснул женский крик:

— Убивают!

Мгновенно собралась толпа. Быстрыми шагами, почти бегом, спешил отец Амвросий. Он осмотрел рану, крикнул Тихону:

— Вызывай «скорую»! Несите полотенца из церкви! Накладывайте жгут!

И — милицию, вызывайте милицию!

И гневно, задыхаясь, бандитам:

— Стрелять в человека у храма Божьего? Кто вы такие?

Старший, не меняя интонации, пояснил священнику:

— Мы попросили выкопать яму для уважаемого человека. Через час привезут покойника, приедут люди. Нас не услышали. Теперь говорю тебе, старичок: через пятьдесят минут ты выкопаешь яму. Задача понятна?

Приехала «скорая», приехал начальник милиции с ОМОНОм. Оттеснили людей, бандитов увели в офис Софьи Ильиничны. А через несколько минут кладбищенская похоронная бригада стала рыть могилу в Пантеоне. Бандиты сидели в холодке, пили холодный сок, наблюдая за работой бригады. ОМОН

стоял в оцеплении и не пускал отца Амвросия в церковь. Он что-то кричал начальнику милиции, махал кулаками, но полковник повернулся к нему тучной спиной и не хотел слышать глупости.

Через час все прикладбищенское пространство заполнили богатые лимузины. Столько дорогих машин Загряжск видел впервые. И впервые, наверно, видел таких людей. В золоте, в бриллиантах на часах, на телефонах, на браслетах и перстнях, на колье и брошках, на сумочках и на тростях. Кажется, и в карманах у них были бриллианты россыпью. Как семечки, как арахис, как кириешки... Чинно, по сценарию хоронили уважаемого человека в миллионнодолларовом гробу. — Море речей, море цветов, море вдов, братьев, сестёр, дядей, тётей, сотни племянников и племянниц... Все были здесь родичи, семья, династия, подданные. Уже перегрелся интернет от срочных сообщений: в Загряжске хоронят короля, убитого снайпером другого короля в Москве, среди бела дня. Имя короля известно всей стране: Иванов Иван Иванович (дед Басан). Один ядовитый московский политкомментатор предложил народу по случаю кончины деда Басана избирать в России не президента, а короля. — Смотрящего по России.

Впрочем, прочь политику! Все горазды в политике! И речисты, и умны, и влиятельны, решительно все нынешние политики — дети самых чиновных людей России. Там нет загряжцев, нет забалуевцев; нет из Нахаловки, Горелова, Неелова, Неурожайки тож. Там питерцы и москвичи. По мне, так — век не слушать политики! Заткнуть уши и вовсе жить без политики. Увы, она — как серозный менингит, и нет от неё спасения... Вернёмся лучше к любезному нашему сердцу Дрюне.

Атаман сидел с перебинтованной ногой на скамейке у своего дома под столетней липой. Рядом — его верный друг отец Амвросий. Они говорили ни о чём, хотя на душе у обоих было более чем скверно.

— Скажи, батюшка, откуда тля поганая взялась? Все сады, огороды, каждая былинка в поле — всё облеплено тлей. Под липой сидим, и с липы сыпется зелёная мука. Всё тело свербит.

Отец Амвросий задумчиво чертил палочкой по песку.

— Тля ест траву, ржа ест железо, а лжа душу... И души человеческие ест тля поганая. Откуда взялась? От человека вся тля. За моим огородом Коля Буркун живёт. Здоровый малый, нигде не работает, на шее у жены сидит. С утра до вечера шляется по пойме, по камышам. Уток стреляет, фазанов, куропаток, горлинок... А фазан — колорадского жука поедает. Нет фазана, — жук на твою картошку приходит. Буркуны по всей России пошли, а фазанов всё меньше и меньше...

На днях ко мне фермер приходил, наш, загряжский. Спрашивал совета. Напротив Загряжска хутор Дачный, ты знаешь. И особняк, замок рыцарский прямо на берегу видел; он как на ладони. И владельца его, рыцаря, наверно, видел. На двух джипах ездит, с охраной. Где он работает, где служит — никто не знает. Вырыл бухту этот рыцарь от Дона к самому крыльцу, там яхты стоят. Купальни с мостками прямо к спальне вывел. Много чего настроил в бухте. Но рыцарь проход и проезд по берегу Дона перекрыл своей бухтой. Скот про-

гнать нельзя, груз провести соседям нельзя, и пеши пройти по берегу нельзя через рыцарские владения. А фермер — сосед. Написал он письмо губернатору, ещё человек пять хуторян подписались. Как же, товарищ губернатор, спрашивали хуторяне, получается? Нас штрафуют за ведро песка с берега: водоохранная зона, — закон. А тут бухта и забор поперёк Дона. Заступись, губернатор, спаси и сохрани от лихого человека. Не по почте послали письмо фермеры, сами поехали в правительство, сдали письмо в канцелярию, получили квиток с печатью. Через неделю-другую заходят во двор к фермеру трое охранников рыцаря, показывают фермерское письмо:

— Ты писал губернатору?

— Писал.

И, молча, взялись охаживать его резиновыми дубинками. — Кровь из ушей шла.

— Сунешься ещё раз с кляузами — дом вместе с семьёй спалим!

И так со всеми подписантами.

Фермер и говорит мне, как об деле обдуманном:

— У меня карабин есть, десятизарядный. Ночами во сне вижу, как целюсь в переносицу. Семья, батюшка, семья держит... Посоветуй, что делать?

Отец Амвросий встал со скамейки и в волнении ходил взад-вперед перед Дрюней.

— Теперь скажи, друже, что я могу ответить, посоветовать фермеру?

Дрюня решительно рубанул рукой:

— Я бы с удовольствием застрелил рыцаря!

— Та-та-та! — передразнил друга отец Амвросий. — Герой какой храбрый! У тебя детей нет! И жены нет! Тебе можно в партизаны идти.

Дрюня помрачнел и ничего не ответил.

— Вот так и я, отмолчался. Есть вопросы, на которые нет ответа. Разумного ответа...

Моё дело молитва, и я молюсь за фермера и его товарищей.

— А как же губернатор? — Он не раз бывал в твоей церкви, и ты благословляешь его.

— Я давно не благословляю губернатора.

17

— Я, наверно, уже никого благословлять не буду... Грех на мне великий и не могу я служить Господу с чистым сердцем.

— Что ты несёшь, друг мой сердечный?! Какой грех на тебе, душа голубиная?

— А то, любезный Дрюня, что в Пантеоне похоронили недостойного человека. И я в том повинен. Среди прихожан ропот: осквернили Пантеон, и нет мне прощения. Поеду к владыке просить отставки.

Дрюня перекрестился и сказал, потупясь:

— Значит, и на мне грех, батюшка. Вместе будем его замаливать. Только не горячись, не беги поперёд батька. Дай мне подумать...

На следующий день Дрюня с утра пришёл к отцу Амвросию и попросил разрешения поправить водосток в Пантеоне: дождевая вода из водосточной трубы как-то неправильно уходила под мраморные плиты...

Смотритель основательно взялся за ремонт водостока. Возвёл леса возле последнего захоронения, снял несколько мраморных плит ближе к церковной стене и стал копать вглубь. Со стороны не было видно, что делается за лесами; разумелось, — как обычно, текущий ремонт... Какая, читатель, новостройка обходится у нас без текущего ремонта?

Дрюня колупал возле стены долго, лениво и, казалось, ремонт водостока затянется до зимних холодов, до морозов. Случилось ещё хуже. — Дрюня закончил колупать, уложил плиты на место, убрал леса, умылся с яичным мылом, перекрестился на купола и с блаженной улыбкой, с просветлёнными глазами произнёс несколько раз:

— Прости, Господи, грехи моя грешныя...

Недели через две, после осенних затяжных дождей в Пантеоне случился карст. Могила деда Басана ухнула в тартарары! На её месте зияла желтизной круглая, как лейка, воронка. Ни гроба, ни надгробия. — Господи, помилуй, не дай и не приведи!

Загрязск гудел, как растревоженный улей. Молва сводилась к тому, что над древним погостом нависло проклятие. Проклятие мёртвым во устрашение живых. Напрасно учёные люди и наш знакомый профессор из университета разъясняли загрязцам карстовую природу провала. Учёных людей благодарили, угощали их крепкими напитками, но всё их красноречие называли бабушкиными сказками, а провал в Пантеоне — карой Божьей.

И никто из загрязцев не обратил внимания на небольшую заметку в одной из московских газет:

«Гроб без покойника

На днях турецкий пограничный катер выловил в Чёрном море необычный предмет. Со стороны России ветер пригнал пустой гроб с красной шёлковой обивкой. Изделие было из красного дерева, поваплено и украшено драгоценными камнями. Кому принадлежал гроб и где покойник не установлено. По мнению специалистов, гроб принадлежал богатому и влиятельному человеку. находка находится в Турции на морской таможне и может быть выдана российской стороне на основании подтверждающих документов».

Заметку эту всё же прочитал в Загрязске один человек, — это был отец Амвросий. Он встретил Дрюню долгим укоризненным взглядом и, молча, покачал головой. Дрюня, так же молча, поклонился и, глядя на блестящие носки своих офицерских сапог, пробормотал чуть слышно:

— Я, батюшка, давно не исповедовался... Завтра натошак — под причастие... Исповедоваться хочу.

— Приходи, — сурово ответил старый друг.

(Окончание следует)

Леонид Дьяков



ТВОИ ВЕЧЕРНИЕ ГЛАЗА

ТЕПЛЫНЬ

Теплынь... Последняя теплынь.
Земля, расслабься, мирно дышит,
И дали дальние светлы,
И пахнет день корою вишен.

И паутинный тонкий след
От ветки тянется, тоскуя...
И молодой рыбак-сосед
Над лодкой что-то морокует...

Не понимая, что со мной,
Смотрю, как тихо лист кружится,
Как ветер еле шевелится
Над увядающей травой...

И ясный воздух у воды
Свеж и пронзительно спокоен;
И кажется, что над рекою
О чём-то думают сады.

Быть может, думается им,
Как мне, наедине с собою –

Леонид Дьяков, член Союза писателей СССР (1988), России, поэт. Автор 12-ти сборников стихотворений. Лауреат премий им. В.А. Закруткина и им. М.А. Шолохова. Живёт и работает в г. Ростове-на-Дону.

Леонид Дьяков

Что неизбежен ветер зим
Под этой крышей голубою...

Пролети, пронеси, не задень
Ни закатом,
Ни грозным обвалом...
Пусть останется светлым
Тот день;
Это небо, что нас укрывало;
И – дороги,
Что нас привели
От тоски и от прочих
Печалей
В золотую долину любви,
Где мы солнце с тобою
Встречали!..

Пусть останется светлым
Тот час,
И – слезинка на краешке смеха...
И – душа,
Уберегшая нас
От холодного вечного снега.

С утра повеяло весною...
Февраль себя
Не узнаёт –
И в ясной выси надо мною
Так беззастенчиво поёт!

И уплывают все печали,
Что в сердце я своём
Скрывал,
Когда тебя в далёкой дали
Самозабвенно целовал...
И сладкая брала истома,
И тлела на щеке
Слеза...
И погружался я, как в омут,
В твои вечерние глаза.

Геннадий Селигин



САПОГИ ДЛЯ ОТЦА

Рассказ-притча

1

Кассовая ниша старательно забита сальными бумажными комками, дубелыми огрызками пирожков, скорлупой кедровых орешков, кручёными окурками. Тут же висит расписание. Но буквы в нём выцвели, иные сколупнуты. И разобрать что-либо для своей пользы Никитов затруднялся.

Под расписанием, на вытертой до лоска скамье, женщина молодая, почти юная, кормила грудью ребёнка. Рядом возился мальчик лет четырёх в капелюхе и длинном сером пиджаке с гремучими пуговками. Он городил из ладоней загончик, в котором ползала горбатенькая козявка в поисках выхода.

Никитов покосился на белую обнажённую грудь женщины. Помаявшись, справился о работе кассы. На него глянули спокойно, как на давнего знакомого. Большие, по-взрослому понятливые, глаза обратил к нему и карапуз.

На какое-то время Никитов пришёл в оторопь. Почудилось, будто в полутёмный вокзальчик-чулан втиснули полотно старого итальянского мастера с мадонной и младенцем...

Женщина не ответила ему. Спокойно, как взрослые, занятые серьёзным делом или обдумыванием его, вели себя и её дети.

Другие стены тоже подпирали скамейки. Не слишком плотно — по два, по три — и как бы в давней дремоте, на них располагались старики и старушки. У некоторых на коленях, у других рядом, на полу, лежали и стояли узлы и кошёлки. Никитов намерился и у этих людей разузнать про кассу и поезд. Но передумал. Какая-то обречённость в занемелых позах удержала его.

Геннадий Селигин, член Союза писателей СССР (1988), России, прозаик. Окончил историко-филологический факультет РГУ. Лауреат премии «Творчество Дона», учреждённой администрацией области и Региональным общественным фондом поддержки писателей и литераторов Дона. Лауреат Всероссийской литературной премии им. В.И. Белова. Автор книг: «Повозка с голубыми жар-птицами», «Санитарный час», «Саваоф в пустыне», «Зелёная корона», «Осколки». Живёт и работает в г. Ростове-на-Дону.

В поисках другой, живой кассы, обошёл вокзал. Никитова поразило станционное здание, хотя знал его с незапамятной поры. Совсем игрушечное. К нему примыкал портик с двумя белыми облупленными колоннами. Подобные вокзальчики были на детской железной дороге в его городе.

Тут же оказалась площадь-пятачок, куда подкатывали поезда и где разворачивались местные автобусы. Кучками и в одиночку стояли, а где и сидели на чемоданах и прямо на траве, в тенёчке кустов люди. Все эти люди были пожилые, больше — совсем преклонных лет. Никитов покрутился между ними, что-то соображая. Наконец, сердце его ёкнуло... Сразу за платформой начинался лес, а железной дороги не было.

Невероятным открытием он не стал ни с кем делиться, боясь сплеховать, а решил провести самостоятельное расследование.

От вокзала уходила единственная тропа. Но и она таяла в зарослях. Путаясь чемоданом, Никитов потащился этой тропой.

Она вывела его к реке. Воздух здесь был тяжеловатый, гнилой. По густой, кофейного цвета, воде в сонливой натужливости, с задержками, двигались плоты и одиночные брёвна, а по берегу ходили люди в серых брезентовых робах с надвинутыми на головы капюшонами. Они, видать, и сталкивали их в воду. Но не река была сейчас целью Никитова. И её, и людей он отметил лишь краем глаза.

Круто отвернув, он попал на старую вырубку. И тут обнаружили рельсы.

Рельсы были ржавелые. Совсем же подрезало Никитова, что упирались они в земляной холмик, на котором возвышалась виселица из шпал, означавшая тупик. Никитов уместился на склоне холмика, сильно смахивающего на могильный бугорок, и опустелыми глазами уставился в шпалы. Из-под них выползали жёсткие кручёные стебельки с мелкими колючими листочками.

Неведомо сколько просидел бы он так, если бы не захотелось есть. Никитов открыл чемодан и стал ощупывать свёртки. В одном было нечто несуразное, и Никитов развернул его.

В упаковке оказались резиновые сапоги. Никитов снова, но теперь уже не со страхом, а с изумлением окинул рельсы.

Только вчера приехал сюда с этими сапогами. Да, он не нашёл дороги в деревню, где жили его родители. Но купил-то сапоги в своём городе. И вёз их отцу. Он обещал и потому купил. И привёз их... да, точно вчера. Но как? От железной дороги — один ржавый аппендикс...

Никитов взял себя в руки. И тогда закралось сомнение насчёт места покупки сапог. Может, приобрёл их в посёлке? Когда ехал сюда, то всю дорогу потреблял хмельное с такими же резвыми попутчиками... Стоп! Его даже потом прошибло от предположения, что мог сойти не на той станции.

Он решил проверить.

Сначала вернулся к вокзалу, потом уже от него пошёл кругами.

Посёлка Лесного — некогда районного центра — не было. Но как же, как же?!.. Вчера-то был. И он заглянул даже в одну сведущую контору, где ему растолковали, в какой стороне его Сосновка. И ободрённый он не стал ждать автобуса, а отправился в деревню своим ходом. Только вот не дошёл, заплутался и уже по тёмному выгреб к вокзальчику. Приткнуться передремнуть

было негде, и он слонялся до самого утра, подстерегая хоть какой транспорт. Не дождавшись, с мутной головой, обиженный на весь белый свет, решил вернуться в город, домой.

Сейчас думал: «Бог мой, какая же я скотина! В кои-то веки прибило сюда, а я...»

Значит, дорогу ему указали в поселковой конторе... Но от райцентра не осталось и признаков. А где, где купил сапоги, ежели исчез и целый шмат железной дороги? Само собой — в городе. Но, опять же — когда?

Никитов был в панике. Он пинал носками ботинок деревья, а то начинал сражаться с гнутыми, в пучках зелёных иголок, ветками. Изрядно покуролесив, но так ничего и не прояснив, плюхнулся на чемодан. В голову пришло, что кончик верёвки, которая бы вытянула его на солнышко, может отыскаться только там, в родной Сосновке.

Теперь он не стеснялся тормозить пассажиров. Спрашивал про деревню, уговаривал проводить. Обещал за это хорошую плату. Люди не отвечали ему. Иные виновато, другие пугливо отворачивались и даже уходили подальше.

Никитов, совсем разбитый и отчаявшийся, замолчал. Его покорило новое открытие. А чего эти люди ждут? Куда хотят они уехать? На чём?

Во что бы то ни стало, надо отыскать родную деревню. Поскольку выбирать было не из чего, двинулся напролом.

Когда случался просвет, в лицо опрокидывалось солнце. Он нёс его в глазах до следующего окна в сомкнутых верхушках деревьев. По солнцу Никитов подправлял свою дорогу. Почему он делал так, вряд ли и сам понимал вполне. Видно, с давних времён осталось это ощущение солнца в глазах, связанного с лесом и короткой дорогой домой.

Кроме своего запального дыхания и гудящего сердца, Никитов ничего больше не слышал. Преследователя почуял спиной. И не то, чтобы тот напугал его, но порядком обеспокоил: а вдруг имеет до него прямое касательство?

Оглянуться хотелось нестерпимо. И не просто оглянуться, а проверить свою догадку. Он выпустил чемодан и упёрся лбом в корявый ствол. Когда сердце малость утихло, различил шаги. Робкие, неверные, как бы извиняющиеся. Потом к ним приплелись новые, совсем тихие. Никитов оттолкнул себя от дерева. У соседней сосны стояла вокзальная женщина с младенцем на руках. Мальчик в капелюхе и пиджаке до земли липнул к её бедру. И опять Никитова ошеломил светлый лик, но больше — ничего не требующие глаза.

Он ждал хоть какого-то слова или звука. Но загадочные спутники молчали. В общем, не надо было большого ума, чтобы постигнуть, чего они хотят. Однако Никитову было не до них. Он понятия не имел, как распорядиться самим собой.

2

Теперь он не скакал угорело меж деревьев. Теперь он был в мире не один. Он судил: прежде чем бесследно сгнить, этот человеческий выводок испробует подняться на вершину своей жизни. Сейчас он брёл в потёмках, но когда будет можно, постигнет своё назначение. Шёл же он сам...

Из чащобного сумрака Никитов вывалился прямо на пустырь. Впрочем,

это, свободное от дремучего леса место, в полном смысле и нельзя было назвать пустырём. То есть, его совсем нельзя было называть таким именем. Потому как по обе стороны разгонистой улицы гнездились усадьбы в зелёной оправе домашних деревьев. Конечно, избы были темны, а другие — с закрытыми ставнями — подслеповаты. Дурной травой взялись огороды, и плакуче тянулись в небо журавли колодцев. Но всё это ещё не дышало тленом. Так что, пустырём Никитов нарёк деревню совсем из другого смысла. В ней ничего не просматривалось, даже слабо живого... А то, что было, держалось тоской по человеку.

Когда он заходил в избы, то примкнувший к нему людской выводок, ждал его за порогом. В избах хоть и обозначались в нетронутном виде кровати, шкафы, а также стулья и столы, хозяевами были жирная пыль и сиротный дух.

...Порог родительского дома он одолел послабелыми ногами.

— Доброго здоровья! Принимайте гостей.

Голос ударился о стены и возвратился к нему разломанный на части. Никитов стал заглядывать в комнаты, неумышленно трогая всё, что попадалось на пути. И везде, к чему касался, оставались следы пальцев.

Одно окно было совсем светлым, как бы недавно протёртым. Из угла взирали строго и печально глаза иконного Саваофа. С божницы свисало чистое полотенце. На белом блюде стояла свеча со свежееоплывшим воском.

Никитов прошёлся по дому ещё, подозревая в нём человека, который не так давно совершал моление. Никого не было. Тогда решил испытать удачу во дворе.

Человечий выводок жался к срубам колодца. Женщина уложила на траву младенца и прямо из ведра поила мальчика.

За дровяным сараем Никитову попался продолговатый окладок земли, обмётанный молодой травкой. Увидел и крест. Грубый, из неотёсанных поленьев, перевязанных верёвочками. Встал перед ним на колени. Но никаких зарубок об имени человека не обнаружил.

Время потерялось в его мыслях. «Выводок», наверное, скрылся в избе, потому что из неё выглядывал мальчик. Выглядывал с такой натугой в лице, будто собирался спросить, когда дядя вернётся в дом, где можно вполне устроиться для жизни. Но, похоже, смущался или вообще не умел говорить.

«Дядя» всё стоял на коленях, с помятой головой, вроде нищего.

Скорей всего, безымянный крест в родном дворе должен был вызвать у Никитова сквозную боль. Он даже хотел этой боли. Как исцеления. Но её не было. Видимо, потому, что верёвка памяти истончилась до паутинки. Одно понимал: кто-то из его близких лежит в этой могиле, а другой, совсем недавно, покинул избу, ушёл из деревни. Может, последним ушёл из неё.

И Никитов двинулся наобум, в надежде кого-нибудь догнать или встретить. Следом поспешал «выводок». Он терялся от этих людей. Неужто они думают, он и впрямь куда-то их выведет?

Открыл чемодан, достал и разложил для них съестное. Сам присел за деревом. В сердце плеснулось совсем кликушное: «Да нет у меня того зрячего посоха! Нет!» Никитову почудилось, будто слова эти он прокричал в голос. Потому опасно обернулся.

Рядом с его спутниками мостился глухарь, а мальчик гладил его головку.

С холодеющим сердцем Никитов подошёл и стал разглядывать птицу. Одна нога её была сломана и срослась кочерёжкой.

Всё верно: теперь это матерый глухарь, а три года назад он был малым цыплёнком. Когда Никитов только вошёл в избу и ещё не успел как следует осмотреться, из-под печки вылутился серый комочек. Западая на обмотанную тряпицей ногу, он попрыгивал вокруг нежданного гостя, поглядывал снизу любопытными, почти мальчишескими, глазками.

Никитов сидел, и обрывки воспоминаний хлестали его, как бы приноравливаясь приклеиться болючими лоскутами...

Уже тогда, в трёхлетней давности, Никитов притянулся к родителям через сильно опустелую деревню. Но входить с тягучими мыслями об этом да ещё выслушивать наверняка заготовленные попрёки не хотелось. Из какого-то умного кладезя Никитов почерпнул: родители живут успехами свои детей. И готовился опрокинуть на них целый ушат припасённых радостей.

— Ну, здравствуйте, мама! Здорово, батяня! — начал он с шутивого, бодренького. Однако, когда протянул руки к седому и сильно исхудалому человеку, чтобы обнять его, то сразу и поостыл. Мало того, что отец не тронулся с места, но и в глазах его было нечто глухое, родственное отчуждению. Никитова качнуло назад, и он увидел ноги отца. Они были обуты в самодельное, типа стародавних лаптей. Мать, правда, обняла сына, но бодренькое в нём всё равно сильно поубавилось, смялось в комок. Вылепилось совсем другое: «В деревне непролазная грязь... Как они ходят в такой обуви?»

Потом сидели за накрытым столом, и он рассказывал о своём житье-бытье. После прохладной встречи Никитов не особо удивлялся, что родители спрашивали об этом сами. А когда рассказывал, они больше молчали. И у него хватило ума перевести на другое:

— Отец, где же ты сейчас работаешь? Чем занимаешься?

— Сторожую, — сухо выронил отец.

Никитов заглянул в его глаза. Уж не шутит ли? Что можно сторожить в полупустой деревне, когда люди сами бросают своё добро?

— А где другие?

— Кто в землю до срока ушёл, а какие расползаются...

— Почему до срока? У вас что тут, война? — вздумал пошутить Никитов.

— У нас — нет. Там, за лесом, трясёт. С того духа и срок людям ранний. А расползаются... какие пожить ещё думают.

Отец отвечал через силу, будто свидетель на суде, когда судят близкого человека. И не столько от его слов, сколько от безнадёжья в голосе, Никитова накрыла тоска. Он сжал кулаки и, пряча их под крышку стола, сказал:

— Я заберу вас!

Он знал, забирать ему родителей некуда. Его семья из трёх человек и так жалась в одной комнатухе. Но в груди горчело и рвалось:

— Заберу вас. Теперь и поедем.

Они смотрели на него отстранёнными глазами, в которых было понимание пустоты его слов. И что-то похожее на прощение и забытьё. Ни жалости, ни снисхождения, ни мольбы...

Никитову стало тогда совсем плохо. Ночью он долго не мог уснуть, пере-

лопачивал это своё чувство. Да ведь их, его стариков, его родителей как бы уже и нет вовсе. Они со всем смирились, от всего, что было с ним связано, отказались. Похоже, напрочь отказались и от него самого, а может, просто забыли. Как-никак пятнадцать лет «глаза не казал». И хоть бы он пропал на войне или отбывал в тюрьме, тогда они, наверное, ждали бы его. И надеялись. И тогда в их жизни был бы просвет, а в душе и в глазах сохранилась бы память. Но он писал, что у него всё хорошо. Он закончил институт, а потом женился, а потом родилась дочь, а потом его повысили...

И у них пропала вера.

...Никитов прожил с родителями пять дней. И ему всё время было неудобно. Он стыдился за те первоначальные слова, за обещание забрать их в город, вывезти из затихающей мёртвым сном деревни. Он чувствовал: и они тяготятся его присутствием. Надо было на какое-то время отстраниться друг от друга, вжиться в новое положение. И Никитов сказал, что съездит в Лесной купить для отца резиновые сапоги.

Однако резиновых сапог в раймаге не оказалось. Он рассудил: отпуска у него ещё довольно, и, хоть до города путь не близкий, он, чтобы сдержать слово, успеет, постарается обернуться. А после, порешат с женой и насчёт переезда родителей.

Сапоги он купил сразу по приезде в город, но собрался с ними в деревню только через три года. Утешал себя заморочками с выбиванием и получением трёхкомнатной квартиры. Так что, к родителям приехал теперь не только с резиновыми сапогами.

Сейчас, держась за ветку дерева, Никитов торкался в прежнюю стену: «Боже мой, боже мой, да что ж это такое?! Да как я мог приехать вчера, когда железная дорога в тупике, а рельсы давно поржавели?.. Ладно, письма забывал писать... Ну, а это? Куда могли провалиться годы? Или тут всё перемешано?..»

3

В вокзальчике и на потресканном асфальтовом пяточке Никитов повстречал всё тех же людей. Начал приставать со своей родовой фамилией, спрашивать об отце и матери. Дошёл до того, что спрашивал о себе: не знают ли они такого? Старушки глядели покорливыми глазами овечек, старики морщили лбы, будто он сбивал их с каких-то неподъёмных мыслей. Время от времени они разбредались по лесу, но не слишком далеко, а так, чтобы в любой момент скоренько подтянуться к вокзалу. В лесу они что-то выковыривали, рвали, мяли, потом долго, не спеша, жевали. Никитов озирает их потухшие, беспмятные лица, и два вопроса неотлучно досаждали ему: «Чем они будут питаться зимой? Куда денут себя?»

Одна мысль вернула его к сплавщикам...

Пока обретался на станции, человеческий выводок держался подальше от его глаз. Но стоило заглубиться в лес, — тоже снялся. Так и шли они: впереди истрёпанный, потерявший сытый лоск, Никитов с чемоданом и отцовскими сапогами через плечо, за ним — молчаливая мадонна с младенцем, потом — мальчик в капелюхе. Длинные полы пиджака его цеплялись за ветки ку-

стов, спадающих на тропу, а пуговицы тренькали колокольчиками. Глухаря нести ему было не под силу, и тот ковылял следом — иногда останавливался и как бы приглашал повернуть назад...

Они расположились табором на полянке, вблизи сплавщиков. Никитов раскрыл чемодан с остатками провианта. «Выводок» тут же окружил его, а он стал наблюдать за работой лесных жителей. Кто вязал плоты, другие подносили брёвна, пилили деревья, те собирали срубленные ветки и прочие отходы. Плоты и брёвна спускали в реку, а отходы складывали в сторонке. Похоже, заготавливали в зиму для обогрева.

«Эти плоты... Их ведь несёт куда-то...» — только на сей раз с решительными действиями Никитов торопиться не стал. На них просто не было сил.

Он пристегнулся к сплавщикам.

То, что они шевелились, словно заблудшие в тумане, было ещё полбеды. Но вот глаза... Как у проживших и теперь обречённых что-то вспоминать. Но что они должны были вспомнить для продолжения своей жизни, люди эти, как и те, коих он видел на вокзале, не знали или утеряли из памяти.

Никто не удивился пришельцам. Когда свечерело, высокий старик, похожий прямой осанкой и отчуждёнными глазами на отца, повёл за собой.

Их поселили вместе. Видать, сплавщики решили, что женщина и дети не сами по себе, а состоят при Никитове.

Жильё походило на убежище или потайную нору. Они спустились по земляному откосу, отодвинули вязаную из горбылей заслонку и очутились в сумрачной, но не слишком тесной, яме, с закрытыми кругляком стенами, видимо, для поддержки от обрушения и сохранения тепла.

Старик ушёл, а Никитов пригляделся к обстановке. Было два топчана, на которых валялись то ли вылинявшие звериные шкуры, то ли кожухи. В углу — печь с хозяйской обиходной утварью на припечках. Посредине — деревянный стол с керосиновой лампой и чайником. По всему — «норой» уже пользовались.

Вымученный Никитов обрадовался этому пристанищу, как первооткрыватель спасительному острову. Не раздеваясь, плюхнулся на топчан, и тут же его закрутила омутная воронка...

Прошла, наверное, неделя жизни с лесными жителями. Никто не будил его по утрам. Он прокидывался сам. Видел стол, парующий чайник, кружку, сухари. На краю второго лежака сидела юная женщина с распущенными волосами. За её спиной посапывали дети. Он понимал, им тесно на одном топчане, но позвать кого-либо к себе не спешил.

В плетёном коробе держались кое-какие продукты. Прежний старик пополнил его в конце недели. Утром Никитов шёл к речке заодно со сплавщиками, которые вылезали из своих нор, включался в привычную канитель.

Когда Никитов открыл, что их работу никто не понукает, то стал больше обретаться на своём топчане, созерцая в открытый проём одну и ту же картину. Прямо у входа росла невесть как попавшая в эти края верба. Ветки её раскинулись так привольно, будто хотели защитит себя от чуждых соседей. Одна, особенно могучая и зелёная у основания, заканчивалась сухими отростками... Никитова это явление занимало почему-то больше всего.

Иногда обращался памятью к той жизни. Там, около городских клад-

бищ, росли цветы и свистели птицы. Однако Никитов, сколько ни напрягал себя, не мог вспомнить ни названия цветов, ни имени птиц. Вошёл возрастом в самый расцвет, а ничего из природы не знает или позабыл. А разве имеет что-либо смысл без своего имени и прошлого? Вот, похрамывая, ходит глухарь. В круглых глазах его любопытство, утерянное людьми. Есть же и в этом глухаре, в том, что он прибил к ним, какой-то значение! Наверняка, помнил его родителей, может, до последнего жил с ними. И почему он сам Никитов, а не Никитин? У кого спросить теперь?..

Он размышлял и о людях-привидениях, с которыми свела его судьба. «Да ведь они чисто помешанные! У них есть норы. Но спасут ли они от холода и голода!..». А сам лес, его тишина, пропитанная выморочью... За всё время пребывания в нём не мелькнуло и малой зверюшки.

Ранним утром, когда «выводок» ещё пребывал во сне, он напихал в карманы сухарей, выкрался к берегу и зашагал прочь, вниз по течению реки, полагая, что оно укажет ему дорогу из тупика.

Поначалу река была свободной, но через каких-то полчаса хода её стали затмевать плоты, брёвна. Скоро перед его глазами раскинулся сплошной настил.

Дальше творилось вообще невообразимое. Брёвна, плоты наползали друг на друга, дыбились, с треском разваливались, образуя чудовищные заторы. И вдруг всё оборвалось, кончилось, как бы упёрлось в непреодолимую стену. Эту стену между обугленными скальными выступами сотворили сами же брёвна и плоты. Внизу обозначался провал в виде гигантской воронки. В него и спадала вода. Из воронки с каким-то надрывом выхлопывались густые клоуны пара...

Чуть не вскачь вернулся Никитов к сплавщикам поведать о своём открытии. Лес-то они сбрасывают не в реку, а в широкую запруду, а вода... Но только заговорил, — люди начали отодвигаться от него. Словно им было неловко от его слов. Тогда Никитов замолчал. Опало усталым, смиряющим: с чего он взял, будто умнее этих старожилков? Как бы ни к чему припомнились отцовское, трёхлетней давности: «Там, за лесом, трясёт. С того духа и срок людям ранний».

Вечером сплавщики скрылись в своих норах, а он отыскал свою. В непробудной позе на топчане сидела женщина. У её ног копошились дети.

Мальчик в длинном пиджаке кормил зёрнышками глухаря, а младенец одной ладошкой бил себя по голой коленке, пальцы второй держал вместо соски-пустышки во рту, мял их дёснами, видимо, тужился выдавить нечто питательное.

Никитов подошёл к женщине. На него глянули широко раскрытые и ясные, как у безумной, глаза.

Он разжёл примус, поставил на него кастрюльку. Когда закипела вода, насыпал крупы...

Спустя месяц, как пропал Никитов, в городскую квартиру его заглянул

безутешный после развода с женой поэт Алёша Власов. Узнав, что друг бесследно сгинул, он запечалился. А посидев в печали, испросил у жены Никитова ночлега.

Утром они пили чай. Женщина впервые сидела так плотно с другом своей семьи. Как могла, утешала: «Надо же, хорошие мужчины вечно достаются стервам». Она знала: Алёша славный, мягкий, чуткий и послушный, как комнатная собачка, человек. Стоило кашлянуть пару раз, и он тут же замолкал со своими стихами...

Накануне у жены Никитова пробудилось насчёт собственной собачки. Но, почаявничав с Алёшей, передумала её заводить. Позволила жить покуда в их доме поэту.

Во всей пустой Сосновке оставался один живой человек, которого Никитов не учуял своим сердцем. Его мать. После смерти мужа она стала бояться светлого немого простора. А чтобы душа его не осуждала за то, что она слишком задержалась на этом свете, переселилась в подвал. Хотя и была не в таких уж больших летах, но от напрасных мыслей совсем ослабела, почти всё из своей памяти выронила...

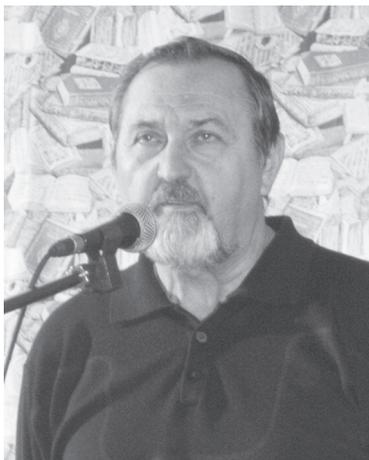
На руках у неё подремывал Рыжик. Когда всё же пробивалось что-то отрадное из прошлой жизни, то по щеке скатывалась солёная горошина. — Кот догадывался о её слезах. Он поднимал голову и утирал глаза шершавым языком.

1989, 2012 гг.



Дон у станции Вёшенской

Виктор Шостко



НЕУЛОВИМОЕ СМЕЩЕНЬЕ...

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Пока нельзя увидеть глазом
И внятно вслух произнести,
Но что-то изменилось разом –
Невыразимое почти.
Пока – одно лишь ощущение
Неразличаемых примет,
Неуловимое смещение,
Почти сходящее на нет,
В листве, пока ещё зеленой,
Усталой, может быть, слегка;
В душе, пока ещё влюблённой,
Но ощущающей, – пока...

ЗЕРКАЛО

Выдохся гром,
И рассеялась мгла.
В тучах блеснули провалы.
Дождь по земле разбросал зеркала,

Чтоб, торопясь,
Ты смотреться могла
В эти круги и овалы...
Ты в каждой капле

Виктор Шостко, член Союза писателей СССР (1989), России, поэт. С 2011 года — член правления Ростовского регионального отделения СП России. Окончил РИИЖТ в 1970 году. Автор книг стихов: «Молодое лето», «Бегущее зеркало», «Четвёртая стрелка».

Живёт и работает в г. Ростове-на-Дону.

Готова блеснуть,
В каждом ручье отразиться.
Выйдешь –
Тобой переполненный путь
Плачет, смеётся, двоится.

Всё, что ни вымолвишь ты на бегу,
Как ни взглянёшь торопливо –
В зеркале памяти я берегу
Как мимолётное диво.

ЗВЕЗДА, КОТОРОЙ НЕТ НА СВЕТЕ

– Не жди попутную машину.
На льду костей не соберёшь.
Иди пешком через равнину.
Сам не заметишь, как придёшь...

Иду. Мерцает над плечом
Звезда, которой нет на свете.
А жизнь её пустым лучом
Из тьмы неведомого светит.

Иду. Проваливаюсь в снег.
«Дойду ли?» – думаю в испуге...
Нет ни столба, ни прочих вех.
Хотя б намёк какой в округе.

Не держит ногу хрупкий наст.
В степи ни кочки на примете.
Но заблудиться мне не даст
Звезда, которой нет на свете.

В осенний день – когда тепло
И грусть, как святость, в человеке,
А свет, запаянный в стекло,
Остановился в нём навеки –
Так неподвижен жёлтый лист,
Так незаметен тёплый воздух,
Что слышен в мире
Каждый свист
И различаем каждый возглас.
И я тому, быть может, рад,
Что в час,
Когда другим печально,
И высь, и даль, и встречный взгляд
Со мной вот-вот заговорят,
Не в силах вынести молчанья.

Юрий Харламов



КАК СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК СРАЖАЛСЯ С НОЧЬЮ

Сказка для детей

Из цикла «Сказки Светланы»

Жил-был Солнечный Лучик. Он был ещё совсем маленький, и Солнце ни на шаг не отпускало его от себя. Каждый день солнечные братья улетали — кто на Юпитер, кто на Меркурий, кто на Марс — и потом хвалились своими подвигами, а Солнечный Лучик слушал и только вздыхал...

Но больше всего он мечтал побывать на удивительной планете Земля, где братья нагревали океаны, растапливали ледники, выращивали яблоки в садах и редиску в огородах.

Однажды он не выдержал:

— Я тоже хочу греть океаны!

— Подрасти немножко, — отвечало Солнце.

— Потому я и не расту, что дома сижу! Ну, хоть редиску красить!

— Рано, рано, потерпи...

— Ну, хоть только взглянуть на Землю!

Жалко Солнцу отпускать маленького, да ничего ни поделаешь: раз уж полюбила его какая-то из планет, всё равно улетит.

— Так и быть, возьмите его с собой, — говорит Солнце старшим сыновьям. — Только смотрите за ним хорошенько.

Надели солнечные братья боевые доспехи, набили колчаны стрелами и понеслись к Земле.

Через три минуты они уже подлетали к Меркурию, через пять минут — промчались мимо Венеры, а ещё через три — показалась Земля.

Юрий Харламов, член Союза писателей СССР (1990), России, драматург, прозаик, поэт. Автор нескольких книг. Его пьеса «Высотка» была поставлена во МХАТе. Живёт и работает в с. Генеральском Родионо-Несветайского района Ростовской области.

Дзын-н-н-нь! Солнечный Лучик врезался в камень, да так, что шлем отлетел.

— Привыкай! — засмеялись братья. — Земля — планета крепкая.

Попробовал Солнечный Лучик нагревать океаны — ничего не вышло. Кинулся растапливать ледники — в трещину упал. Редиску в синий цвет выкрасил.

— У нас тоже не сразу получалось, — успокоили его братья. — Учись пока просто прыгать по земле.

Так он и сделал. Прыгал сначала на одной ножке, потом на другой и не заметил, как очутился в пустыне. Здесь не было ничего интересного, и он уже хотел лететь дальше, как вдруг песчинка у него под ногой шевельнулась, потянулась, лопнула, из неё выглянул пушистый жёлтый цветок. Оказывается, это была не песчинка, а зёрнышко.

— Ах, ну кто просил, кто просил! — сказал цветок. — Я так сладко спала!

— Извините, — смущённо промолвил Солнечный Лучик.

— Всегда одно и то же! Сейчас вы спросите, как меня зовут.

— Ну что вы! — ещё больше смутился Солнечный Лучик, потому что именно это он и хотел спросить.

— Ах, так! Вас это не интересует?

— Да нет же, я...

— Вот видите! Ну, хорошо, хорошо, если вы настаиваете... Меня зовут Мимозка. А почему вы всё время молчите?

— Но вы...

— Хватит, дайте же другим слово сказать!

Это было очень капризное растение. Солнечный Лучик просто с ног сбился, выполняя желания Мимозки. То ей было душно — и он летел в горы за прохладным ветерком, то она умирала от жажды — и он мчался к океану за дождём... «Ну, что это за дождь! — Возмущалась она. — Это дождь для слонов, а не для цветов! А ваш ветерок чуть не вырвал меня с корнем! Поставьте-ка шлем, я посмотрюсь в него. Ах, на кого я похожа!..»

Пока Мимозка приводила в порядок свою причёску, он сидел в сторонке и тайком любовался ею. И от его взгляда над пушистой головкой Мимозки вспыхнула маленькая радуга.

— Благодарю вас, эта безделушка мне, кажется, идёт, — сказала она. — Нисколько не удивлюсь, если услышу, что вы влюбились в меня. Что поделаешь, в такой красивый и умный цветок трудно не влюбиться. Признаться, я вам даже завидую: влюбиться — это такое счастье!

— Но почему же вы... тоже... не влюбитесь? — прошептал он.

— Увы, не вижу в кого, — ответила Мимозка.

Солнечный Лучик присел на камешек и умолк. Ему вдруг стало очень грустно.

Но долго грустить ему не пришлось. — Послышался шум сражения, и скоро он увидел на холмах своих братьев. Чёрные зловещие тени надвигались на них.

— Мы вам покажем, как нагревать океаны! — шипели тени. — Мы вас отучим растапливать ледники! Вы у нас забудете дорогу в сады и огороды! На Земле хозяйка — Ночь!

Братья отбивались мечами, разили копьями и стрелами, но тени были неуязвимы.

— Отходим! — скомандовал самый старший из братьев. — Обойдём вокруг Земли, зайдём в тыл Ночи и рано утром дадим сражение!

— Прощайте!.. — шепнул цветку Солнечный Лучик.

— Как! Вы оставляете меня одну? — удивилась Мимозка. — Очень мило с вашей стороны!

— Но ведь все лучи отходят...

— Ах, вам стыдно оказаться храбрее других. Какая скромность!

«В самом деле, как же я могу оставить её одну? — подумал солнечный Лучик. — Нет, видно, не всё равно: имеешь ли ты дело с ледниками, океанами и редиской, или отвечаешь за такой беззащитный и нежный цветок.

— Где ты, малыш? — звали его старшие братья.

Солнечный Лучик не отзывался.

— Да он, наверное, уже давно дома, — сказал кто-то из братьев. Они взлетели на вершины гор, оттуда на облака и скрылись за горизонтом.

И в ту же минуту из-за холмов вышла Ночь.

Она была в чёрном бархатном платье, в чёрных туфлях и в чёрной шляпе, украшенной алмазами звёзд. Чёрные волосы её были распущены. Она шла по Земле, и от её шагов засыпали рыбы в океанах, сворачивались клубками звери в норах, цепенели от страха птицы на ветках. А всё, что днём пряталось по тёмным закоулкам, чердакам и подвалам, выползало и шло вслед за Ночью. Это были её слуги. Угождая хозяйке, они бранили Солнце, смеялись над добрыми делами, чернили светлые имена.

— Спать, спать! Кто тут ещё не спит?.. — прошептала Ночь и, увидав солнечный Лучик, накрыла его своей чёрной шляпой. Глядь — не Лучик под шляпой, — шляпа под ним!

Честно говоря, он сам не ожидал от себя такого!

Ночь повертела шляпу — нет ли где дырочки — и снова, теперь уже не накрыла, а прямо прихлопнула шляпой Солнечный Лучик. А вышло опять наоборот — Лучик прихлопнул шляпу.

— Понятно, он хочет мне служить, — усмехнулась Ночь. — Ну что ж — это даже оригинально: Ночь с Солнечным Лучиком на шляпе!

Она надела шляпу — Солнечный Лучик остался на камне.

— Издеваться — надо мной!? — вскричала Ночь.

А Мимозка расценила верность Лучика как измену...

— Я вижу, вам очень интересно играть с нею в прятки, — обиженно сказала она. — Что ж, спокойной ночи! Но знайте: если я замёрзну, это будет на вашей совести.

Она сомкнула свои пушистые ресницы и тут же уснула.

Ночь, между тем, разошлась не на шутку. Она топтала солнечный Лучик, тыкала в него зонтиком, вбивала каблуками в землю — всё тщетно.

Тогда она позвала своих слуг.

Один из них выплеснул целый пузырёк чернил, но на чёрном солнечный Лучик стал ещё светлее. Другой кинулся стирать его щёткой, но от этого он засверкал ещё ярче!

Ночь вся почернела от злости.

— Подите все прочь! — крикнула она. — Если бы вы служили мне так же верно, как он служит Солнцу, на Земле давно бы уже была вечная Ночь! Единственный мой верный слуга — Мрак. Эй, Мрак!

И тут же из темноты, словно послушный пёс, явился Мрак. Он был такой чёрный и страшный, что даже Ночь отшатнулась, увидев его.

— Что прикажешь? — спросил Мрак.

— Да вот, какой-то крохотный солнечный лучик всю меня извёл! — пожаловалась Ночь. — У меня даже голова разболелась.

Мрак наклонился над камнем.

— Не вижу никакого лучика, — проворчал он. — Уж не приснился ли он тебе?

Глянула Ночь — и правда: там, где только что сиял Солнечный Лучик, ничего не было.

— Он исчез от одного твоего взгляда! — воскликнула Ночь. — Ай, да Мрак!

И они, обнявшись, пошли дальше.

Но Солнечный Лучик не исчез. Если бы Ночь догадалась потрогать камень, она бы почувствовала, что он тёплый. Но она торопилась — с востока уже шли солнечные полки: это братья, узнав, что Солнечный Лучик один бьётся с Ночью, спешили ему на помощь.

И вот они пришли, но где же славный боец?

— Я знаю, где он, — проснувшись, сказала Мимозка. — Под камнем... Эх вы, храбрец, испугались темноты! Выходите, я уже не сержусь...

Солнечный Лучик молчал. А молчал он потому, что ни на камне, ни под камнем его уже не было — он до последней частицы отдал себя Мимозке, всю ночь согревая её.

И тогда Мимозка горько заплакала. Она поняла: такого верного солнечного лучика ей больше никогда не найти.

А солнечные братья молча сняли свои золотые шлемы...

Долго горевало Солнце. Но с тех пор, посылая своих сыновей к ближним и дальним планетам, оставляет оно под конец самые верные, самые светлые свои лучи и говорит им так:

— А вы летите на Землю и оставайтесь там. Нагревайте камни, лесные тропинки, прячьтесь в крышах и стенах домов, проникайте в сердца людей и помогайте им победить Ночь!

И если за окном сейчас темно, воет ветер и по улицам крадёт Мрак, а тебе совсем не страшно, значит, крохотный солнечный лучик поселился и в твоём сердце.

Михаил Астапенко



В ГОДЫ ЦАРСКОЙ ОПАЛЫ

*Отрывок из книги «Вихорь-атаман»
К 260-летию М.И.Платова*

*Во сырой тюрьме Петропавловской,
На реке Неве, граде Питере,
Страдал-мучился млад донской казак
Атаман Матвей сын Иванович...
Народная песня*

После возвращения из Персидского похода Платов получил разрешение побывать на родине. Но сначала с полком чугуевских казаков он отправился в Чугуев, чтобы отчитаться за формирование Малороссийского и Чугуевского полков. Тут и начались для него неприятности. Недруги Матвея Ивановича обвинили его перед начальством в том, что он якобы не выплатил казакам двух Чугуевских полков причитающиеся им за службу деньги. Платову пришлось защищаться, и на суде при Петербургском «ордонанс-гаузе» он оправдался. Император Павел Первый на приговоре военного суда начертал: «За всё значущееся по сему делу, как и за консилиум, держанный в Персии (во время Персидского похода 1796 года — выделено мною, М. А.), исключить из службы Платова и отправить к Орлову (донскому войсковому атаману — М.А.) на Дон, дабы держать его под присмотром в Черкасске неотлучно».

Четыре дня спустя Платов на почтовых лошадях выехал в Черкасск. Он уже предвкушал в дороге радостную встречу с женой и детьми, когда в Москве его нагнал фельдъегерь и вручил письмо генерал-прокурора князя Алексея Борисовича Куракина¹. С тревогой в душе Матвей Иванович распечатал письмо и прочитал: «Милостивый государь мой Матвей Иванович! По по-

Михаил Астапенко, член Союза писателей России (1992), историк, публицист. В 1974 году окончил исторический факультет РГУ. Автор более 650 статей и 38 книг по истории донского казачества. Лауреат премии Всесоюзного литературного конкурса им. М. Горького, лауреат областного литературного конкурса им. В. А. Закруткина.

Живёт и работает в станице Старочеркасской Аксайского района Ростовской области.

лучений сего письма извольте, ваше превосходительство, обратить ваш путь в город Кострому. Сие я вам сообщаю по высочайшему его императорского величества повелению. Пребывание ваше в Костроме должно быть безвыездно впредь до особого повеления. Пребываю и т.д.»²

И Платов, проклиная в душе сумасбродного императора, повернул в незнакомую и далёкую от Дона Кострому. Такая немилость императора была полной неожиданностью для Платова, ибо по утверждению биографа и адъютанта Платова Николая Смирного «Платов при восшествии на престол сего государя имел счастье видеть его особенное к себе благоволение и милость».³ Тем более, что с женой Павла Первого Марией Федоровной Матвей Иванович, поддерживал весьма дружеские отношения и мог рассчитывать на её заступничество перед взбалмошным императором.

По поводу ссылки Платова получил письмо и костромской гражданский губернатор Борис Островский. Генерал-прокурор Куракин сообщал ему «С сим письмом явится к вам посланный от меня курьер, и с ним вместе генерал-майор Платов, которому государь император повелеть соизволил жить в Костроме. Уведомляя о сем, ничего особенного о господине Платове сказать и поручить не имею, кроме наблюдения. О невыездном его в Костроме пребывании и за образом его жизни прошу меня уведомлять».⁴

В то же время на Дон, к атаману Василию Орлову, была отправлена депеша с известием о ссылке Матвея Платова в Кострому.

Поводом к такому неблагоприятному повороту в судьбе Платова, говорят, послужило подозрение Павла I в том, что популярный среди донцов генерал Платов может возбудить против него Дон. А случилось вот что...

Когда Матвея Ивановича освободили из-под суда по обвинению в растрате денежных сумм Второго Чугуевского полка, то флигель-адъютант А.П.Ратьков⁵ по повелению Павла I возвратил Платову его саблю. Приняв её от Ратькова, Матвей Иванович вынул саблю из ножен и порывисто воскликнул:

— Она ещё не заржавела, она ещё меня оправдает!

Испуганный Ратьков, всецело обязанный своей карьерой Павлу Первому, узрел в этом эмоциональном восклицании Платова крамольные намерения и поторопился донести об этом императору, представив дело так, будто казачий генерал собирался на Дон, чтобы взбунтовать там казаков против императора.

Участь Платова была решена: вместо родимого Дона он должен был ехать в далёкую и холодную Кострому. Но всего этого он тогда не ведал...

Двадцать четвёртого декабря 1797 года Матвей Иванович прибыл в Кострому. Не мешкая, явился он к гражданскому губернатору Борису Петровичу Островскому, который встретил его растерянно-настороженной улыбкой. В тот же день Платов отправил послание Куракину с оправданием по всем пунктам обвинения. Однако, ответа не получил.

Поселился Матвей Иванович в «доме Дурыгина на улице Павловской».⁶ Потянулись мучительно-томительные дни ссылки. Боевой генерал Платов, привыкший к обстановке походов и сражений, изнывал от бездействия и неизвестности, проводя время в нудных и однообразных беседах с в общем-

то добрыми и сочувствующими его незавидному положению обитателями губернаторского дома и совершая прогулки по улицам скучнейшей зимней Костромы. Так прошла зима.

Весной 1798 года Платов уговорил робкого, но порядочного и честного, губернатора послать письмо-ходатайство генерал-губернатору князю Алексею Куракину. Поколебавшись, Островский согласился, и в тот же день отправил письмо с нарочным. «Ведаю, колико вы сострадательны к несчастным, — говорилось в губернаторском письме, — то осмеливаюсь у вашего сиятельства испросить милостиво, буде возможно, позволения во утешение скорбной души Матвея Ивановича Платова, чтоб позволено было ему в некотором расстоянии от города, в селения к дворянам, известным по званию их, выезжать, ибо его всякий желает видеть у себя за хорошее, тихое и отменное вежливое обращение. Ему же сие послужит к разогнанию чувственной его усталости».⁷

Некоторое время спустя пришло неутешительное письмо от князя, в котором он сообщал, что «касательно позволения Матвею Ивановичу Платову выезжать из города, сколь бы ни охотно желал я сие сделать, но не могу, что такое дозволение от меня не зависит».

Снова потянулись безрадостные и без надежды на освобождение дни ссылки. Вскоре Платов познакомился здесь с Алексеем Петровичем Ермоловым, будущим героем Отечественной войны 1812 года, также сосланным царем-самодуром в Кострому «за участие в кружке «смоленских вольнодумцев» его двоюродного брата А.Каховского». Они быстро сошлись, поселившись в одном доме на улице Богословской (ул.Горная).⁸

Часто Платов и Ермолов совершали совместные прогулки. Ермолов, весьма одаренный способностями к изучению языков, основательно овладел латынью. Ежедневно он вместе с соборным протоиереем Егором Груздевым штудировал исторические произведения Тита Ливия (особенно «Войну с Ганнибалом») и других классиков античной литературы. Предлагал и Матвею Ивановичу, но тот всё время тосковал, думая о родине, семье, оставшейся в неведении о его судьбе на Дону.

А семья у опального походного атамана была довольно большой. После смерти своей первой жены Надежды Ефремовой, Матвей Иванович женился на вдове Павла Кирсанова Марии Дмитриевне, дочери генерал-майора и войскового судьи Дмитрия Мартыновича Мартынова. В 1798 году ей исполнился тридцать один год. От первого брака у Платова рос сын Иван, которому шёл двадцатый год. В полку своего отца Иван побывал в сражениях русско-турецкой войны, участвуя во взятии крепостей Очаков, Бендеры, Каушаны, Измаил. За отличия в последнем он был награждён Золотым знаком и произведён в поручики армии. Затем служил в Молдавии, и в чине войскового старшины вместе с отцом участвовал в Персидском походе 1796 года. 15 мая 1798 года Иван Платов стал командиром казачьего полка своего имени.⁹ — Значительное достижение для 21-летнего войскового старшины, чем гордился Матвей Иванович!

Кроме Ивана, у Матвея Ивановича были одиннадцатилетняя дочь Мар-

фа, девятилетняя Анна, восьмилетняя Мария, шестилетний сын Александр, четырёхлетний Матвей и двухлетний Иван — их совместные с Марфой Дмитриевной дети.¹⁰ Наравне с родными в платовской семье воспитывались и его неродные дети Хрисанф Павлович и Екатерина Павловна Кирсановы. Хрисанф, обучавшийся в частной школе арифметике, геометрии, рисованию, французскому и немецкому языкам, с 1790 года в составе полка М.И.Платова участвовал в войне с турками, отличившись в штурме Измаила, затем — во взятии крепости Килия. В 1791 был произведён в поручики, а в 1796 году — в войсковые старшины.¹¹

Платов заметно тосковал по жене и детям.

Ермолов, видя это, успокаивал и развлекал его, как мог. Он рассказал о днях, проведённых им в мрачной камере Алексеевского рavelина Петропавловской крепости. Платов слушал рассказ Ермолова и ужасался тем невыносимым условиям, в которых пришлось побывать его младшему другу. Ему и в голову не приходило, что пройдёт совсем немного времени, и ему самому придётся сидеть точно в такой же камере Алексеевского рavelина...

Однажды, гуляя с Ермоловым по Костроме, Платов предложил ему после освобождения из ссылки жениться на одной из своих дочерей и обещал улыбающемуся от этого предложения Ермолову казачий полк под его командование. Демонстрируя свои практические знания по астрономии, почерпнутые им в походах, Платов говорил Ермолову, указывая на небо:

— Вот эта звезда находится над поворотом Волги к югу, эта — над Кавказом, куда мы бы с тобой бежали, если бы у меня не было столько детей!¹²

В долгие месяцы томительной ссылки вспоминали Платов и Ермолов о сражениях над Бендерами, Аккерманом, Измаилом. Двадцатитрёхлетний Ермолов не мог похвалиться столь славной боевой биографией, как у Платова, но не без гордости рассказывал Матвею Ивановичу о штурме Варшавы в 1794 году, за отличия в котором получил орден Святого Георгия 4-й степени.

Наступил июнь 1799 года. Платов обратился к генерал-прокурору с письмом, в котором вновь давал объяснения по пунктам обвинения и просил вернуть его на государеву службу или отправить на Дон к семье. Прочитав это послание опального казачьего генерала, генерал-прокурор наложил на нём резолюцию: «Оставить без ответа, как дело, в которое я вмешиватца не смею».¹³

Снова потянулись уныло-безрадостные дни ссылки... Основательно изучив быт жителей Костромы, архитектуру этого города, связанного с царствующим домом Романовых, Платов пожертвовал часть своих средств, на которые «был перестроен тёплый придел церкви в честь Рождества Христова на Суле».¹⁴

Наконец, осенью 1800 года в судьбе Платова наметились перемены: девятого октября фельдъегерской тройкой он был отправлен из Костромы в Петербург. Простившись с губернаторским семейством и братом по несчастью Алексеем Ермоловым, Платов покинул Кострому, чтобы никогда сюда не возвращаться. Ермолов, ссылка которого закончилась только 15 марта 1801 года, позже писал в своих «Записках...»: «Незадолго до кончины Павла прислан к Платову фельдъегерь с приказанием прибыть в Петербург».¹⁵

Прибыв в российскую столицу, Платов, вместо желанной свободы, был заточён в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Для Матвея Ивановича такой ход событий явился полной неожиданностью. Он ничего не ведал о тех тайных пружинах, которые двигали его судьбу. Только в январе 1801 года на суде он узнал причину своих злоключений.

Ещё в сентябре 1800 года донской атаман Василий Орлов, видевший в популярном Платове вероятного претендента на своё место войскового атамана, в своём рапорте Павлу Первому обвинил Матвея Ивановича в том, что он принимал чужих крестьян, а потом, чтобы запутать возможное следствие, подменил «ревизские сказки». На основании этого рапорта атамана 1 октября 1800 года генерал-прокурор сделал императору представление, в котором говорилось: «Вследствие донесения генерала Платова ревизские сказки, хранящиеся в ведении казначея войскового старшины Слюсарева 2-го, переменены другими для исключения умерших и внесения на их место других, по высочайшему вашему императорского величества повелению, отправлен мною нарочный в Кострому для взятия оттуда исключённого генерал-майора Платова и посажения его по привозе в равелин».¹⁶

Николай Смирный в биографии Платова добавляет, что была и ещё одна причина императорского гнева, ибо завистники Матвея Ивановича «представили его... готовым вероломно отпасть от законного владительства России и сделаться опасным изменником».¹⁷ А это уже было политическое преступление...

Как бы то ни было, но доносу атамана Орлова и обвинению в намерении Платова отделить Дон от Российской империи был дан ход, и для недавнего героя Измаила и Персидского похода наступили чёрные дни:

*Во сырой тюрьме Петропавловской,
На реке Неве, граде Питере,
Страдал-мучился млад донской казак,
Атаман Матвей сын Иванович;
Так томился он в безызвестности
Ровно три года и три месяца.
Побелела его там головушка,
Очи ясные помутилися,
Богатырский стан, поступь гордая
В злой кручинушке надломилися.
Сердце пылкое, кровь казацкая
Тоскою лютой иссушилися.
Сыны храбрые Дона Тихого
Приуныли все, призадумались,
Куда делся наш атаман лихой,
Где томился он в злой неволюшке?
И за что, скажи, страждет-мучится
Витязь доблестный Платов-батюшка?
Не угоден ли царедворцам был*

*Супротивное ль слово вымолвил?
Или кивера атаманского
Перед кем не снял, не склонил головы?
Соберёмся мы тучей грозною,
Понесёмся мы грозой-вихорем,
Разобьём, возьмём крепость приступом,
Привезём вождя вновь на тихий Дон.¹⁸*

Камера, в которой «секретным политическим номером» сидел Платов, имела шесть шагов в поперечнике. Освещалась она одним только сальным огарком, треск которого из-за большой сырости в камере был неприятно громким. Матвей Иванович первое время дни и ночи напролёт ходил по камере, вспоминая прошлые дни походов и сражений, дни славы и доблести. И воспоминания эти лютым огнём жгли несчастную душу опального генерала. Днём Платов подходил к двери и пытался заговорить с солдатами караула:

— Что, служивые, небось, не впервой генерала стеречь?

Солдаты испуганно оглядывались по сторонам и полушёпотом отвечали:

— Не извольте разговаривать, ваше превосходительство, неровен час, услышат господин капитан и тотчас доложат начальству!

Платов замолчал, отходил от двери и горько думал, что какой-то капитан не разрешает ему, боевому генералу, поговорить по душам с солдатами!

Наступила слякотная петербургская зима. В камере Платова стояла холодная, пронизывающая до костей, сырость. Когда морозы превысили нормы человеческого терпения, истопники затеплили печи, но от них шёл такой чад, что глаза выедало, как от свежего хрена. Стены были мокры и скользили, а по каменному полу, не боясь присутствия Платова, бегали здоровенные крысы. Матвей Иванович сперва цукал на них, стучал сапогами, а потом привык: всё-таки живые существа!..¹⁹

В чаду, холоде и томительной неизвестности прошло четыре месяца. 11 Января 1801 года Платова судили в Четвёртом департаменте Сената. После непродолжительного разбирательства суд вынес приговор: «Сенат, не находя таких дел, по коим бы генерал-майор Платов подлежал суду, о сем обстоятельстве всеподданнейше доносит на благоусмотрение Вашего Величества». День спустя на сенатский рапорт легла резолюция: «Высочайше повелено освободить и из рavelина выпустить, а о известной же экспедиции объявить»..²⁰

...В один из тусклых январских дней дверь камеры Платова с ржавым скрипом отворилась, и на пороге своего узилища Матвей Иванович увидел охранника с фонарём в руке, а рядом с ним коменданта Петропавловской крепости Сергея Николаевича Долгорукого. Платов настороженно уставился на него, сердце неприятно захолонуло, тревога удушающе наполнила душу.

— Извольте пожаловать к выходу, ваше превосходительство, — с полупоклоном вежливо произнёс Долгорукий.

Матвей Иванович по тону его голоса понял, что в жизни его наступили благоприятные перемены. И, словно угадав его мысли, комендант объявил:

— Государем императором, Матвей Иванович, назначена вам сего шес-

тнадцатого генваря в семнадцать часов пополудни высочайшая аудиенция в Михайловском замке. А нынче надлежит вам привести себя в порядок, принять баньку и отдохнуть. Будут ли какие пожелания, ваше превосходительство?..

Невольные слезы блеснули предательски в глазах героя штурма Измаила и, чтобы их не заметили солдаты, он наклонил голову и выдавил:

— Распорядитесь, Сергей Николаевич, принести чего-нибудь поесть, а то сил нету совсем для встречи с государем императором...

... Два часа спустя Платов, распаренный после бани, постриженный и умашенный благовониями, сидел в кабинете коменданта, вкушая забытые за годы опалы яства. Затем денщик подал ему новый генеральский мундир, и на карете, присланной императором, он отбыл в Михайловский замок.²¹

Аудиенция состоялась в полутёмной зале императорского дворца. Павел Петрович, грудь которого украшали многочисленные ордена и ленты, был весьма любезен с недавно опальным казачьим генералом.

— Рад, Матвей Иванович, что твоя невиновность доказана сенатским судом. У меня никто не страдает безвинно!

— Да, ваше величество! Правда всегда торжествует...

— Что сделать с твоими врагами? — жёстко спросил император.

— Простить их, государь! — просто ответил Платов.²²

— За труды и подвиги твои, Матвей Иванович, изволили мы наградить тебя командорским крестом ордена Святого Иоанна Иерусалимского!

Платов, сколь можно сердечно, поблагодарил императора, а Павел уверенно-привычным движением рук возложил на него знаки этого, неведомого Платову, ордена, учреждённого совсем недавно. Потом император располагающе взял Платова под локоть и, прохаживаясь с ним по обширной зале, стал объяснять удивлённому Платову, что он принял решение стать союзником Франции и объявить войну Англии:

— Англичане, эти вечные интриганы, готовят нападение флотом и войском на меня и на союзников моих датчан и шведов, — растолковывал он Матвею Ивановичу свой план. — Я готов их принять, но нужно их самих атаковать там, где удар наш может быть чувствительней, и нас меньше всего ожидают. Заведение их в Индии самое лучшее для сего удара. И первыми туда, в Индию, с лёгкой артиллерией, через Бухару и Хиву, пойдут донские казаки во главе с тобой, Матвей Иванович, и с атаманом Василием Орловым, первым помощником коего с сей минуты ты назначаешься.

Заметив откровенное недоумение на лице Платова, император пояснил:

— Атаману Орлову я отправил рескрипты о необходимости подготовить всё Войско Донское к походу, послать своих лазутчиков, приготовить провиант и фураж, осмотреть дороги от Дона до Оренбурга и далее к реке Индусу. Карты я послал с фельдъегерем Орлову на Дон. Даю тебе, Матвей Иванович, три дня на сборы и, с Богом, — в дорогу. Все богатства Индии будут вам за сию экспедицию наградою!²³

Платову вернули его саблю, принимая которую он сказал: «Молю... Творца моего, чтобы благословил меня, если то нужно будет, снова обнажить меч мой

на поражение того, что дерзнет против государя моего, которому предана душа моя, и за которого всеохотно рад положить живот мой».²⁴ В последующие два дня Матвей Иванович был принят великими князьями, своими давними знакомцами, Александром Павловичем и Константином Павловичем, от которых, как писал его биограф Николай Смирный, «имел счастье встретить высокое к себе благоволение и милостивое участие в судьбе его».²⁵

Три дня спустя Платов покинул Санкт-Петербург и на фельдъегерской тройке помчался на любимый Дон, где он не был столько лет кряду...

Комментарии и используемая литература:

¹Куракин Алексей Борисович (1759-1829) — на тот момент — генерал-прокурор, князь, брат вице-канцлера Александра Борисовича Куракина (1752-1818).

²Сборник Областного Войска Донского статистического комитета. Вып.Х1. — Новочеркасск, 1911. — С.101.

³Смирный Н. Жизнь и подвиги графа Матвея Ивановича Платова. Ч.1. — Ростов/н/Д, 2003. — С.46.

⁴СОВДСК. Вып. Х1. — С.9.

⁵Ратьков (Ратков) Аврам Петрович (1770-1830) — флигель-адъютант Павла I. С 10 ноября 1796 служил в Лейб-гвардии Семёновском полку с назначением адъютантом к великому князю Александру Павловичу (будущему императору Александру I). 7 мая 1800 г. стал полковником и флигель-адъютантом. С 1807 г. — генерал-майор.

⁶Ершова А.О. Кострома — место ссылки А.П.Ермолова и М.И.Платова: исследования историков и краеведов: «Первые Романовские чтения» (29-30 мая 2009, г. Кострома). — Режим доступа: <http://www.hrono.ru/proekty/romanov/1rc51.php>.

⁷СОВДСК. Вып.Х1. — С.104.

⁸Ершова О. Указ. изд.; Негорюхин Б. Житель Кадкиной горы: к 215-летию со дня рождения //Северная правда, 1992. — 20 марта.

⁹Корягин С.В. Генеалогия и семейная история Донского казачества. Вып.45. — С.13.; РГВИА. Ф.489. Оп.1. Д.3567. Послужные списки за 1802 г.

¹⁰Кириллов А.А. Указ. соч. С.9.

¹¹«Донцы XIX века». С. 206-207.

¹²Жиров М.С. Указ. соч. СОВДСК. Вып.Х1. С.107.

¹³Жиров М.С. Указ. соч. СОВДСК. Вып.Х1. С.107.

¹⁴Ершова О. Кострома — место ссылки А.П.Ермолова и М.И.Платова: исследования историков и краеведов. // «1-е Романовские чтения» 29-30 мая 2009 г. В 1935 г. храм этот был полностью разрушен.

¹⁵Записки А.П.Ермолова. 1798-1826 гг. М.,1991. С.117.

¹⁶Жиров М.С. Указ. соч. СОВДСК. Вып.Х1. С.107.

¹⁷Смирный Н. Указ. соч. Ч.1. — С.47.

¹⁸Савельев Е.П. Атаман М.И.Платов и основание Новочеркасска. — Новочеркасск, 1906. — С.88-89.

¹⁹Тарасов Е.И. Указ. соч. С.9; Гернет М.Н. История царской тюрьмы. В пяти томах. Т.1. — М.,1960. — С.201.

²⁰Жиров М.С. Указ. соч.. СОВДСК. Вып.Х1. С.117.

²¹Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Т.1. С.201-202.

²²Отечественная война и русское общество. В семи томах. Т.3. — М.,1912. — С.108.

²³Савельев Е.П. История казачества. В трёх частях. Репринтное изд. Ч.Ш. — Новочеркасск, 1915. — С.441.

²⁴Смирный Н. Указ. соч. Ч.1. — С.50.

²⁵Там же. — С.52.

Алексей Береговой



«ДА ЗДРАВСТВУЕТ...»

Рассказ

Лампочки леденили ладони, вворачивались с каким-то неприятным сухим скрипом, от которого холод ещё больше зверел, наждаком полз по спине, казалось, пересчитывал рёбра. Женька дышал на негнущиеся пальцы, потом тянул руку к Славке, получал от него очередной стеклянный шар из огромной коробки, отгибал на себя чёрный патрон на задней стороне буквы и, сожмурясь, как от зубной боли, быстро вкручивал лампочку и снова пальцы к губам: дых, дых, дых...

Патронов этих было нескончаемое множество — на всю крышу заводской конторы аршинными буквами протянулась фанерная надпись: «Да здравствует 65 годовщина Великого Октября!» — и каждая буква-ящик требовала с десяток лампочек, а ветер здесь, на крыше, борзел всюю — ему тут раздолье; носится меж скатов, звенит проводами, натянутыми на низких столбиках-трубках, обнаглев окончательно, нахально лезет под спецовки собачьим холодом (а они сдуру не подумали одеться получше, и после тёплого цеха колотун на крыше напал немедленно и жёстко) и гонит, гонит куда-то тяжёлые, серые тучи, макая в них верхушку длинной, чуть кривой заводской трубы.

От всего этого на душе у Женьки стало муторно, он чувствовал себя обиженным и несчастным, — нормальные люди давно разбежались по домам и, кто как может, уже готовятся к завтрашнему празднику. Он посмотрел тоскливо на Славку — тот выглядел скисшим, часто шмыгал красным носом и всё больше сгибал худую спину, пытаясь спрятать её от ветра за картонной коробкой, — ничего не сказал и отвернулся...

Алексей Береговой, член Союза писателей России (1992), прозаик, публицист. Автор 12 книг прозы и публицистики. С 2008 года — член Президиума Литературного фонда России. С 2010 года — член Общественной Палаты Администрации г. Ростова-на-Дону. С 2011 года — председатель правления Ростовского регионального отделения СП России, секретарь правления Союза писателей России. Живёт и работает в г. Ростове-на-Дону.

После обеда их ни с того ни с сего вызвал к себе в кабинет энергетик цеха Роман Васильевич. Ребята здорово удивились: за два месяца работы в цеху такого внимания начальства они ещё не устаивались, по работе знали лишь бугра Семёныча и вполне резонно считали, — Роман Васильевич находится от них так далеко, точно на другой планете. А тут? Но пошли, оставив недособранным электродвигатель, из-за которого вторую неделю стоял станок на третьем участке.

Присесть Роман Васильевич не предложил, он только протёр большим носовым платком блестящую и круглую лысину на голове, сказал со спешкой в голосе, одновременно бросая Женьке какую-то бумагу:

— Вот, Симаков, шуруйте на склад, получите коробку лампочек, потом в контору... видели там на крыше большие красные буквы? Так вот, завтра праздник, — сказал он тоном удивительной и радостной новости, — и нужно, чтобы уже сегодня к вечеру эти буквы сияли всеми своими огнями. Ферштейн?

— Нет, — совсем по-русски ответил Женька.

— Что «нет»? — сильно удивился Роман Васильевич. — Вам что, прожевать?

— Да не надо, — хмуро сказал Женька.

— Тогда, что «нет»?

— Не успеем мы. Сегодня короткий день, до трёх все пашут.

— Ну вымогатель! Ну паскудная душа!..

— Да там лампочек тьма, — нахально подключился Славка. — Что нельзя было заранее?

— Тут уж мы как-нибудь без мыслителей обойдёмся! Нельзя — можно! Ну, хорошо, до трёх не успеете, — девятого на работу не выходите, даю по отгулу. Но чтобы всё было железно! Договорились?

— Может, кого ещё пошлётё? — спросил Женька.

— А кого? Все заняты. Не Червоненко же мне посылать!..

Червоненко — это бугор. Червоненко на крышу нельзя — слону ясно, его обычно посылают на всякие там совещания, собрания, конференции — делиться опытом.

— Так что, не тяните волынку, — добавил Роман Васильевич, хватаясь за телефонную трубку.

Женька забрал накладную.

— Ладно, — сказал он, стараясь не терять достоинства. Ведь надо понять, что отгулы совсем пустяк против той работы, которую на них вешал энергетик, — тут и кропотливость, и ответственность, да что не сделаешь для родного цеха! Но в голове уже прояснились три выходных дня подряд и настроение само по себе заметно повысилось.

Только так было там, в цеху, а здесь, на крыше... Тут он сразу уловил, что не зря подставил Васильевичу хмурое лицо, но того, видеть, всякими там хмурами-мурами да стонами не пронять: опытный мужик, на своём месте сидит. Вот и оказалось: кто кого?..

Прибежали на склад, а кладовщицы, как всегда, — тью-тью! Пока искали

да ждали — час прошёл. Явилась весёлая, с красной рожей, но сразу докопалась: нет в накладной какой-то подписи. Пришлось лететь в контору, искать директора или главного инженера. Нашли главного. Тот не спеша прочёл мораль насчёт серьёзности порученного дела, почему-то долго и вроде бы подозрительно рассматривал накладную, а ребята всё это время переминались с ноги на ногу и поглядывали в окно, за которым уже начинал мрачнеть нудный осенний день. Наконец, заплёл кружева подписи. А в складе опять никого. Начали нервничать. Нервничали ещё с полчаса, потом неожиданно забрезжила радость, — дверь открылась и вновь явилась расхристанная кладовщица, которая, оказалось, никуда не уходила, а только подозрительно заперлась, и было очень похоже, что в её бендежке и сейчас кто-то есть ещё... Она приняла накладную, точно фальшивые деньги, как милость, отпустила коробку лампочек и ребята опять побежали через заводской двор к конторе. В общем, пока то да сё, пока втянули неудобную коробку на полтыщи штук на крышу по пожарной лестнице, время, как говорится, уплыло.

Кинулись вворачивать, сначала быстро, даже отчаянно, раздавили пару лампочек и опомнились, — окончание работы до трёх часов не входит ведь ни чьи интересы: ни в их, ни в — энергетика, ни, тем более, завода. Надо к вечеру, точнее — между четырьмя и пятью часами, когда весь коллектив разбредётся по местам своего ночного обитания.

Но так было совсем не долго. Чуть позже, когда уже основательно познакомились с холодным ветром, ощутили ветхость спецовок, взвесили собственную дурость, кое-что поняли. Поняли и потихоньку начали психовать. На себя, на энергетика, на погоду и скрежет лампочек в патронах, на длинную надпись. Что выгадали, что прогадали? А когда психуешь, лучше не работать. Но чтобы все было «железно», они работали; только, чем дальше, тем медленнее. И о времени уже не думали...

Женька уныло посмотрел на небо. Оно было рядом, его можно было потрогать, да лезть в его сырость совсем не хотелось, он лишь прикинул, что завтра будет: дождь или, может быть, снег? Что-то слишком рано в этом году... Но дождь, пожалуй, лучше...

Как ни страдали, но докрутили, хотя крыша под ними уже чуток шаталась и плыла. На восклицательный знак лампочек не хватило. Потоптались возле него, посоветались.

— Ещё пять штук надо, — сказал Женька.

— Где возьмём, — на заводе уже никого? — шмыгнув носом, спросил Славка.

— Да ну их! Не могли посчитать!

— Может, у дядьки Жоры есть? — предположил Славка. Дядька Жора — дежурный электрик.

— Да в гробу я видел опять лезть сюда! Пусть дядька Жора и лезет!..

На том и порешили.

По пожарной лестнице не спускались, эвакуировали друг друга. Как обмороженные альпинисты. Нет, тут, конечно, высота не та, но всё равно — руки и ноги не сгибаются, пальцы отказываются держать прутья лестницы,

грохнешься — костей не соберёшь! Но всё-таки добились стопроцентного благополучия.

Быстро перебежали двор — к синей двери каптёрки электриков. И ткнулись носами в большой амбарный замок.

— Ну, пена! — возмутился Славка. — Где этот козёл бродит?!

— Не знаешь, что ли? — спросил Женька. — Дома, конечно! Он же тут рядом хату от завода получил, вот и мотается каждое дежурство.

— Ты знаешь где? Пойдём позовём.

— Без понятия. Не станешь же обшаривать каждую квартиру? — Притихли. Да, не станешь. Хотя понимали, ждуть дядьку Жору из дома да ещё под праздник — дело дохлое. Придёт, конечно, но когда? А шмотки остались в каптёрке. И дубняк здесь не хуже, чем на крыше.

Походили ещё, потоптались у двери, остро чувствуя голую проницаемость собственных тел для ветра, и поняли: надеяться больше не на что, — все заводские строения смотрели на них неприступными твердынями, притемненными и глухими, и, как ни крути, ждуть дядьку Жору всё же придётся...

«Не хватает ещё заболеть под праздник», — исходя мелкой дрожью, скучно подумал Женька. Он поискал глазами по пустынному заводскому двору, и взгляд его упёрся в грузовик: тот стоял, принаряженный к празднику, у конторы, с опущенными бортами, и на спине его возвышалась непонятная пирамида, сотворённая фантазией парторга и руками заводских плотников, — завтра, во время демонстрации, она должна будет являть городу достижения их родного предприятия за эти самые, последние шестьдесят пять лет.

Женька секунду поразмышлял.

— Идём, — сказал он Славке.

— Куда? — не понял тот.

— Ну, как хочешь, я не могу больше дубореть. Там хоть тише!

— Где? — опять поднёс стылую непонятливость Славка, но Женька уже бежал через двор к грузовику. Быстро поднял задний борт, нырнул под машину. Следом забрался Славка.

Здесь и в самом деле тише. Борты с нашивками почти доставали до земли, узкие щели были слишком тесными для ветра, но асфальт дышал холодом и Женька выскочил из-под машины назад, побегал чуток по двору, нашёл обренок доски — издержку, видать, от сооружения пирамиды, — с помощью Славки засунул её под машину, влез сам опять. Уселись и, хотя тепла особого не чувствовали, вроде бы стали приходить в себя.

Ну, парни молодые — всего-то по восемнадцать лет! — едва очухались и сразу трепня, гы-гы да га-га, — все громко и бесшабашно. Женька вспомнил какой-то анекдот, следом, как водится, Славка. Потом Женька рассказал, как бугру в получку при обмывке чего-то разбавили лимонад спиртом. Тот глотнул водяру, ему подсунули стакан вроде с «Буратино», он хватанул лимонад, и рожа у него была — мужики уржались! Бугор рассвирепел сначала, потом отдышался, загрыз луком и успокоился, даже довольным стал, — спирт хоть технический и керосином отдаёт, а крепкий гад и всё ж добро. После всё допытывался, кто это спирт в цех приволок? Нужда, видать, у него...

Сколько проболтали так, не помнили. Изредка приподнимали борт, выг-

лядывали — замок, как надёжный часовой, поста не покидал. Под машину потихоньку заползла темнота, щель под бортом окрасилась в лиловый цвет и с каждой минутой чернела. И сколько ни веселись насильно, ни надрывайся в хохоте, на душе всё ж совсем тоскливо становилось: как-никак, а мчит уже законное свободное время. Славка было заикнулся об этом, но тут они услышали злой до самой изнанки голос:

— А ну вылазь... мать! Быстро!

Притихли. Что такое?..

В лиловой полоске щели борта нарисовались носки чьих-то туфель, по виду, мужских.

— Вы что, уши не полоскали? Вылазь, говорю!

— Нам и тут хорошо! — весело сказал Женька, и ребята снова заржали. Голос явно не принадлежал дядьке Жоре.

— Я вот вам сейчас порыгочу! Вы у меня запляшете! Вылазь, говорю, не то хуже будет! — опять заорал голос, и борт закачался так, точно хотел вышибить парней из-под машины.

Это уже было серьёзно.

Нехотя приподняли лбами задний борт, потихоньку выбрались наружу и тут же услышали:

— Стоять! Руки за голову! Не шевелиться! — Женька почувствовал, как какой-то усатый тип прижимает его к машине, хлопает по карманам, поясу, штанинам брюк. Как-то замедленно, не сразу Женька оторопело понял: обыскивает! Возле Славки толкося другой тип в штатском, а чуть поодаль стояли тощий милиционер и вахтёр с проходной дядя Федя.

— Топайте за мной, — так же сердито произнёс усатый и шагнул к конторе, ребята нерешительно двинулись за ним, следом — второй штатский и милиционер, замыкал шествие дядя Федя в своей неизменной конькобежной шапочке конца пятидесятых годов (где только откопал?!), чуть ссутулившись, семенил кривыми ножками, обтянутыми узкими штанами — не то трико, не то ушитыми галифе. У дверей конторы усатый резко обернулся, пропустил вперёд Женьку со Славкой, потом — штатского с милиционером, но дяде Феде дорогу почему-то преградил, сказал помягчевшим голосом:

— Спасибо вам, товарищ...

— Фёдор Алексеич! — обрадовался дядя Федя.

— Да, да, — отрешённо сказал усатый. — Вы свободны.

— Я эта... я эта... — забормотал гнусаво дядя Федя, но усатый решительно повторил:

— Вы свободны, — и закрыл за собой дверь.

Поднялись на второй этаж. Усатый, по всему, был начальником, он двинулся по коридору хозяйски, уверенно толкал запертые двери, негромко матерился при этом, но, наконец, добился своего, — дверь в приёмную главного инженера открылась.

— Заходи! — приказал он и сам вошёл первым, включил все лампы, уселся за стол секретарши, резко пхнул машинку от себя.

— Этого, — ткнул пальцем в Славку, — в коридор! Мамедов, покарауль,

чтоб не смылся, а ты, — Женьке, — садись, писать будешь. — Он открыл дерматиновую папку, достал лист бумаги, шариковую ручку.

Мамедов положил широкую ладонь на Славкино плечо, развернул его в коридор. Женька присел напротив усатого, несмело взял бумагу, ручку.

— Чё писать? — бестолково спросил он.

— Всё пиши, — устало ответил усатый.

— Чё всё?

— Ты дурака тут не валяй! — вскипел усатый. — Не на того напал, понял?! Пиши, что делал под машиной, подготовленной к праздничной демонстрации трудящихся.

— Ничего не делал, — беспечно ответил Женька. Ведь это же и так ясно!

— А залез под неё ради смеха, да? Поохотать над колёсами? И время выбрал такое, ближе к ночи, когда на заводе никого нет!

— Ничё я не выбирал. Каптёрка закрыта, вот и залезли погреться.

— Там для вас печку приготовили! — ехидно ухмыльнулся усатый. — Певзнер, ты видел такие машины, с печкой на кардане? — спросил он второго штатского. — Нет, да? А вот для них, видишь ли, приготовили.

— Да нет там никакой печки! Там просто затишек! — удивился Женька иронии усатого. — Мы лампочки вворачивали на крыше, пошли в цех, а дядька Жора куда-то слинял. А мы замерзли, вот и спрятались от ветра. Чего ещё? — Женька не сомневался в понятной простоте и пустой формальности своих ответов. Ну, помурьжат, помурьжат чуток, может, пугнут для верности и отпустят. Неужели серьёзно думают, что они там что-то делали? Нет, не может быть.

— Или открутить чего-нибудь хотели? — неожиданно продолжил усатый.

— Зачем? — не понял Женька.

— Как зачем? Ну, скажем, чтобы машина вдруг обломалась прямо перед трибуной. Представляете: она стоит, колонна застряла, демонстрация — к чёртовой матери; все бегают, нервничают, а вражеские голоса уже передают: «В таком-то городе сорвано политическое мероприятие». Не так ли? — усатый хитро прищурил рыжий глаз. И уж очень сверлил этот глаз Женьку, пробуравливал до самого сердца. И в этот момент Женька струхнул.

— Да не, — сказал он подавленно, — ничего мы не откручивали.

— А, может, мину хотели подложить? — ещё больше насел усатый. — Это, вообще, класс: машина перед трибуной, и вдруг ба-бах! — летят куски транспарантов; люди все бегут в разные стороны; крики, паника...

— Какую мину? — спросил Женька, бледнея от понимания серьёзности вопросов усатого.

— А такую: маленькую, пятачковую. Она магнитная, прилепил на раму и всё: взорвётся точно по времени, где нужно; машину разнесёт в клочья, людей на ней, — эффект страшный и очень нужный тем, кто тебя послал.

— Да не посылал меня никто, — уже заныл Женька. — Не знаю я никакой ми-ины...

— Мина не баба, её знать не надо, её достаточно иметь. Так что, пиши, всё — как было. Кто послал, зачем, что делали. А сначала так: объяснение,

фамилия, имя отчество, год рождения, домашний адрес, кем работаешь, ну и дальше всё, как есть.

— Да ничё мы там не делали! — с отчаяньем простонал Женька.

— Тихо! — строго сказал усатый. — Пиши. — И повернулся ко второму штатскому:

— Певзнер, ты позвонил сапёрам?

— Да.

— Ну, и что?

— Сейчас придут, осмотрят машину.

— А механик?

— Сообщил. Приволокут.

— Так... Подождём...

Женька в это время катал шарик ручки по бумаге. Написал именно «всё как есть». Работу закончили, мол, одежда в шкафчике, как домой пойдёшь? Увидели машину, полезли в затишек, сидели, ничего не трогали и мин никаких у них не было. Что ещё!? Объяснительная получилась короткой, усатый посмотрел написанное и как-то криво усмехнулся.

— Г-м, — сказал он. — Хитришь парень? Начальник у тебя кто?

— Энергетик.

— Фамилия?

— Его?

— Не твоя же?

— Сорока.

— Ты всё обзвонил, Певзнер?

— Да.

— Звякни там, пусть ещё эту Сороку притащат. — И сразу Женьке:

— Ты давай пока в коридор, а кореш пусть зайдёт...

Славка только глянул на дружка и перепугался наглухо. Вид у того, наверное, был такой, — всё поймёшь сразу. Он пропустил Женьку в коридор и шагнул в приёмную так, словно пол в ней был из чистого льда и растянуться на нём — раз плюнуть.

Женька прошёл мимо тощего Мамедова — тот стоял, как истинный постовой у двери: прямо, не касаясь стенки, опираясь на обе ноги; показал, только, Женьке пальцем в сторону, противоположную входу, и снова «умер». Женька подошёл к окну и стал ждать.

Но самым странным было то, что вызывали его ещё четыре или пять раз и снова заставляли писать объяснительную с таким видом, будто до этого он не писал ничего подобного, или его бумаги сразу же растворялись в холодном люминесцентном свете кабинетных ламп, исчезали без следа прежде, чем усатый успевал спрятать их в папку. Так и сновали ребята туда-сюда: Женька — в кабинет, Славка — в коридор; Женька — в коридор, Славка — в кабинет; и, если бы не серьёзность лиц и вопросов, можно было подумать, что усатый просто развлекается от скуки и желания убить время. Всё это настораживало, внушало неуверенность, сбивало с толку. Потом Женька понял: не верят!

В промежутках между вызовами Женька стоял у окна, оторопело уставившись на жёлтый свет фонарей во дворе, — ему казалось, что спит он, и

валится на него какой-то страшно тяжёлый сон, давит его, подминает, нудит до слёз, а он не может никак сбросить его, избавиться, прийти в себя, только оцепенело ждёт, не понимая, чем же всё это кончится...

Он уже чувствовал, как боится проверки машины — кто эти люди, что скажут? А вдруг на этой чёртовой развалюхе и в самом деле не хватает какой-нибудь гайки или детали? Женька вспомнил, как матерятся водители, требуя запчастей, как ездят на честном слове; и ремонт у них через день, да каждый день, потому и не успевают прижиться на заводе: только поступят, как уже бегут. Он был уверен, никакой мины они не подкладывали, но опять это проклятое слово «вдруг»! А вдруг кто-то всё же сыграл на руку мировому империализму и действительно воткнул эту самую мину; теперь её найдут и всё свалят на них?.. Перед последним вызовом в приёмную он увидел в окно военный УАЗик, каких-то людей в форме (они лазили вокруг машины с фонариками в руках), и стал страстно желать, чтобы они ничего не нашли, и ещё он молил судьбу, чтобы механик оказался своим, заводским, не станет он тогда искать пропавшие гайки, — какой ему резон?

Так он думал, страдая, и потихоньку начинал чувствовать себя виноватым. И понёс же его хрен под машину, не мог, дурак, так потерпеть! Лучше бы пошли искать дядьку Жору. А пол под ногами постепенно заваливался битым стеклом, он стоял на нём босиком и выглядывал в окно так, точно вел перестрелку с очень метким снайпером, засевшим где-то в глубине двора...

Потом в контору поднялся военный — молодой лейтенант в полевой форме, — появился механик (свой! — обрадовался Женька и даже вспомнил имя: Иван Иванович, как-то бугор посылал Женьку к нему за наждачной бумагой), оба зашли в приёмную, а парней выставили в коридор уже напару.

— Ны звуку, — серьёзно сказал Мамедов, — ыначэ... — И показал похожий на кувалду на тонкой ручке кулак.

Но они уже и сами понимали, что «ыначэ», поэтому сидели молча, и, кажется, чуточку дрожали, но уже не от холода, нет, а от чего-то другого: может быть, от страха или напряжения, с которым прислушивались к неясным голосам за обитой дерматином дверью приёмной главного инженера, или от досады на бесплодные попытки что-то уловить.

Да и вообще, всё здесь было каким-то ненормальным, походило на чью-то глупую, предпраздничную шутку, в которую они, хотя и нечаянно, но так покурачки влипли, и всё из-за этой поганой рожи — дядьки Жоры, но всё равно ещё немного посмеются и весело скажут: «Валите отсюда, надоели!» Ведь не делали же они ничего такого, за что привлекают серьёзно, честно же обо всём рассказали, да и зачем им срывать демонстрацию, когда они сами собирались утречком прошвырнуться в город, потолкаться среди людей, посмотреть на праздник перед тем, как пойти на вечеринку к Витьке Смоляку.

Но длиннобудылая фигура милиционера внушала совсем другое: шуточками здесь и не пахнет; усатый всерьёз взялся за них, всё идёт по правилам, тщательно и обоснованно, — не зря же подняли на ноги столько народу? А кто поднял? Ну, конечно же, дядька Федя, это он позвонил, — больше некому. Он всегда страшно любил порядок и постоянно подчёркивал это;

только, любовь эта была довольно странной в глазах других людей: лебезил с начальством, заискивал, старался шепнуть на ушко — служил до потери пульса; зато с такими, как Женька со Славкой, хамил безбожно и как бы по праву: попробуй проспять чуток и опоздать на завод хоть на пару минут — всё, виси на крючке, не трепыхайся, а то такой шум подымет, — ползавода сбежится. Но ведь и на правду похоже: как говорится, взяли их «на месте» и почти с поличным.

От этих мыслей на душе было совсем слякотно. Полутёмный коридор теперь почему-то сильно напоминал подвал, фонари за единственным окном во дворе наполняли душу чем-то поганым и тоже жёлтым, а Мамедов возвышался у двери молчаливым монументом конкистадора.

Так прошло ещё минут пятнадцать. Потом усатый опять позвал их в приёмную, теперь — обоих сразу; они вошли смиренно, точно подпитые тормозящим снадобьем, молча стали у стены.

Лейтенант-военный смотрел на них насмешливо, механик — сердито (вот, мол, из-за таких раздолбаев пожилым людям даже под праздник покоя нет), лицо усатого оставалось жёстким, непроницаемым, казалось вылитым из серой чугунины. Он протянул Женьке какую-то бумагу, сказал резко, точно скомандовал:

— Подпиши!

— Чё подписать? — робко спросил Женька.

— Протокол и акт обследования машины. Читай, потом подписывай.

Женька читал медленно, чувствуя, как постепенно разжимаются какие-то клещи на сердце, — из всего текста он улавливал лишь две пары строчек: «Заминирования не установлено» и подпись — военного, наверное, — и «Автомобиль технически исправлен» и тоже подпись, теперь уж точно — Ван Ваньча! Наконец, строчки дошли до ума, и Женька повеселел, подписал, не читая дальше. «Ну, что мы говорили?!» — заикнулся было он, да упёрся взглядом в броню на лице усатого и замолчал. Но обстановка в приёмной всё же прояснилась, и можно было даже отвлечься. Пока читал и подписывал Славка, он осмотрелся. Певзнер курил в форточку и казался тут совсем посторонним человеком, лейтенант уже поймал телефонную трубку, куда-то названивал, — всё дальнейшее ему было явно до лампочки; и только механик в нерешительности мял кепку руками у двери, не зная как быть дальше, да Мамедов загораживал выход, проявляя дисциплинированность, видимо, на случай побега без команды Женьки со Славкой.

Славка положил ручку на стол, протянул бумагу усатому. Тот посмотрел на неё, секунду подумал, потом сказал так же резко, но кажется, уже совсем не зло:

— А теперь дуйте по домам! Понадобитесь, вызовем!

— Как? — не понял Женька. — Что, ещё не всё?

— Какать будешь дома! — повысил голос усатый. — Или желаешь в КПЗ?

Женька знал, что такое КПЗ, и совсем не хотел туда. Славка — тоже. И потому они «дунули». Не попрощавшись. К дверям каптёрки. А там дядька

Жора с уже покрасневшей мордой сидел за столом и метал матюки. Пока они переодевались, он настойчиво добивался:

— И какого хрена я должен из-за вас тут сидеть, когда у меня столько дел?!

Ребята промолчали и выскочили во двор. А что ему ответишь? У каждого свои дела, и кто кому мешает — неизвестно. И каждый прав по-своему. Обидится человек смертельно, а ведь вместе работать. Да и попробуй расскажи такое. У нас так, обязательно начнут спрашивать — что да как. А потом и выводы сделают: «Не зря всё же!» И начнут коситься. Каждый у каждого на подозрении. Это ребята уже понимали. И старались поспешать.

Только на проходной задержались на мгновение. Дядька Федя высунулся по пояс из своей стеклянной будки, задрожал сиплым голосом:

— Ну что? Почему это вас?..

— А вот что! — уже в дверях на улицу обернулся Женька и скрутил грязными пальцами большую дулю.

— Ах ты, короста! Да я тебя, б...

Дальше они уже не слышали, потому что бежали вдоль длинного заводского забора к своим домам.

Утром Женьку разбудил отец.

— Вставай! — сказал он странно недовольным голосом. — К тебе пришли.

— Скоко время? — сонно промычал Женька, собираясь повернуться на другой бок.

— Время, время! Скоро восемь!

— Чё он, совсем вальтами завернулся? — возмутился Женька, соображая, что Славка уже припёр в гости.

— Да вставай, говорю! — рассердился отец, стянул с Женьки одеяло. Тот открыл глаза и сразу заметил разлитую по небритым щекам отца непривычную бледность.

Женька вскочил, прыгнул ногами в трико.

В прихожей стояли двое. Один из них представился Воробьёвым, предъявил красную книжицу, сказал, как показалось Женьке, чересчур бодрым голосом:

— Одевайся, паря, с нами поедешь...

Женька не спрашивал куда, потому что знал. Он просто растерялся, забормотал трусовато и чуток слюняво:

— А чё? Я ничё... Я... — глянув на нервничающего отца, сник, побрёл в спальню одеваться. Ну что, ничего не кончилось; видать, только начинается. А он?..

— Поторопись, дорогой, — услышал он вслед.

Он не хотел торопиться, одевался медленно, прислушиваясь к вопросам отца в коридоре, неясным ответам Воробьёва и лихорадочно пытался что-то сообразить. Но, как ни тяни резину, всё равно когда-нибудь она перестанет растягиваться. Пришло время, когда нужно было выходить. В прихожей он

натянул пальто, напялил шапку и, вспомнив кой-какие кинофильмы, спросил неуверенно:

— Вещи какие с собой брать?

— Обойдешься пока этими, — засмеялся Воробьёв, легонько подтолкнул Женьку к выходу. — Ну, пошли. И так задержались...

Женька, со страхом ждавший наручников, облегчённо вздохнул, но всё ж для правильности заложил руки за спину, ватными ногами первый шагнул на лестничную площадку, неуверенно стал спускаться вниз.

Во дворе его посадили в машину, но совсем не в «Волгу» и вовсе не в чёрную, а в обыкновенный тёмно-зелёный, задрипанный «Москвич», наверное; из-за его убогой тесноты сзади, рядом с Женькой, сел только второй мужчина, а Воробьёв устроился на переднем сиденье и приказал водителю двигать да побыстрей...

«Москвич» был расхлябанный и скрипучий, он дёргался и надрывно выл, но всё равно всего лишь за полчаса довёз их до большого серого здания на центральной улице — Женька знал это здание, но всегда оно было где-то вне его бытия, в каком-то другом мире, он никогда не мог даже представить, что оно когда-то коснётся его, Женькиной жизни. Он шёл к входным дверям и уже ни сердца, ни души не чувствовал даже в пятках, он впал в какое-то оцепенение, точно лягушка в холод. Не поняв на какой этаж, он поднялся по лестнице, двинулся по коридору. Воробьёв открыл одну из дверей, и они очутились в большой квадратной комнате с широким окном и ещё одной дверью, обитой чёрной кожей. И тут, почти с порога, Женька заметил Славку — тот сидел на стуле у окна и смотрел на улицу.

— Ты чё? — удивился Женька, словно и не мог предположить увидеть его здесь.

— А ты чё? — сердито переспросил Славка, но по глазам было заметно, что он обрадовался. А как же иначе? Друзья! И что бы там ни было, вдвоём всё равно будет легче...

— Разговорчики! — оборвал их неуместную радость Воробьёв. — Садись, жди здесь, — сказал он Женьке и тут же исчез за кожаной дверью.

Круглые часы над выходом уже показывали половину десятого, когда Воробьёв вышел из кабинета. Остановился перед ними, зачем-то размял пальцы на руках, потом шагнул к телевизору, включил его.

— Вот так, — тряхнул он круглой, лысоватой головой. — Смотрите в аппарат. Сидите и наблюдайте за своей машиной. Уйдёт она с площади благополучно, ничего не случится, — можете радоваться. Так что, внимательно, внимательно...

— А вдруг она сломается? — испугался Славка.

— Вдруг ничего не бывает, — непонятно ответил Воробьёв. — Если сломается, значит, была причина. А за причины придётся отвечать.

Он ушёл, не сказав больше ни слова. Женька со Славкой придвинулись к телевизору.

В десять часов начался военный парад. Никогда ещё ребята не были так скучны при виде военной техники, — парад показался им бесконечно длин-

ным, нудным и пустым. Там было много машин, но это были другие машины: надёжные, отлаженные, не знавшие голодного пайка запчастей и небрежных рук слесарей. Войска шли и шли по площади, а они поминутно поглядывали на часы и всё больше падали духом, точно это парад, растягивая ожидание, готовил им подянку в виде их поломанной машины.

Но вот на экране показались транспаранты, знамёна, портреты — они плыли над головами дежурно улыбающихся людей с казёнными красными бантами на груди. Тянулись колонны, гремела бодрая музыка, разорялось над трибуной радио, кричало «Слава!» и тому, и этому, и всем остальным, — и не было конца славным профессиям, организациям, а Женька со Славкой вжали головы в плечи, напряжённо смотрели на экран, выискивая глазами «свою» машину. Ну где же она? Почему так долго нет? Но ведь народ топает, значит, не сорвано ничего, значит...

Ага, вот их район пошёл, идут себе, не паникуют, не разбегаются... И тут они увидели знакомую пирамиду; она плыла в толпе к трибуне, и это был самый тягостный момент! Женька впился в неё глазами, не отрываясь, смотрел на её маленький силуэт на телевизионном экране — пирамидка казалась не настоящей, игрушечной, но как много значила она для него! — он оцепенел, чувствуя, как постепенно опускается сердце. Ну, машинка, ну, миленькая, не ломайся, пожалуйста, гуди ровно, без перебоев, проезжай, проезжай, родная, не останавливайся... В этот момент он забыл про Славку, про то, где находится, ему очень было нужно, чтобы машина доехала, — она стала его судьбой.

В это время в комнату вошёл Воробьёв, поставил на стол стаканы с чаем, тарелку с бутербродами.

— Вот, подкрепитесь чуток, — сказал он и глянул на экран телевизора. — Ну, как там у вас?

Славка только махнул рукой, а Женька вообще промолчал, — какие там чай, бутерброды с колбасой, когда по площади двигалась их машина, но так медленно, так нудно, точно их души тянула за собой на канате.

Воробьёв пожал плечами и снова ушёл, а они даже не заметили этого.

Ну, кажется, всё. Машина добралась до края экрана и скрылась, а там — боковая улица, поворот налево, выберется из толпы, прибавит скорость и... Но ещё минут пять они сидели, цепenea и вглядываясь в толпу перед трибуной — что? Ничего? Двигается, движется, вроде бы всё спокойно, ушла машина теперь, пожалуй, у-ух, ты! — вздохнули, наконец, облегчённо.

Женька встал, размял затёкшую спину, походил взад-вперёд по комнате, потом взял с тарелки бутерброд, начал жевать.

— Ты чё, голодный? — спросил Славка.

— А-а, — непонятно махнул рукой Женька, и машинально взял с тарелки второй бутерброд, потом опомнился, сказал Славке тихо, чувствуя, как наплывает реальность:

— Ешь, чё ты? Зря, што ль, сидели?

Однако Славка есть не стал.

А Воробьёв пришёл только через час, помуржыл их ещё немного, потом, как бы нехотя, объявил:

— Ну, диверсанты, ваша взяла. Не знаю, какому богу молились, но вроде бы всё обошлось. Вот вам пропуска, топайте домой, отдыхайте, праздник сегодня, как-никак...

— Чё, всё? — не поверил Женька.

— Тебе этого мало? — усмехнулся Воробьёв.

— Не, — испугался Женька, — мы пойдём...

И вот уже шапки похватали, пальто нацепили, но не уходили. Славка стоял, как прибитый к стенке, Женька согнулся над стулом, чувствуя такую усталость, точно перетаскал целый пароход мешков с сахаром и теперь не мог двинуться с места. Им не хотелось уходить просто так, остаться проверенными, нужно как-то показать, что слова человеческие, честность тоже чего-нибудь стоят. Женька кисло улыбнулся, попытался сказать бодро:

— Да мы... эта... Мы же говорили, чего вы не верили?..

— Обиделись? Ладно, ладно, — миролюбиво сказал Воробьёв. — Куда там — гордецы! Радуйтесь, времена переменялись. Стали бы вас тут проверять. Случилось — не случилось, поплыли бы куда надо. Так что, бывайте здоровы...

И парни поняли: в самом деле, надо радоваться, но разбавлять эту радость ещё каким-то словами просто не стоит. Потому молча взяли пропуска у Воробьёва и боком — один за другим — выскользнули через слегка приоткрытую дверь в коридор. Вот такие у них пошли дела...

На улице Женька предложил Славке:

— Уже почти обед, жмём прямо к Смоляку?

— Домой я поеду, — глухо ответил тот.

— Ты чё, там собрались уже все! — удивился Женька.

— Простыл я вчера на крыше, температура у меня, наверно, — Славка для убедительности длинно потянул носом, моргнул покрасневшими глазами. — Да и мамаша там, небось, охает до сих пор. Поеду я.

Женька вспомнил бледного отца, вспомнил свою мать, которая, должно быть, уже пришла с дежурства, помолчал минуту, потом сказал тихо:

— Знаешь, я тоже домой. Со своими побуду, а то всё где-то да с друзьями, — дома не получается никак. Троллейбусы уже пошли. Ты едешь, вон пятнадцатый идёт?

— Ага.

— Ну а я двойку подожду, — мне дальше.

— Ну, тогда — пока...

— Пока... Не болей, завтра забегу, проведу, — и Женька крепко пожал другу руку.

Уже в троллейбусе Женька что-то вспомнил, шумно вздохнул, сказал самому себе:

— Вот хреновина, лампочки-то мы так и забыли включить!..

Но на улице всё равно шумел праздник...

Ростов-на-Дону, 1989 г

Владислав Ефремов



МОЙ ДЕДУШКА — УПРАВЛЯЮЩИЙ!

Рассказ

И снова вся станица пропахла вишнёвыми садами и акацией. Во дворах казачки варили варенье в больших сияющих медных тазах. Варила, варенье и моя бабушка. Запах такой, — аж дух захватывает. Даже пыль на улице Красной и та пахнет акацией и вишней.

— Айда, ребята, по клубнику! — кричу я, счастливый и гордый.

— Не бойтесь ничего: мой дедушка — управляющий!

Мы шлёпаем босыми ногами по пыли, и нам она кажется мягче самого мягкого бархата.

— А если поймають?.. — сомневается Гринька.

— Я ж сказал, — мой дедушка управляющий! Никто нас не тронет! — кричу я снова.

За станицей чуть прохладнее: ветерок. А вот и речка. Синяя-синяя и прозрачная. Хорошая. Справа едва-едва колышется камыш. На нём застыли слюдяные стрекозы. Вода у травянистого берега чистая и светится... В глубине, у самого дна, — молодые побеги камыша — «шлычки». Быстро запускаю руку в воду, тяну, — раздаётся глухой подводный звук: «Пых!» Шлычек отрывается от корня белый-белый и сладкий-сладкий. — Жуём с наслаждением... С того берега тонко-тонко пахнет клубникой. Там начинаются владения рисосовхоза «Красноармейский». Управляющий первым отделением в этом совхозе — мой дедушка.

— Айда, ребята! — смело кричу я, и мы бросаемся в воду. Краснопёрки прыскают в стороны. Но рыба нам сейчас не нужна. Быстро переплываем неширокую речку... Выжимаем трусы, майки. На ресницах капли. И огромное клубничное

Владислав Ефремов, член Союза писателей России (1993), поэт, прозаик. Окончил Николаевское военно-морское минно-торпедное училище им. С. Леваневского. Автор книг стихов «Огни подхода», «Копны света», «Зона пилотажа», «Возвращение надежды» и др. Лауреат премии «Творчество Дона», награждён медалью им. М. Ю. Лермонтова.

Живёт и работает в г. Эссентуки Ставропольского края.

поле, на краю которого я стою, кажется мне сквозь эти капли то голубым, то зелёным, а то оранжевым...

Пахнет клубникой просто невыносимо.

Сначала едим и зелёную с краснинкой, потом — только красную и большую — сочную-сочную. А ту, что очень тяжёлая и растёт у самой земли, отряхиваем от песочка... Начинаем уже различать, как стрекочут кузнечики, а где-то в садах кукует кукушка.

— А если поймають? — снова сомневается Гринька. Сам по себе смуглый, он от солнца стал совсем каким-то фиолетовым, как наши пятки от раздавленной чёрной шелковицы. Он осторожно оглядывается по сторонам из высокой травы.

— Трус ты, Гриня, — презрительно с полным ртом клубники замечает Мишка. Его облупленный на солнце красный нос презрительно морщится, — сказано тебе? Дед у него — управляющий!..

Гринька, соглот и снова продолжает есть. Мы молчим, Я вспоминаю: Мишкин отец погиб на войне; Мишка, громко плакал тогда, зарывшись в скирду сена.

Снова врывается в уши и крик моей бабушки, когда принесли похоронку на моего дядю Ваню. Я смотрел на похоронку. Это был простой конверт. В глазах у меня стало чернеть, и конверт сделался чёрным.. Вспомнил я, как дядя Ваня принёс мне в первый и последний раз в моей жизни подарок — ранец для книг, обшитый мехом какого-то непонятного сказочного зверя, как научил он меня ездить на взрослом велосипеде «в раму»; подумал о том, что никогда не увижу своего отца: он давно умер; что не увижу теперь никогда и доброго дядю Ваню... Конверт стал ещё чернее и вдруг исчез. — Я упал тогда у коровьих ясель на привядшую траву. А потом долго болел...

Алый клубничный сок тёк у Мишки по подбородку, он вытирал его влажной спереди майкой. Сзади наши майки были уже сухие. Жарко... Лето-летское!.. Мы стали собирать клубнику за пазуху.

Вдруг раздался короткий резкий крик. Гринька вздрогнул и присел ещё ниже в траву...

— Это лыска кричит на речке, — насмешливо успокоил Гриньку Мишка, — а говорил, всех птиц знаешь...

Мишка, понимающе взглянул на меня, но Гринька прислушался, глянул влево и тихо-тихо сказал:

— Гля, кто-то скачет...

От лесополосы по краю поля скакал верховой. Мы поняли, что это объездчик. Гринька и Мишка кинулись было бежать, но потом стали вплотную возле меня. Объездчик летел аллюром прямо к нам, его белый в серых яблоках жеребец всё время задирает голову вверх. Вот он всё ближе, ближе!.. Вот уже видно, как с удил падает бело-зелёная пена; жеребцу тоже жарко, шея его влажно лоснится на солнце. Объездчик резко остановился возле нас...

— Клубнику воруете, сукины сыны?! — крикнул он хрипло. Рука с нагайкой гневно взметнулась вверх. Гринька и Мишка прижались ко мне плотнее. Но тут я выступил вперёд и, дрожа от напряжения, сказал:

— Мой дедушка — управляющий!..

Рука объездчика замерла.

— А кто же твой дедушка?

— Я же сказал, — управляющий! Фёдор Андреевич; а я его внук, а это Гринька с Мишкой, а бабушка моя — Васса Фёдоровна, а дядя...

— Ага! — крикнул объездчик, резко крутанул жеребца и, обдав нас ошметками земли и травы, ускакал...

— Ну, а что я вам говорил? — победно смотрел я на притихших друзей. У Мишки лицо стало бледным, а нос ещё красней. А фиолетовый Гринька сделался каким-то серым.

— Да, — уважительно выдохнул Мишка, — сила!

Мы присели в траву и молчали. Стрекотали кузнечики, бесшумно хлопали крыльями большие белые бабочки, жарко краснела клубника... Есть уже не хотелось. За пазухой делалось липко. Гринька глянул в сторону лесополосы, лицо его удивленно вытянулось, медленно поднимаясь из травы, он прошептал:

— Гля, опять скачуть...

Всадник скакал галопом, низко пригнувшись к шее коня. Он был совсем близко. Скакал без седла, и по зелёной, пузырьём на спине, выгоревшей гимнастёрке я узнал деда. Вот видно его перекошенное, какое-то чужое лицо! Всё дальнейшее происходило, словно во сне. Он врезался прямо в нас. Я упал, сбитый мокрым, потным боком коня. Гнедой присел, осаженный сильной рукой, и раскорячено тормозил задними копытами по земле, потом встал на дыбы и пошёл на нас!.. Дед — что-то кричал! Рот его казался огромной чёрной, растянутой ямой, синие глаза ласковые когда-то, сделались белыми от злости. Гриньку с Мишкой он словно не видел.

— Ах, ты ж, сукин сын с падлюкою! Позорить мэнэ вздумав перед народом! — Дед отгеснял меня к реке. Конь храпел, бешено выкатывал глаза и, брызгая пеной, кидался в сторону. Вдруг дед изловчился, гикнул и с оттяжкой ударил меня кнутом по спине!

— Я тебе покажу: «Мой дедушка — управляющий!»

Удары сыпались одни за другим... Давно, казалось, мы все трое стоим по грудь в речке, и я повторяю уже очень давно, заслоняясь от ударов:

— Дедушка, родненький?.. Дедушка, дедушка, как же так!..

На ресницах моих слёзы, и клубничное поле снова кажется то голубым, то зелёным, то оранжевым. Красным пятном видится мне быстро исчезающая дедова гимнастёрка: дед ускакал так же стремительно, как и налетел. Но в ушах ещё звенело его прощальное: «Дома поговорим!»

От ударов кнута подол майки выдернулся из трусов, и речка стала красной от клубники. Ягоды медленно плавали вокруг Гриньки и Мишки...

Молча переплыли мы на станичный берег. Мишка высыпал остатки клубники на лопухи, вслед за ним высыпал и Гринька. Видно, из солидарности со мной. Снова молчали. Потом Мишка, глядя на тот берег в сторону «совхоза» сказал своё коронное:

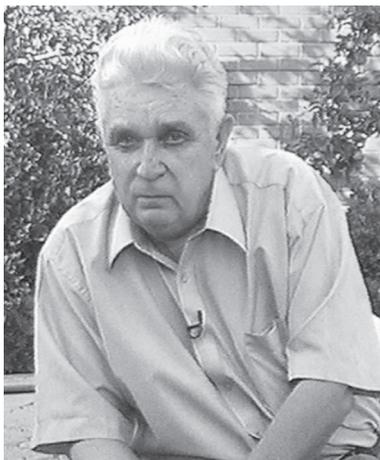
— Да!.. Сила!.. — и добавил не то с восхищением, не то с осуждением:

— Вот это управляющий!

...Ночью я долго лежал с открытыми глазами. На спине не мог — лежал на боку. Засыпая, увидел над собой уже не белые от злости, а синие-синие добрые глаза моего дедушки...

За окном постепенно затихал шелест нашего старого сада, словно шелест улетающего детства.

Владимир Барвенко



«Я КАК-ТО БЫЛ СЧАСТЛИВЫМ...»

*Отрывок из романа «Дыхание Голгофы»**

...Господи, как наивен я тогда был! — Как наивны мы все были...

Разве я мог представить тогда, что, погружаясь в русский мир политических иллюзий и страстей, надо напрочь затерять такие понятия, как честь, совесть, достоинство. В улыбке младенца есть неосознанное желание любви всех. Кажется, тогда я и смотрел на мир глазами младенца: разве я подозревал, что борьба за любое «властное» российское кресло — это война низменных страстей и подлых поступков. От русской власти всегда потягивает сладковатым запахом морга, но твоя жизнь сейчас, ещё до начала процесса «всенародного волеизъявления», уже поделилась на «до» и «после».

Тогда ещё было время поразмышлять...

Как, однако, я легко согласился быть лидером! Ни мучительных раздумий, ни сомнений — вот так просто, по-детски наивно рухнуть в совершенно неведомый, противный даже самому твоему духу, мир. — Мир интриг, подлости, зависти, равнодушия.

Ни черта я не думал ни о каком нравственном итоге... БЫТЬ МЭРОМ! Ах, ах! Быть мэром! А что за всем этим?! Мучительное движение в нечто чуждое твоему образу жизни, твоим идеалам и ценностям. Толкотня к трону, в котором нет и никогда не будет соратников, настоящих друзей, искренности. А что в итоге?

* Роман полностью публикуется в альманахе «Дон и Кубань» в №№ 15, 16, 17 (прим. редакции)

Владимир Барвенко, член Союза писателей России (1992), прозаик, публицист. С 2011 года — член ревизионной комиссии Ростовского регионального отделения СП России. Окончил Шахтинский педагогический институт по специальности — филолог. Автор книг «Утро чудес» (1989), «Золотой дождь» (1991), «Гон» (1992), «Блистательный жираф» (2000), «Мёд земного искушения» (2002), «Проснуться и забыть» (2008). Лауреат литературной премии им. А. Недогонова.

Живёт и работает в станице Раздорской Усть-Донецкого района Ростовской области.

Это — кипящее гадами сонмище каких-то низменных страстей, пересыпанное, по-русски, запредельными благами, плотскими удовольствиями и невероятным цинизмом. И это — от подзабытых партпосиделок до нынешних «демократических» президиумов, от VIP-гальяунов до всё тех же роскошных вилл.

Разговоры о человеколюбии, благоденствии, — всё блеф. Всякий путь на вершину власти — это Голгофа! И только, наверное, кажется, что под звуки меди и рукоплескания соратников тебя ждёт мир Поступка! Народ жаждет эдакого благородного витязя, чтобы тот хоть как-то смог нивелировать извечную русскую нищету. «Ну, и как, капитан Апраксин, ты готов взойти на трон в городе, исторически обласканном, разве что, цитатами вождей?!» Ну, попробуй совершить этот чёртов поступок, если в тебе что-то осталось ещё от войны, от твоего ремесла и людской боли!..

... Так думал я, бродя по улицам города в томительном ожидании получения своей поздоровевшей «копейки». Впрочем, кто знает, что лучше для меня: поражение на выборах или победа? Я уже перешагнул черту в себе. И может быть, уже сегодня, сейчас, во мне что-то начнёт ломаться, рушиться. А вдруг!.. Я стану, как все, мимикрировать, — просто, сама природа ваятелей подобного загонит меня в прокрустово ложе таких же деятелей, многозначительно называющих себя борцами за счастье народа, а точнее — упырей, погрязших в роскоши и хамстве... Впрочем, что стоило мне остановиться у первого попавшегося телефона-автомата, набрать Батищева и просто сказать:

— Старик. Отбой. Не спрашивай. Не хочу.

«Ну, а как же быть с чувством долга, офицер?! Если не ты, то кто? Может, ты первый, кто сделает эту власть другой?» — «Да в моих ли это силах?» — «Но ты же не такой!» — всё-таки кто-то настойчиво восклицает за моей спиной. — «Да, но пока», — отвечаю я ему, не оборачиваясь.

И я уходил, уходил от очередного телефонного аппарата, от последней возможности отказаться, и, шаг за шагом, рубил канаты...

Только лишь на центральном проспекте, механически загнав себя в подземный переход, я обретаю пространство. Здесь в извечной толчее и затхлых запахах сквозняков, где людские массы низводят до мелкого уровня бытовых проблем любые страсти, я ощутил вдруг острую, доводящую до абсурда безысходность замысла. Кто знает, может, эта мирская, милая сердцу, толкотня у бедных прилавков уже через год станет прошлым. И «членовозка» с холёными холуями, и маскарадные толпы заискивающих чинуш, и сладкая россыпь словоблудий — станет твоим привычным образом жизни. Тебя вот так просто отжуют от этого самого народа: россыпью мелких интриг, стерильным подбострастием, лукавством роскоши, подлостью... Радуйся, военный, пока ты здесь. Пока ты у этих ребят — свой.

Тут я заметил на одном из киосков большой аляповатый плакат: «Хочешь быть счастливым»... Фраза-огрызок из Козьмы Пруtkова, впрочем, ни к чему не обязывала. Но любопытных загоняла. Здесь продавали сувениры. А точнее, странные поделки: изуродованные морские твари, какие-то полумедузы, получерепахи, полукрабы и масса других полурептилий из самых глубин

водных стихий. Они с какой-то жадностью обращали на себя внимание. И какая-то сила тянула к этим омерзительно-сросшимся с красивыми лилиями уродцам, к морским конькам чудовищно соседствовавшим с глазастыми эмбрионами. — Всё это не отталкивало, а наоборот, манило какой-то своей абсурдной красотой и даже отчаянием. Только гениальная, но, как бы травмированная, психика человека могла наплодить этих чудо-уродов, которые вот так оригинально, отталкивая, всё-таки манили.

— А это что? — на всякий случай спросил я у мужиковатой продавщицы.

— Как — что? — Уроды. Но, зато, какие красивые, а?! Вот хотя бы этот клочок медузы? — вдруг жирно рассмеялась она.

«По-моему, дама неадекватна, как и товар», — подумал я, шагая от ларька.

— Да это, молодой человек, завлекуха, — вдруг весело воскликнула она мне в спину. — Посмотрите наверх. Сколько великолепных сувениров и игрушек. А манят вот эти. Здорово придумано, а?

— И что, берут этих уродцев? — удивился я, возвращаясь.

— А то! На какой-нибудь прикол. Не все же такие впечатлительные, как вы. Вот вы же не всегда покупаете целого поросёнка. А только часть. И не философствуете. А эти штуки талантливо сделаны.

Тут я опять увидел перед собой плакат «Хочешь быть счастливым» и рассмеялся. Я понял замысел: половинка всегда ближе, чем целое.

— А кто автор этих уродцев? — спросил я, начинавшую уже уставать от меня, продавщицу.

— Да вон же он, стоит у колонны, молодой человек. Ну, так будете всё-таки брать медузу? Я взвешу, — рассмеялась дама. Но тут, слава Богу, её отвлек очередной любопытный, мечтающий, наверное, быть счастливым, и ко мне подошёл автор. Его взгляд — будто ожог. Бывают же такие острые пронзительные, как бы скальпирующие, глаза. Мне от его взгляда стало жутковато. По-моему, я уже видел где-то эти глаза, это лицо... Он, очевидно, хотел обратиться ко мне, но я пошёл.

— Эй, парень, откуда я тебя знаю? — догнал меня его вопрос.

— Не помню, — ответил я.

— Ты в Афгане был?

— Ну был, — обернулся я, продолжая уходить.

— Да постой ты, — нагнал он всё-таки меня. — Хочешь стих на любую тему?.. На опохмел дай заработать.

Я достал деньги.

— Бери, но, ради Бога, — без стихов.

— Нет, так не пойдёт. У меня, кроме заразы делать уродцев, есть ещё одна, я пишу стихи. Хочешь, я тебе просто так прочту. Мы ж с тобой в Афгане были. Я тебя помню. Я в Баграме служил.

— Ну, давай стих.

«Не хватало мне ещё воспоминаний», — подумал я.

— Вот это другое дело. Тебе улыбка — мне похмел. — Тут он так щедро заулыбался, что лицо его рассыпалось на мелкие морщинки. Только, вот,

глаза так и оставались холодными и каким-то погребальными. — Ну что, сосредоточился, тогда давай любую фразу.

Я задумался. И машинально скосил взгляд на плакат.

— Ну, хотя б: «Я как-то был счастливым».

Парень показал мне большой палец: «Ну, это просто!»

*— Я как-то был счастливым,
Момент я помню сей.
Занудно и хвастливо
Порхал, как воробей.
Обмазанный весь счастьем,
Твердил себе одно:
«Я зверь особой масти,
А все вокруг — говно».
Но вдруг, днём некрасивым,
Подумал: «Ведь — помру», —
И понял, — быть счастливым
В России не к добру.*

От такого стихотворения я как-то потупился. Сказать было нечего. Я полез в карман за деньгами, но парень остановил меня.

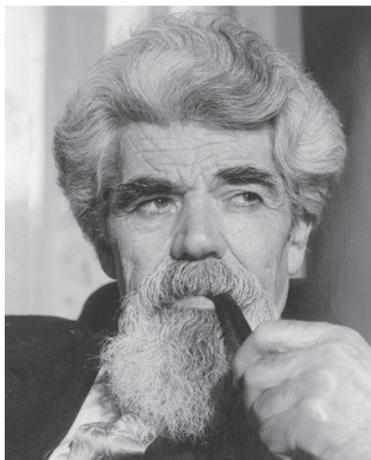
— Не парься. Не надо. Это я — так, на благотворительных началах. Я тебя помню.

Сказал и шагнул от меня. Просто юркнул в проходящие массы и исчез...



Праздник «Шолоховская весна» в станице Вёшенской

Виктор Чеботников



В ЗОНЕ ЮНОСТИ МОЕЙ

ДОМОЙ

Не кукуй в бору, кукушка, –
Не досуг вести мне счёт:
Мама ждёт меня, старушка...
Непутёвого, а – ждёт.

...Сдал пилу,
Топор,
Бахилы, –
Расписался за износ
И...
Вперёд,
Что было силы,
Будто ветер сам понёс!..
Я бежал,
Держась обочин
У заезженных дорог.
Я бежал три дня,
Три ночи, –
Звал родительский порог.
За спиною –
Север Дальний
В зоне юности моей,

Виктор Чеботников, член Союза писателей России (1996), поэт, прозаик. С 2011 года — член правления Ростовского регионального отделения СП России. Неоднократный победитель различных литературных конкурсов. Автор книг «Спираль», «Судьба» (стихи), «Две судьбы», «Встреча с дедом Шукарём», «Да, это — Вермуда», «Судьба» (повести).

Живёт и работает в г. Новочеркаске Ростовской области.

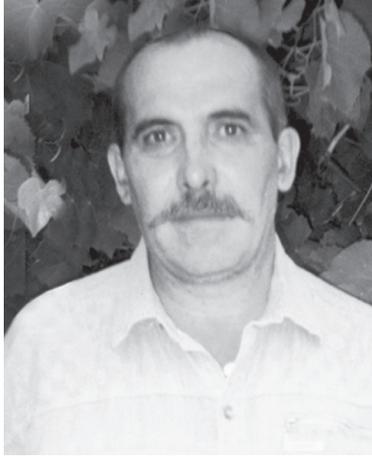
Вперед –
Летит прощальный
Клин притихших журавлей...

Что дали мне мои скитанья?..
О! Много дали мне они. –
Стеснялись встреч со мной одни,
Другие жаждали свиданья.
Костёр, бывало, запалю
На непроторенной дороге,
И выйдут звери из берлоги,
И я теплом их одарю. –
Всем хватит места у костра.
К теплу и зверь, и люд стремится.
И только пуганая птица
К костру приблизиться боится:
Не из-за крыльев, а – хвоста...

Я шёл к тебе издалека. –
Нёс на плечах свои пожитки.
Хотя и был я не из «прятких»,
Но всё же, шёл наверняка.
Я шёл к тебе издалека. –
Считал не дни, не километры,
Но слушал – как тоскуют ветры,
Забившись в кроны сосняка...
Я шёл к тебе издалека,
Глядел на сполохи зарницы, –
Теперь ночами свет тот снится,
Пролившийся мне свысока.
Я шёл к тебе издалека. –
Не помышляя об искусстве,
Не богател в заёмном чувстве:
Бурлила памяти река –
Несла меня издалека...

Я слушал рошу... тьму и ветер...
Как нежно стонет нежный луг!
А диск луны – то хмур, то светел;
То в полукруг, то в полный круг...
Всё было словно в сновиденье –
Когда б я вдруг не ощутил
Горячего прикосновенья
Твоей руки...

Александр Можяев



СЕРЫЙ ДОМ

Повесть

(Окончание. Начало в №2, 2013 г.)

ГЛАВА 10

— Святой Отец, — окликаю я. — Ты чего не спишь?

— Думы окаянные...

— О чём думаешь?

— О грехах своих...

— Какие в тебе грехи... — возражаю я. — Ни с кем не бранишься, никого не обидел...

— Природа наша такая — скверная. Как ночь, — Господу своему молитвы покаянные шепчешь. Не успеешь глаза открыть — снова грешишь... Не делом, так мыслями. Иной раз такое в голову влезет...

— Да кому твои мысли мешают?..

— Мне и мешают... Ладно, спи, — вздыхает Святой Отец. — Не поймёшь ты меня...

— Ты вот говоришь, — «не осуждай». А я осуждаю. Не могу не осуждать таких гадёнышей, как Стасик. Ты не осуждаешь?! — не унимаюсь я.

— Я грех осуждаю, а человека, в меру своих сил, стараюсь жалеть.

— Ага, пожалей Стасика...

— Знал бы ты, что ждёт его...

— Коню понятно — папенька отмажет, и будет дальше девок на площади драть.

— Вот за это и жалею его погибшую душу... Всех одинаково жалею: и Стасика, и потерявшего имя своё Валюшку, и тебя...

— Меня не надо жалеть. Я за справедливость сижу...

Александр Можяев, член Союза писателей России (1997), прозаик. С 2011 года заместитель (с 2013 года — первый заместитель) председателя правления Ростовского регионального отделения СП России. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Лауреат Шолоховского конкурса (2005) Автор книг: «Вот придет Ванечка», «На краю России», «Деркул — быстрая река». Живёт и работает в х. Можяевка Тарасовского района Ростовской области.

— За справедливость? — заинтересованно повернулся ко мне Святой Отец и, как мне показалось, впервые насмешливо улыбнулся.

— Я мразей покарал.

— Придёт время — с мразями Господь разберётся.

— Когда оно придёт?..

— Ну да, а тебе некогда дожидаться — тюкнул по головке, и сам стал таким же, теперь со своим обидчиком шконку делишь.

— Не то ты, батяня, мелешь, — злюсь я. — Тебя послушать, так Русь только тем и выжила, что прощала своих врагов. Добро должно быть с кулаками.

— С кулаками? — задумался мой собеседник. — Если добро, то, пожалуй, да. Святые отцы учили: «Прощай врагов своих, подымайся на врагов отечества своего и не щади врагов Божьих».

— Ну, можешь считать, что я Божьим врагам навесил.

— Это ты судье скажешь, — вновь улыбнулся Святой Отец.

С этапа пришло новое пополнение. Мест в хате нет, придётся новеньким вязать гамаки.

— За что? — спрашивает Грач малорослого парнишку.

— Ларёк бомбанул, — гордо отвечает тот.

— Ни фи-га себе! — восхищённо вскрикивает Сизый. — Так, братва, все припухли — бомбила прибыл!..

— А ты за что?

— За иконы...

— Святой Отец, тебе компашка — иконописца доставили.

— Не. Я не это... Не то...

— Чё «не это, не то»?

— Я это... Церкви обворовывал и барыгам иконы сплавлял, а те дальше толкали.

— Вон оно что... — морщится Сизый. — Ну, браток, ты попал. Христопродавец, значит? А христопродавцам тут полный каюк. Святой Отец, выноси приговор. Распать или вешать?

Готовый уже завопить, Христопродавец в ужасе мечет по камере сумасшедшим взглядом.

— Оставьте его, — кротко просит Святой Отец. — Наша кара — ничто против той, что его ожидает.

— Святой Отец! — окликаю я. — Выходит, Христопродавцу терять больше нечего: бей, громи, круши — всё равно от чертей со сковородкой не спрятаться.

— С чего ты придумал? — спрашивает удивлённо.

— Ну ты же сам говорил: «кара Божья...»

— Если не раскается...

— Что, так просто, скажет тебе: «раскаялся» — и готово?

— Если страх Божий в себе найдёт. Господь милостив...

— Опять ты со своим страхом...

— Божьим страхом... — поправил Святой Отец.

— Это как? — смеётся Бацилла.

— Тебе ещё далеко до этого, — успокаивает Святой Отец.

Второе развлечение после прописки — это чтение вслух обвинительных заключений; они всегда приходят накануне суда и, прежде чем попасть к адресату, проходят общественное обсуждение в хате. Обвинительное заключение, именуемое в народе коротким неблагозвучным словом, зачитывается вслух. Скучные юридические термины обычно опускаются, вместо них добавляются «ранее неизвестные анекдотические детали». Но смешны не столько они, сколько реакция ошалевшего от новшеств обвиняемого. Иные, не поняв подвоха, искренне возмущаясь, бежали к Адвокату, чтоб тут же катать жалобу.

Читать обвинительные заключения обычно поручалось мне. Едва чья-либо «обвинилровка» приходит в хату, Грач тут же передаёт её мне:

— Ну-ка, Казачок, зачитай с выражением...

Беру в руки чьё-нибудь дело, в поисках «перлов» молча пробегаю его глазами и затем «выбранные места» читаю в голос. «Я, такой-то, такой-то...» — обычно фамилии и имена здесь мало что значат, поэтому добавляю кликуху, которой в деле нет: «...среди братвы известный как Паша Угрюмый...», такого-то числа, такого-то года, в такое-то время «чинил на берегу реки лодку. Тут из кустов послышались возбуждённые голоса. По характерным словарным оборотам и выражениям я узнал голос брата. Я бросил работу и тут же пошёл на шум...» Тут, привлекая всеобщее внимание, я поднимаю руку вверх. И зачитываю самое главное: «То, что там намечается драка, я не знал, но на всякий случай взял топор».

— Всё верно, Угрюмый? — передавая бумаги, спрашиваю я.

— Верно... — угрюмо кивает Угрюмый.

Пришло обвинительное заключение Мандарина.

— Дайтэ, сам... — тянется он за бумагами, но их по второму ярусу шконок передают уже мне.

Перебирая листы, быстро пробегаю глазами «обвинилровку», смотрю на подошедшего Мандарина.

— Ну хватит, давай моё... — тянет ко мне волосатую лапу.

— На, — протягивая бумаги, говорю я.

Он делает шаг навстречу, и я, вскинув пятку, что есть силы бью в горбатый нос. Под пяткой хрустнуло, чавкнуло — обливаясь кровью, Мандарин покатился к выходу.

— Валера!.. — успеваю закричать я, но Мандарин уже у двери, молотит в кованое железо.

— Валера!..

Ещё толком ничего не поняв, Валера молотит чифирником дико визжащего Мандарина. По коридору гремят шаги вертухаев. Распахивается дверь — Мандарин вываливается в коридор. Всё, свалил.

— Что, маленькая?.. — спрашивает Грач.

— Одиннадцать лет...

— Ну кто так делает, Казачок?! — в сердцах кричит на меня Сизый. — Тихо, без лишнего кипиша перекрыть тормоза, отгеснить в уголок, а там...

Все негодуют, и, кажется, даже Святой Отец смотрит на меня с укоризной.

Грач молча садится за общак, начинает писать объяву.

— Объявляется всесоюзный розыск, — шутя комментирую я.

Но никто не смеётся — все ещё злы на мой косяк.

— Вах, какой мандарин скатил, не успели попробовать... — скидывает руки Бацилла. — А всё из-за тебя, Казачок... Сам не гам и другому не дам...

— Никуда не денется, — передавая на отправку маляву, сурово говорит Грач.
— Другие попробуют...

ГЛАВА 11

Утром нас с Валерой выдернули из хаты. «Раз с вещами и в паре с Валерой — значит, не к куму — на этап...» — радостно думаю я. В отстойнике полно народа, ищем глазами Витька.

— Витёк!.. Витёк!.. — озираясь по сторонам, кричит Валера.

Вот и Витёк, улыбается нам во весь рот. Обнявшись, становимся в круг.

— Что Санёчек наш невесел, что головушку повесил? — весело напевает Витёк.

— Хреново мне... — честно признаюсь я.

— Не ссы — прорвёмся! — смеётся Витёк.

— Влип я по самое некуда...

— Да знаю я уже твою лабаду.

— Витёк, я человека убил...

— Не заморачивайся. Пусть докажут... — улыбается тот своей простецкой улыбкой.

— Что там доказывать... Я практически уж признался...

Витёк отстраняется и с недоумением долго смотрит в моё лицо.

— Ты дурак, Санёк? — наконец говорит он.

Молча киваю.

— Нет, ну ты, в натуре, двинутый!.. И чё ты там подписал?..

— Ничего не подписывал...

— Значит, пустые понты, — ширя локтём мне в бок, снова смеётся Витёк.

— Кум давно накатал рапорт, в котором твой Лысый вниз калганом со шконки хряпнулся.

— Зачем?..

— На фиг ему лишний геморрой. Не будет же он писать, за каким хреном подсеял тебя в эту хату.

— Это понятно... Но как же теперь мне?..

— Чего тебе? — не понял Витёк.

— Я человека убил...

— Нет, Санёк, ты конкретно двинулся. Я что-то не врубаюсь, кто башкой о шконарь саданулся: ты или Лысый?..

Вот по отстойнику с небольшой свитой вальяжно прошёл Погон. Обнялся с Витьком и даже благосклонно кивнул нам с Валерой.

— Петухи! — зычным голосом рявкнул он. — Сбор возле параши. Веники в руки...

С разных концов, угрюмо склонив головы, в назначенное место потянулись опущенные. Вдруг в толпе мелькнуло знакомое лицо, я вздрогнул, подпрыгнул на месте.

— Витёк, Валера... Витёк!.. — Витёк, это он! Он!.. — пробиваясь сквозь людскую толпу, вопил я.

У параши, понуро пряча глаза, стояли опущенные.

— Лысый гребень, ты жив?!

— Жив... — виновато потупившись, отвечал Лысый.

— Витёк, это Лысый!.. Тот самый, кого я убил!..

— Ты гляди ещё расцелуй его на радости, — со смехом оттаскивает меня Витёк.

Я безумно счастлив и действительно готов обнимать и целовать всех подряд. Это больше, чем свобода. Мне уже ничего не страшно. Тех я не убивал, этого не убил — радости моей нет предела.

— Витёк, прикидываешь — живой... — безумно шепчу я.

С этапа нас сразу повезли в следственный отдел. Там произошли какие-то изменения. Нам поменяли следователя, и новый вдруг стал перекраивать дело. На допросе он потребовал от меня и Валеры отказаться от прежних правдивых показаний и всю вину за происшедшее перевалить на Витьку. Нас это возмутило, Витька — развеселило.

— Меня — паровозом? Да и ладно, — соглашался он, но мы с Валерой остались на прежнем.

После ноябрьских праздников КПЗ была переполнена «суточниками». «Ништяк — в одну хату поселят», — шепнул нам Витёк.

У нас с ним в один день дни рождения, и Король обещал организовать «подогрев».

— Отметим по высшему разряду, — сказал Витёк.

Так и есть, селят в оду камеру. Конец ноября, в камере жуткий холод. Я коченю в своём летнем пиджачке.

— Не бойтесь, что батареи размёрзнутся? — обернувшись, спрашивает Витёк.

— Не боимся, — гремя ключами, отвечает за дверью дежурный милиционер. — Своими жопами отогреете...

— Гляди, чтоб твоя жопа не вспрела!.. — кричит ему вслед Витёк.

Он знает тут всех. Знает, с кем можно не церемониться, а с кем, для своего ж блага, — перемолчать.

— У них тут два котла, — поясняет он нам. — Один кочегарят для себя, другой, что для нас, и не затапливают...

В полумраке, на широкой, напоминающей возвышающийся помост наре, которую Витёк метко называет «эстрадой», зябко укутавшись в лёгкий плащ, уже дремлет первый обитатель. Под самым потолком горит вполнекала лампочка-двадцатипятиваттка.

— Кто будешь? — на правах хозяина окликает Витёк.

Заспанный парень нехотя потягивается на своём уж пригретом месте; наконец, спустив с «эстрады» ноги, садится, зевает, прогоняя сон, трясёт кудлатой башкой.

— Санёк?! — протерев глаза, вскрикивает он. — Санёчек, ты?!

Вскакивает, своими саженными ручищами стискивает меня в объятьях.

— Воха?! — наконец узнаю обитателя.

— Санёчек, вот кого ни в каком сне не представлял встретить здесь, так это тебя.

— Ну... От сумы да тюрьмы...

— То так, но не ждал!..

— Воха — мой боевой соперник, — представляю Витьку и Валере. — Я за Матрёновскую школу, он — за станичную. На какое соревнование ни едешь — он уже там...

— В каком виде? — интересуется Валера, который от спорта всегда был далёк.

— В каком скажут, в таком и выступали, — смеётся Воха. — Только в художественной гимнастике и синхронном плавании не участвовали, а так всё прошли.

Звякнули ключи, открылась кормушка.

— Передачку возьмите, — просунув пакет, холодно проговорил дежурный.

— От Короля, — принимая пакет, подмигнул Витёк.

У него хорошо поставлена связь с волей. Только приезжаем на следствие, «суточники» тут же передают ему письма.

— Ништяк! — прочтя очередную маляву, вскрикивает он. — Всё вытанцовывает в нашу пользу. Терпилы наши влетели по самые уши. Гастролировали по Украине и в Луганске подрезали двух мужиков. Причём один из них на больничке откинулся! Прикидываете?! — делится хорошими новостями Витёк.

У всех тут же повышается настроение, и сам я ловлю себя на подленькой мысли, что радуюсь вместе со всеми, что Хряк с Килей порезали двух неповинных мужиков, и особенно тому, что один из них умер в больничке.

— Король провёл там профилактические беседы, и свидетелей против нас не будет — все в отказе, — продолжает Витёк.

— А завклубша? — недоверчиво спрашивает Валера.

— Завклубша тоже в отказе.

— Люська взяла на меня характеристику в колхозе? — интересуется Валера.

— Взяла, — кивает Витёк.

— Ну и?..

— Сойдёт. Терпимая... Да, Санёк, по тебе особая новость на этот счёт. Там в твоём бурситете всполошились, хорошие бумаги на тебя двинули. Мол, лучший спортсмен. Требуют отдать тебя на поруки. Сказали, привезут на суд все твои спортивные «ордена». Так что, — усмешается Витёк, — будешь сидеть на суде в медальях, как породистый кобель на выставке.

Отчего-то это меня коробит. Особая забота обо мне как бы отдаляет меня от Витька и Валеры.

— Да на фиг мне всё это... — нарочито пренебрежительно бормочу я.

— Чё! — вдруг вскидывается Витёк. — Ты, это, не блажи!.. Нам во как... — полосует себя по горлу ладонью. — Во как нужно, чтоб ты при медальях был! И КМС свой на лацкан прифигачишь... Мне в Совете знаешь какую бумажку дали?.. Кум прочтёт — на уши встанет. С такой на кичу брать страшно!.. Они нас отморозками хотят выставить, а у нас ты...

Ни стола, ни лавок в камере не было, содержимое пакета стали раскладывать прямо на «эстраде», предварительно застелив её газетой. Помост был и столом, и стулом, и спальным местом. Курево, хлеб, сало, сахар и чай.

— О-о, Санёк! Да тут Король тебе куртягу подкинул! — торжественно объявляет Витёк.

— Лучше б он мне штаны передал...

— У-у... Бляха-муха... — хватается за голову Витёк. — Забыл... Это я забыл ему... — Ну ладно, Санёчек, потерпи до следующего раза...

— Ну и за что тебя сюда залыгали, спортсмен? — деля на четверых сало и хлеб, весело спрашивает Воху Витёк.

— Будете смеяться, — сам себе ухмыляется Воха. — Ни за что.

— Так, а кто тут «за что» — мы тоже ни за что. Так, шухарнули малость...

— Да я в натуре ни за что!.. — горячится Воха. — У нас тут один хмырь откинулся — Митя Обезьян, из приклатнённых. Может, слышал?

— Обезьян? — морщится Витёк. — На груди обезьяна с гитарой набита? Сигара в зубах?

— Точняк — он.

— Да так, краем уха, чуть... Четыре ходки, но фрукт, причём вшивый... Подставил, что ль?

— Подставил... — кивает Воха.

— Его манера. Его уж предупреждали разок. Добром не кончит.

— Я по делам мотался в район, — продолжил свой рассказ Воха. — Ну, всё порешал — только телевизор не купил. Мамка деньги дала, чтоб «Берёзку» купить, а «Берёзок» не было. Сижу на лавочке, вечернего автобуса жду. Вот он подваливает: «О-о, землячок!» Ну, привет — привет. Я, говорит, откинулся только, давай отпразднуем. Ставит бутылёк «Солнцедара». Ну, из уважения... выпили. Достает второй «огнетушитель». До автобуса ещё час — чё делать — пьём вторую. Вдруг он как зыркнет на дорогу — менты. Присел и в стороночку отползает. «Гляди, меня ты не видел и не слышал...» — шепчет. Ну, не видел так и не видел, мало ли какие у него с ментами дела. Через минуту подходят трое — патруль. «Пьёшь?» — «Пью». — «С кем?» — «Сам». — «А где вино брал?» — «Да вон, в магазине...» Старший бутылочку поднял — кивает другим. А на бутылке штампик какого-то буфета. «Так, говоришь, в магазине?» — «В магазине», — стою на своём. — «Ну, тогда поехали с нами». — «Никуда я не поеду, у меня автобус скоро». Те давай мне руки ломать, а я сдуру не уступаю. Вызывают подмогу. Вот он подлетел «бобик» — ещё трое выскакивают. В общем, закоцали, повезли. Снова допрос. Стою на своём, от своей брехни не отступаюсь. Обшмонали — деньги нашли, те, что мамка на «Берёзку» дала. Посчитали. Оказывается, станционный буфет обокрали — выручку выгребли и два «Солнцедара». Держат день, два, опять на допрос. Вхожу, а в кабинете напротив следователя Обезьян сидит, какую-то бумагу подписывает. Ну, думаю, наконец-то совесть заговорила — с повинной явился. «Ты знаешь этого человека?» — кивает на Обезьяна следак. — «Нет, не знаю». — «А ты?» — кивает уже на меня. — «Знаю, — говорит Обезьян. — Это Воха со станицы». — «Когда ты последний раз видел его?» Называет число и время. «При каких обстоятельствах?» — «Иду по перрону, а он вылезит с ларька...»

— Во козлина! — воскликнул Витёк. — За такие вещи можно и на парашу отправить.

— В общем, я уже неделю кукую здесь. Завтра на тюрьму отправляют.

— Не горюй, — успокаивает Витёк. — Обезьян больше недели не гулеванил — повстречаетесь.

Наконец для праздничного ужина был накрыт «стол». Витёк в плотную трубку скрутил газету, вскипятил факелом воду. Для него готовка чифира — священнодействие. От того, что всё делает молча, движения кажутся ритуальными. Вот рука описывает дугу, раз, два — наполненные чаем спичечные коробки театрально ссыпаются в кружку, добавил ещё щепотку. Всё. Теперь, словно магическим покрывалом, взмахивает курткой, кутает заварку.

— Тихо всем, — командует шёпотом. — ОН не любит лишних базаров.

С минуту стоит торжественная тишина. Наконец, не вытерпев, Валера тянет руку за салом.

- Клешню на место! — гневно выдыхает Витёк.
- Жрать охота, — обижается Валера.
- Всему свой порядок — чифир пьют на пустое брюхо.
- Какая, на хрен, разница! — забыв о дурацком табу, уже в полный голос отвечает Валера.
- На полное брюхо пьют одни петухи, — парирует Витёк.
- Ты ж знаешь, у меня язва... — оправдывается Валера.
- Как водку жрать — язва не давит, — насмешливо парирует Витёк.
- Я без закуси не пью...
- Чифир можно, — уже смеётся Витёк.
- Витёк осторожно приоткрывает куртку.
- Готово! — торжественно провозглашает он. — Так, Санёк, за твои...
- Девятнадцать, — подсказываю я.
- У-у-у, так ты ещё мальчик-колокольчик... А как же Валера, — ему...
- Ну, я ж три года не сидел в третьем классе.
- Выпили за меня, выпили за Витька, вновь вскипятили воду, заварили ещё. Торжественным ритуалом идёт по кругу чифир.
- Яд! — высший балл провозглашает Витёк.
- Вслед за ним глотает чифир Валера. Раз, два, три...
- Валера! — строго останавливает Витёк. — Ты не жеребец, чтоб присасываться. Запомни: два глотка. По три пьют одни петухи.
- Чуть ни поперхнувшись, Валера протягивает посудину мне. Пьём не спеша по кругу. Терпко-горький вкус заставляет передёргивать плечами. Лёгкая дрожь пробегает по телу; мышцы наполняются энергией, хочется двигаться. Первое время сознание ясное. Настроение на вершине — всех охватывает эйфория. Но скоро чифир заканчивается, и уже через час сидим подавленные, разбитые, усталые...
- Ни в башке, ни в жопе, — честно признаётся Валера.
- Чё, не взяло?! — негодуя, восклицает Витёк.
- Сердце молотит, а так...
- А ты чего ждал? — добрея, смеётся Витёк. — Тут ещё маленько осталось. На полный чифир не хватит, но покунцевать можно. Подорвём?
- Подорвём, — дружно соглашаемся мы.
- По новой суетимся, кипятим воду. Меж делом ведём неспешные разговоры. Вспомнили кем-то убитых быков, тут же заговорили о Монахе.
- Жалко Монаха, — говорю я.
- Не жалей, — отвечает Витёк. — Его уже нет, умер. Даже хуже...
- Слышь, Витёк, я что-то вообще не врубаюсь. Меня что, кум в «обиженку» кидал? — спрашиваю я.
- А ты думал куда?
- Так, а... на хрена?..
- Так это ж ещё проще, чем в пресс-хату, — объясняет он. —хлопот меньше...
- Не врубаюсь...
- Ну, ты ж пряник?
- Ну и?..
- Врубаешься туго. Сел бы с этой братвой за один стол, чаёчку пошвыркал... Потом кум выдернул бы тебя назад и объяснил бы прянику, что ты с петухами с

одной тарелки клевал. Не успеешь, мол, в хату вернуться, там уже будут знать, что ты прокажённый. Как тебе перспективка? Тут любой на сделку пойдёт.

— А зачем было тех козлов на меня вешать?

— Не заморачивайся — это всё понты, чтоб тебя для себя закуканишь...

Натошак допиваем остатки чифира. Где-то далеко в репродукторе играют гимн. Вот уж и полночь, а ожидаемое веселье так и не наступило.

— Ладно, шас жжёнку заделаем... — приободряя всех, обещает Витёк.

— Это чё? — спрашивает Валера.

— Узнаешь...

Чтоб пережечь сахар до дегтярного цвета, газет не хватило, пришлось Витьку отдираать от куртки часть подкладки. Камера наполнилась едким смрадом, но жжёнка, по уверению Витька, получилась отменная.

— Теперь ещё бы не угореть в этой вони, — ворчал недовольный Валера.

Он давно уж волком глядит на сало.

По кругу допили жжёнку. Праздник шёл к завершению. В коридоре слышались торопливые шаги дежурных. Видимо, гарь дошла и до них.

— Ты там через Короля передай как-нибудь, чтоб Надюха на суд не приезжала, — просит Витька Валера.

— Чё, не соскучил? — улыбается Витёк.

— Да... У меня и так башка не фурычит, а тут ещё она в зале сядет...

— Передам, — успокаивает Витёк.

— Вы чё тут?! — открыв кормушку, заорал лейтенант. — О-ё-ё... КПЗ на ух спалите...

— А ты думал, как нам греться? — смеётся Витёк

Через пару минут загремели засовы, открылась дверь.

— Так, расселять эту бражку надо. Двое на выход. Ты и ты, — ткнул пальцем в Витька и Воху. — Тут у нас клетка без удобств — перекантуется.

Остаёмся с Валерой.

— Знаю я ту клетку — там вообще дубарь, ни нар, ни скамейки... — отчего-то виновато вздыхает он. Ему всегда неловко, если он в лучшем от Витька положении.

— Ладно тебе, — успокаиваю я, — зато у нас сало осталось.

— Ешь, я не хочу... — отчего-то обидевшись, отвечает Валера. Укладывается спать у холодной багарей.

На Валеру чифир подействовал своеобразно: как свернулся калачиком, так сразу же и уснул. Ко мне ж сон не шёл. За крохотным окошком разыгралась вьюга. Я смотрел, как над фонарём выются снежинки, и зачем-то думал о Вохе. «Нет, Святой Отец, загреметь сюда можно не только за смертные грехи...» — мысленно спорил я.

В дежурке слышались возбуждённые голоса: кого-то ещё привезли. Вот по коридору шаги. Ближе, ближе... Загремели засовы, открылась дверь, толкнули новенького. Худощавый мужичок, лет сорока. По правилам, на правах хозяина, мне б надо его опросить: «Кто? За что?» Но что мне до того, кто он и за что? Притворяюсь спящим. Новенький долго шуршит своим вещмешком, то что-то достаёт из него, то кладёт обратно, при этом без умолку матерится, грозит кому-то невидимому.

— Послушай, умолкни — люди спят, — раздражаясь, говорю я.

Новенький никак не среагировал, по-прежнему возится со своим мешком и продолжает ворчать.

— У тебя что, обострение шизы? — вновь окликаю я.

— Что ты хочешь? — явно идя на обострение, отзывается тот.

— Хочу, чтоб умолк, — не уступаю я.

— Я сейчас песни петь буду, а ты слушать. Понятно? Ты гляди, козырный нарисовался, — вновь идя на конфликт, задирается новый.

— Пой, можешь ещё о стену головой погреть, — говорю я и отворачиваюсь к стене.

Мне не хочется уступать, но и обострять до тупой бессмысленной драки тоже не хочу. Пытаюсь уснуть, но теперь не даёт покоя этот новый наглец. «Что ты хочешь? Что, козырный? Сейчас песни петь буду...» — «Гляди, сейчас запоёшь белугой...» — Уже жалея, что не набил ему морду, мысленно скандалю я. Жду, когда он вновь зашуршит, начнёт бормотать. «Я ему покажу “что ты хочешь?”» — распаяю себя. Но новенький, забыв обо мне, спит.

Утром «суточки» принесли какую-то полупрокишную похлёбку (в КПЗ арестантов кормят объедками из соседней столовой). Я отказываюсь, Валера колеблется.

— Может, горяченького почамкаем?.. — предлагает он.

— У тебя язва — «чамкай». Я не хочу...

— Тогда и я не буду... — вздыхает Валера.

— Эй вы, хунта — чё телитесь? Буду — не буду... Кто из вас Казачок? Хлебушек возьми, — выразительным взглядом смотрит из кормушки «суточник».

Вместе с хлебом даёт свёрнутый клочок бумаги.

— Малява... Наверное, от Витька, — шепчу я Валере.

«Сань, — пишет Витёк. — сёдни ночью повязали Митю Обезьяна, должно быть, кинули к вам. За ним подлянок числится — море. Аккуратно проверти паспорт. На груди набита обезьяна с сигарой в зубах. Если так — зачитайте предьяву и без лишних базаров — по ушам и опускайте».

— Ну? — киваю Валере.

— Я его драть не буду... — категорически заявляет тот.

— Да и не надо — похлопаешь «сигарой» по губам — и дело с концом. Разговаривать буду я, стой в стороне.

Новенький, должно быть, просёк, что речь о нём, уселся на «эстраде».

— Ты Обезьян Митя? — спрашиваю я.

— Что ты хочешь? — глядя исподлобья, отвечает тот хриплым голосом.

Оттягиваю пальцем свитер — так и есть: обезьяна.

— Что хочешь? — отбив мою руку, поднимается Обезьян.

Сейчас он очень близок ко мне, бить его неудобно. Надо сделать пару шагов назад, но, сглупив, я не отступаю.

— Привет тебе от Вохи, — говорю я.

— Да насрать мне на лохов!

— Воха — мой давний друг. Значит, и на меня?..

— Что ты хочешь?.. — Обезьян прижимается ко мне ещё ближе.

Пробую оттолкнуть его, но он упирается в «эстраду».

— Да, я Митя Обезьян. Что ты хочешь?

— Хочу, чтоб маргышкой стал...

— Ну, тогда получай!..

Обезьян тряхнул рукавом, и в ту же секунду в его руке я увидел нож. Каким-то чудом я успеваю уйти в сторону. Лезвие пропороло Королёву куртку и оскользью прошло по рёбрам. Ещё один взмах. Но этот я уже жду. Без труда ногой попадаю в пах, бью с левой в челюсть. Третий, уже конвульсивный, мах перехватываю. Вывернув руку, укладываю Обезьяна на «эстраду».

— Валера! — кричу я.

— Мартышка, курить хочешь? — расстёгивает ширинку Валера.

— А-а-а! Волчары!.. — вырываясь, дико завопил Обезьян. — Вам жить до первого этапа. А-а-а!.. — захлёбывается он. — Законтачили волки!..

Только тут замечаю: Валера мочится ему в лицо.

Гремят засовы, распахируется дверь, вбегает милицейский наряд.

— Что происходит?!

— Шмонать нужно лучше, — кивает на окровавленный нож Валера. — Во — Санька пописал козлина.

Уже не сопротивляющегося Обезьяна забрали. Через минуту пришли Подоляка и Сикин.

— Ну, что тут за кипиш? — на тюремном жаргоне заговорил Сикин. — Хотите по новой статье раскрутиться?

Мы промолчали.

— Кишки целые? — спросил Подоляка.

— Целые.

— Шить надо?

— Не надо.

— Дай гляну, а то сдохнешь перед судом — на хрен нам геморрой...

— Не сдохну. По касательной чуть... Успел увернуться...

Только стихли милицейские шаги, из дальней камеры — голос Витька:

— Санёк, Валера, всё нормалёк?

— Нормалёк, — отвечает Валера.

— Есть контакт?

— Есть...

— Ну, ништяк. Молодца!..

Вечером, в потёмках, нас вывезли на станцию. Всё то же сопровождение: Сикин, старшина Дрёмов и молоденький сержантик, имя которого мы так и не успели узнать.

— Воркутинский? — кивает Витьку Валера.

— Похоже... — соглашается тот. — В зиму архангельский не ходит, их цепляют к мурманскому, а это утром...

— Слышь, старшой, кинь по паре сигарет...

Сикин закурил и пренебрежительно отвернулся. Дрёмов небрежно встряхнул пачку и выдал всем по две «примы».

— Благодарю... — кивает Витёк.

— Травись на здоровье, — усмеяется Дрёмов.

— А ты, Сыкин, как был Сыкин, так Сыкиным и остался... — пряча сигареты, смеётся Витёк.

Сикин не обернулся. Сосредоточенно смотрит вдаль, туда, откуда должен прибывать воркутинский.

Я участия в разговорах не принимаю. На душе тоскливо и муторно, словно вновь человека убил.

— Ты чё, Санёчек? — скалится Витёк.

— Не по-людски как-то получилось — по-бычьи, — говорю я. — Надо было побеседовать с ним сначала, предьяву выставить...

— Что ж ты не беседовал? — ехидничает Валера.

— Ну да, он мне пером в бочину ширяет — а я ему предьяву зачитывай...

Одна лишь отрада — Воху отпустили сегодня днём. Обезьян сам попросился на допрос и по Вохиному делу дал «чистосердечку».

— Думаешь, совесть у него заговорила? — усмехается Витёк. — Лишнего свидетеля скинул.

— Какого свидетеля? — после бессонной ночи туго соображаю я.

— Свидетеля его падения в петухи. Заодно и причину предьявы убрал. Этот в сознанку не пойдёт — будет до последка упираться рогами. Но ничего, ничего... — улыбается Витёк. — Допрыгался козлик... Как только въедете в хату — сразу объявляйте его пидором. Остальное за мной...

— Ты объявишь? — прошептал Валера, когда мы вернулись в свою хату.

— Что я должен объявлять? — раздражённо ответил я. — Что мы побыковали с тобой?

— Ну... это... Он же... — растерянно промычал Валера.

— А что мы про него знаем? Что мы знаем про Монаха, про тех мочёных быков?... Может, мы сами с тобой быки?..

— Что он тебе?.. Чуть не приколол, а ты...

— Держался хорошо. Не струсил. В глаза смотрел...

Растерявшись, Валера молчал.

— Что, собственно, произошло? Настучали чуваку по ушам, обоссали, теперь пусть умрёт? Хочешь — сам объявляй, я его не опускал...

Скоро на нас пришло обвинительное заключение. На этот раз, развлекая хату, зачитывал его Бацилла. Особо выделял и изгалялся над нелепыми ответами Валеры. «В клубе был?» — «Не помню...» — «В драке участие принимал?» — «Не знаю...» — «Ты вообще в сознании был?» — «Не помню...»

— Валера, — говорю я, — не обращай на Бациллу внимания — пусть ржёт. Это хорошо, что у тебя такие ответы. Теперь слушай сюда: на суде идёшь в полный отказ.

— А как же ты, Витёк?.. — смотрит на меня недоумённо.

— То наши с Витьком дела, а тебя с нами не было. Ты вообще случайно оказался в том клубе. Понял?

Валера тупо смотрит на меня, молчит.

— Ну?!

— Я забуду... Там чё-то спросят, а я...

Сажусь за стол, пишу подробнейшую шпаргалку. Предполагаемый вопрос — ответ.

— Вот — учи, как «Отче наш», — приказываю Валере.

И тот, собрав листы воедино, уходит на свою шконку.

Вечером, перед отправкой на суд, Стасику пришла большая «дача».

— Гуляют все! — накрывая стол, торжественно объявил он.

По счёту на всех был порезан белый хлеб, копчёная колбаса, лосось. Сделаны бутерброды с маслом и чёрной икрой.

— Я такого даже на воле не жрал, — признался Бацилла.

— Все, кроме пидоров, — за стол! — объявляет Стасик.

— Казачок, я сказал — все, кроме пидоров; ты чего не подходишь?

— Я этим дерьмом на воле объелся — смотреть не могу, — слгатывая слюну, упрямо говорю я.

— Святой Отец, дрыхнешь? Царство небесное проспишь!

— Простите ради Христа — пост, — кротко отзывается тот.

— Какой пост? Чё ты гонишь?..

— Рождественский... Вы кушайте, на меня не смотрите.

— Санёк, чё ты?.. — подошёл Валера. — Пошли хавать.

— Не могу, Валер. Правда, живот скрутило, — морщась для вида, вру я.
— Ешь мою долю.

— Да ну, на фиг... — обижается тот.

— Васечке отдайте, пусть вмолотит.

— Ну, Стасик, папаня подсуетился — завтра на свободу... — галдят за столом.

Смачно чавкают десятки ртов. Сладким запахом лосося и колбасным духом наполняется хата. В который раз слгатываю слюну, с детской обидой смотрю в потолок.

«Жрут с ладони этой мрази и не кривятся...» — в сердцах думаю я и отчего-то особенно обижаюсь на Недоразумение, который ест вместе со всеми.

Утром Стасика позвали на выход. Он был возбуждён и весел.

— Пока, братва! — поднял он в приветствии руки.

— Давай... Папаньке привет! — подмигнул Грач.

— Бывай, Казачок!.. Я тебе пилюли пришлю...

Мне хотелось ответить какой-то дерзостью, но ничего остроумного в голову не пришло, и я промолчал.

«Вот и свалил чистеньким...» — думаю раздражённо.

А вечером из отстойника на хату пришла малява. Грач с довольной улыбкой прочёл её про себя, затем, призвав всех к вниманию, начал зачитывать вслух:

— «Привет, честная хата семь девять!» — Это Косматый прислал, — поясняет он. — «Что ж вы так долго таили от братвы свою красавицу Станиславну? Ах, какая девочка! Какая страстная — никому не отказала... Через час двигаем на этап. Думаю, с такой красоткой весело будет ехать!..»

— Казачок, куда ты глядел? — закончив с письмом, зачем-то подмигивает мне Грач.

— Вот вам и Стасик-пидорасик, — смеётся ещё вчера уплетавший Стасиковы бутерброды Сизый.

— Бог не фраер, он всё видит. Верно, Святой Отец? — подмигивает Бацилла. Святой Отец тяжело вздыхает, крестится, но молчит.

— А ты чего насупился, Казачок, — дружбана жалко?

— Вчера вы все его вонючие бутерброды жрали, а теперь ржёте, как кони... — не тая обиды, говорю я.

- Ничего не вонючие, — на лице Адвоката привычная ядовитая улыбочка.
— Очень даже приличные бутерброды. Зря не попробовал...
И снова хохочет хата; теперь, вероятно, надо мной.

Рано утром, едва мы с Валерой умылись, Грач кивком позвал нас к себе. Подошли.

- Чего звал? — спрашиваю я.
Раздумывая, Грач поскрёб щёку.
— Там в КПЗ ничего не случилось?.. — неожиданно спросил он.
— А чего должно было случиться? — почуяв недоброе, переспросил я.
Валера посмотрел на меня, промолчал.
— Иной раз и не должно, да случается... — уклончиво проговорил Грач.
— Со мной ничего не случилось... — уверенно говорю я.
— Ну, не случилось, и ладненько... — уже по-дружески улыбается Грач.
— Это я так... Мало ли...

— Чего он?.. — едва мы уединились, спрашивает Валера.

Я промолчал.

— Это из-за Обезьяна... Может, скажем?

Я вновь промолчал.

Вечером снова позвал Грач.

- Так что там случилось? — смотрит с едва заметной усмешкой.
— Где? — вновь за обоих отвечаю я.
— В Караганде, — шуруется Грач.
— Откуда мне знать, что там в Караганде...
— А в КПЗ?..
— А в КПЗ, как в Караганде...
— Понятненько. Всё тихо?
— Всё тихо.
— Ну и ладушки. Пацифист что-то добавит?
Валера промолчал.
— Слушай, чё он дободался до нас? — вновь наедине спрашивает Валера.
— Что-то, видно, просёк...
— Может, Обезьян настучал?..
— Ага, пожаловался: нехорошие ребятки, опустили меня в петухи.
— Может, Витьку маляву забросим?
— И что ты ему писанёшь?
Валера молча пожал плечами.

На следующий день, прочтя идущие «прогоном» малявы, нас вновь позвал Грач.

- Так, Валера, рассказываем всё как есть... — приняв решение, говорю я.
Валера согласно молчит.
— Тут у вас проблемка одна нарисовалась... — задумчиво говорит Грач.
— Да нет никаких проблем, — парирую я. — Человечка одного пожалели, не стали звонить, ну теперь вижу...
— Теперь проблемка... — грустно усмехается Грач. — Дружбана вашего Витька сегодня ночью человек один приколол...
— Как — Витька?.. — теряя голос, выдохнул я.

— Стёклышком в горло ширь, и все дела... Витёк предьяву ему на пидора объявил, а подтвердить не сумел... Так-то... Теперь он уже на свободе...

Огрузнув, Валера плюхнулся на лавку, чуть не свалился с неё, подскочил, снова сел.

— Вот так вот!.. — в назидание хате строго сказал Грач. — За слова отвечать надо...

Вдруг неожиданно, едва не опрокинув Грача, Валера сорвался со своего места, подлетел чуть не до середины окна и, вцепившись в решётку, в истерике заорал не своим голосом:

— Тюрьма, тюрьма, слушайте все!.. Обезьян из девять один — петух... Я его опускал... Рвите его на куски!..

Зазвенели ключи, гремит открываемая вертухаями дверь. Сдёргиваю Валеру с решётки, крепко прижимаю к себе.

— Валера, Валера, молчи... — тихо шепчу ему. — Все уже знают, все слышали... Молчи...

— Что тут у вас?.. — вошли надзиратели.

— Всё нормалёк, начальник, — объявляет Грач. — Уже тишина.

Крепко прижимаю Валеру к груди. Он плачет. Плач переходит в хрип, затем в вой.

Он выл на моей груди почти всю ночь, притих лишь под утро.

«Интересно, улыбался он перед смертью?..» — неожиданно лезет в голову шальная мысль. «Улыбался... Он всегда улыбается...»

Перед рассветом я успеваю на минуту уснуть. Мне приснилась незнакомая церковь. Святой Отец, всё ещё одетый по-тюремному, ходит по просторному пустому храму, мерно машет кадиллом и, украдкой поглядывая на свой иероглиф, шепчет неведомые мне молитвы. «Ты готов к исповеди?» — неожиданно повернувшись ко мне, спрашивает он. Я молчу и в растерянности пожимаю плечами.

Утром дежурный по коридору объявил наши фамилии.

— С вещами на выход...

Ни с кем не прощаясь, горбясь и спотыкаясь, Валера побрёл к отворённой двери. Я обнялся с Грачом, хлопнул по плечу Недоразумение, встретился глазами со Святым Отцом.

— Дай Бог больше не встретиться здесь... — крестя, прошептал он.

— Прощай, хата, — задержавшись у «тормозов», сказал я хриплым чужим голосом.

Все молча кивали в ответ, и лишь один Васечка улыбался и приветливо махал нам рукой.

ГЛАВА 12

Ни о чём не сговариваясь, бесцеремонно раздвигая незнакомых нам людей, мы метались по отстойнику. Знали: если он попадётся нам — убьём. И никто, никакой Косматый или Погон, не посмеют помешать нам. Кто за него подпишется — порвём на куски любого. Но Обезьяна в отстойнике не было, и мы никого не убили.

— Петухи! — злобно орал я. — Сбор у параши!..

И какие-то перепуганные люди послушно собирались в обозначенном месте.

— Веники в зубы... Ламбаду!.. Ламбаду... — задыхаясь, хрипел Валера. — Танцуют все...

Разбитые, опустошённые, мы присели на каменную тумбу, там, где обычно сидели с Витьком. Подошёл Погон.

— Что, Казачок, на суд?..

— На суд...

— И вот ведут меня на суд, и судьи мудьями трясут... В этом? — насмешливо кивнул на мои разлезшиеся после прожарок штаны.

Я не ответил.

Через полчаса он подошёл вновь, небрежно бросил мне на колени почти новые брюки.

— Возьми, хороший человек подогнал...

— Я не просил...

— Здесь не принято просить, — сказал он и, не дожидаясь благодарности, растворился в толпе отстойника.

Перед судом нас завели в отдельную комнату, там ждали наши адвокаты. Маленький седой старичок готовился защищать Валеру; мой адвокат — молодая красивая женщина.

— Меня зовут Татьяна Сергеевна, — представилась она. — В суде я буду защищать вас по делу...

Я рассеяно кивнул и тут же забыл её имя.

— Я из тюрьмы запросила досье на вас. Там есть интересный пунктик...

Я настороженно ждал продолжения.

— Когда вы поступили, у вас были зафиксированы травмы спины и руки...

— А-а, — поморщившись, махнул я рукой.

— На суде вам нужно поменять показания. Скажете, что при задержании вас били и прежние показания вы дали под угрозой физической расправы.

Я насмешливо хмыкнул.

— На предварительном следствии Виктор Рёвин сменил показания и всё взял на себя... — продолжила адвокат.

— Я знаю...

— Значит, так, слушайте меня внимательно: вы с Валерием в клуб попали случайно...

— Нет, — прервал я своего адвоката. — Случайно в клубе оказался один Валера. Мы с Витьком ехали на конкретные разборки.

— Э-э, чегой-то я случайно?.. — неожиданно скинул голову Валера. — Я не случайно...

— Мы как с тобой договаривались?! — строго прикрикнул на него я.

Валера обиженно отвернулся.

— В моём предложении ничего предосудительного нет, — осторожно заговорила моя адвокат. — Во всём этом мире, куда угодили вы, давно принято взваливать всю вину на убитого...

— Я не от этого мира... — упрямо говорю я.

— Ну и ради чего это ваше гусарство? — в сердцах вздохнула она.

— Ради Витька.

— Витьку уже всё равно.

— Мне не всё равно...

Адвокат шумно вздохнула; мне даже показалось, что она явственно выдохнула: «Дурак».

— Хорошо, — сказала она. — Постарайтесь хотя бы не противоречить мне на суде.

Во время суда Валера большей частью молчал. Ему задавали вопросы. Он поднимался, краснел от напряжения, мял в руках заготовленные шпаргалки и молчал.

— Алимов, вы отказываетесь отвечать на вопросы? — раздражённо спросила судья.

Валера беспомощно вздохнул, с хрустом сжал шпаргалки и с грустью взглянул на меня. Я попросил слова и стал говорить оправдывающую Валеру речь.

— А он что, недееспособный? — прервав меня, ядовито спросила судья.

— Он в большом смятении, — сказал я. — Потому что ни в чём не виноват и вдруг оказался здесь... Знаете, он по натуре пацифист. Ему даже кличку на тюрьме дали — Пацифист...

Судья усмехнулась и перевела взгляд на Валеру.

— Вы считаете себя невиновным? — спросила она.

Валера встал, вновь молча помял шпаргалки; пытаясь что-то произнести, громко прокряхтел и неопределённо пожал плечами.

— Понятно... — не тая усмешки, сказала судья.

— Значит, дрались только вы и Рёвин? — спросила меня.

— Только мы... — подтвердил я.

— Вдвоём против четырёх?

— Вдвоём... — подтвердил я.

— Тогда какая роль отводилась Алимову? — взглянув на Валеру, спросила она.

— Да... просто за компанию взяли.

— Просто за компанию... — повторила она. — Чтоб веселей было? — снова взглянула на Валеру.

— Чтоб веселей... — глупо подтверждает неожиданно заговоривший Валера.

«Уж лучше б продолжал молчать...» — злясь на него, думаю я.

— Значит, повеселились... — для себя заключила судья.

Валера глупо кивнул.

— И для общего веселья вы решили заставить Хрякина и Чухина танцевать на бильярдном столе?

На этот раз Валера догадался промолчать.

— Скажите, Алимов, а кому принадлежит идея заставить танцевать Хрякина и Чухина? — спросила судья.

— Так это... — растерянно закряхтел Валера. — Они, это, сами...

— Значит, сами сказали: «Давайте-ка мы вам станцуем»?

— Ну да... — кивает Валера. — Так и сказали: «Сейчас сбациаем...»

— И разделись сами?

— Ну да, разделись...

— Зачем?

— Ну... стиль такой... ламбада... — пожимая плечами, ответил Валера.

«Лучше б уж молчал...» — злясь на Валеру, думаю я.

Кто-то не выдержал — засмеялся. Судья строго глянула в зал.

— Так... Пострадавшие в суд не явились... — то ли спросила, то ли констатировала факт.

— Они в СИЗО, — подсказала секретарь.

— Ну так что, должны доставить...

— Написали отказ.

— Написали отказ... — растягивая слова, вновь зачем-то повторила судья. Вызвали свидетеля Чеботарёву. Вошла знакомая завклубом.

— Тамара Сергеевна, — обратился к ней прокурор, — на предварительном следствии вы утверждали, что видели на бильярдном столе клинок. Как вы думаете, кому он принадлежал?

Мой адвокат тут же заявила протест:

— Нам неинтересно, как думает товарищ Чеботарёва. Мы хотим знать, что она видела.

— Хорошо, — согласился прокурор. — Поставим вопрос так: вы видели клинок?

— Да я... — теряется Тамара Сергеевна. — Там на бильярде поломанный кий лежал...

— Я спрашиваю о клинке.

— Да я не знаю... Я на секундочку лишь заглянула... — сконфуженно бормочет Тамара Сергеевна. — Там кий поломанный...

— На предварительном следствии вы утверждали, что видели клинок, — не унимается прокурор.

— Да я... — растерянно разводит руками Тамара Сергеевна. — Может быть, показалось... Что я могла разглядеть за секунду... Заглянула и тут же прихлопнула дверь... Кий там поломанный...

— В общем, клинка вы не видели? — наводяще спросила моя адвокат.

— Не видела!.. — радостно закивала Тамара Сергеевна.

— И что же вы видели? — злясь на неё, спросил прокурор.

— Ну, кий там поломанный...

— Увидели поломанный кий и вызвали милицию?

— Ну, дрались там... — не глядя на меня, вздохнула Тамара Сергеевна.

— Значит, дрались... Кто с кем?

— Я видела только вот... — виновато кивнула она на меня. — Вот... и Витя Рёвин... и наши...

— Сколько было ваших? — спросила моя адвокат.

— Наших?.. Наших — четверо...

— Так, может, это ваши били этих ребят?

— Да я не знаю... Там такое... — совсем теряется Тамара Сергеевна.

— Есть ещё вопросы к свидетелю? — спросила судья.

— Товарищ Чеботарёва, — продолжает допрос прокурор, — на предварительном следствии вы утверждали, что у Алимова был нож...

— Да я уж не помню... Я на секунду заглянула... Потом Витя закричал...

— Что закричал Витя?

— Ну... Чтоб я дверь закрыла...

— И не мешала приятной беседе, — насмешливо подсказал прокурор, видя, как стремительно разваливается дело.

Потупившись, Тамара Сергеевна молчала.

— Алимов, у вас был нож? — уже без всякой надежды спросил прокурор.

— Был... — неожиданно кивает Валера.

Александр Можаяев

— Вот дур-а-а-к... Ну — ду-у-рак, — в сердцах выдохнул я, так что, кажется, услышала судья и с интересом взглянула на меня.

— Я подобрал его и держал, чтоб никто не поранился, — пояснил он.

Валера говорил чистую правду, но всё произнесённое им выглядело настолько смешным и неправдоподобным, что даже доселе невозмутимая судья скептически усмехнулась.

Приговор слушали в молчаливом равнодушии. «Три года», — услышал я после своей фамилии, после Валериной — «два».

— На основании статьи... Учитывая... Срок считать условным, — закончила судья.

Все, радостно вздохнув, сели, и только мы с Валерой, всё ещё не проявляя никаких эмоций, продолжали стоять.

Медленно привыкая к свободе, мы с Валерой одиноко сидим на лавочке в заснеженном парке. Мимо нас, чуть сутулясь и зачем-то пряча глаза, спешащими шагами прошла Тамара Сергеевна. Неожиданно на дорожке появился Воха. Тулуп на нём жарко распахнут, из-под сбитой набекрень заячьей шапки лихо торчит взмокший чуб. Воха тащил на санках огромный коробок.

— О-о-о! — заметив нас, он в приветствии скидывает свои лапищи.

Мы угрюмо киваем.

— А я вот... — переводя дух, Воха кивает на свой коробок.

— Снова ларёк бомбанул? — усмехаюсь я.

— «Меридиан» купил, — довольно скалится Воха.

— Ты ж хотел «Берёзку»...

— «Берёзок» не было — «Меридиан»... Говорят, тоже неплохой телек...

Вот и весь разговор. Помолчали.

— Ладно, Воха, — говорю я. — Дуй на вокзал, а то опоздаешь...

— Ага... — взглянув на часы, соглашается тот. — Скоро автобус... Ну, я это... Давайте!..

— Давай...

— Валер, дай закурить, — глядя в сторону удаляющегося Вохи, прошу я.

— Ты ж не куришь... — равнодушно вытряхивая сигарету, говорит он.

— А-а-а... Ладно, пошёл... Вон Надюха твоя идёт...

Валера поднял глаза, и лицо его вновь не отобразило никаких эмоций. Не было в нём ни радости, ни печали.

Хлопнув его по плечу, я пошёл прочь по снежной тропинке парка. В тишине неожиданно остановился, огляделся округ. Высоко над деревьями смотрело на меня с небес белесое зимнее солнце; на кустах и поникших травах ярко искрился иней. Куда-то по своим делам пробежала равнодушная ко мне собака. В стороне от дорожки, утопая в снегу, стайка воробьёв воевала с хлебной коркой. Какие-то девчонки, смеясь о чём-то своём, осклизаясь, пробежали мимо меня.

И вдруг этот обыденный мир показался мне неведомо новым: и белесое зимнее солнце, и одетые в иней метёлки трав, и убегающие девчонки, и воробьи... Изумлённый, я вновь осмотрелся вокруг, и тут мне вдруг стало страшно.

Виктория Можаяева



НА НИТОЧКЕ...

Мы дом построили по плиточке,
Как строит ласточка гнездо.
И вот висит мой дом на ниточке,
На паутинке – от и до.
Ах, жизнь продажная, уродская,
Уйди за двери, где была!
Болит моя душа сиротская
О тех, кто нынче без угла.
И, чтоб не спиться, не отчаяться,
Не раствориться в пустоте,
Мой дом на ниточке качается –
Живой фонарик в темноте.

Мне дорог этот дом –
С ночными сквозняками,
Со скрипами полов
И веток о стекло...
С всегдашней суетой,
С цветами и горшками,
И с комнатой моей,
Где тихо и светло.

Я верю: этот дом
Не скоро постареет.

Виктория Можаяева, член Союза писателей России (1997), поэт. В 1983 году поступила в Литературный институт им. А.М. Горького, который окончила в 1988 году. Автор нескольких поэтических сборников.

Живёт и работает в х. Можаяевка Тарасовского района Ростовской области.

Виктория Можаева

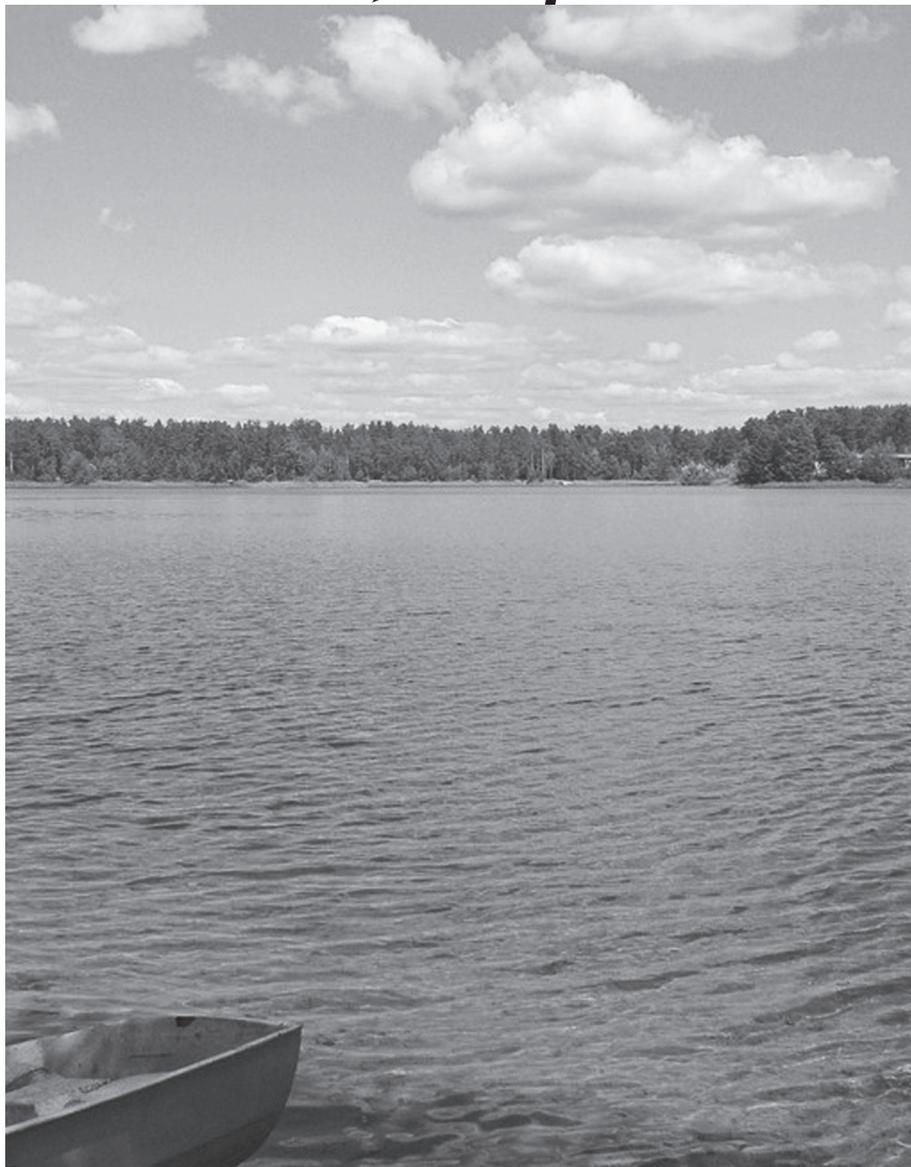
Его ни злой огонь,
Ни солнце не сожжёт.
И он ещё детей
Моих детей согреет –
От холода и тьмы
Уютно сбережёт.

Мне нужен этот дом:
Степной закат с балкона,
И в окнах облака,
И запах чабреца,
И мягкий блик впотьмах
(Венчальная икона),
И тёплая земля
От самого крыльца.

Ах ты, жизнь моя, – без меда сладость,
Свет и тьма в одной дикарской пляске!
Под иконой «Всех скорбящих радость»
Спит мой мальчик в старенькой коляске.
Сколько потом землю ни соли я –
Радость на душе неистребима.
Я теперь уже совсем как Лия,
Что была когда-то нелюбима.
И когда душа замрёт от боли
Перед сонмом страхов многоликих,
Защитят её от злой неволи
Сразу шесть заступников великих,
Шесть моих детей русоголовых –
Да хранит их Бог в любви и ладе,
Шесть моих бессмертников лиловых
На слезами вымытом окладе.

Я с дождями сольюсь и снегами,
Как сольются с рекою ручьи...
Я – лишь хвоя у вас под ногами,
Драгоценные дети мои.
Я – лишь колос, роняющий зёрна.
И когда-нибудь в смутной дали
Будет жаль мне цветущего тёрна
И распаханной тихой земли.
Будет жаль мне любви и разлуки,
И отчаянья смертной борьбы...
И кладу я на детские руки
Зеленеющий посох судьбы.

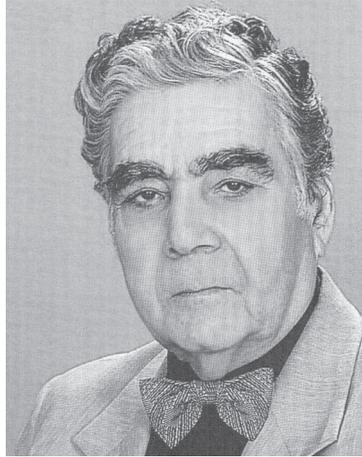
Многого ещё не рассказал...



Авторы этого раздела — известные донские писатели, бывшие члены Союза писателей СССР, и сегодня достойно представляют Ростовскую областную писательскую организацию, хотя по тем или иным причинам членами Ростовского регионального отделения Союза писателей России не являются.

Их, писателей-ветеранов — уже не так много, но их творчество, которое внесло драгоценный вклад в копилку Донской литературы, плодотворно и сегодня, — они по-прежнему за писательским столом, работают, создают новые произведения, новые книги. Редакция журнала приветствует их и поздравляет с юбилеем.

Николай Егоров



МЧИТ ПОЕЗД...

Я затаился в новом веке,
как «заяц» в фирменном вагоне,
и проводница, раскумекав,
того гляди, меня прогонит.
А за окошком всё иначе,
чем в нашем веке было-сплыло,
и мне б минувшее понянчить,
текущее ославить с пылом.
Но я веду себя так тихо,
чтоб не наладили отсюда...
Мчит поезд в день грядущий лихо –
аж на столе звенит посуда.

Горек путь был – до моих седин,
потому и сетуют седины:
если бог на небесах один,
отчего же люди не едины?
Иль не видит со своих высот
он,
как в мире зверствует косяя?..
Верим, что спаситель нас спасёт! –
всеблагодой, – чего же не спасает?

Николай Егоров, старейший по возрасту донской писатель, член Союза писателей СССР (1962), Союза российских писателей, прозаик, поэт, художник, автор книг прозы и поэзии. Живёт и работает в г. Ростове-на-Дону.

ДОН_новый 13/3-4

Ждём-пождём и молимся века,
и повсюду с богом – только с Богом! –
тянется к оружию рука,
защищая и добро, и погань.

Я был смешлив и не был я слезлив,
и даже боль, в военную грозу,
изранив тело, душу обозлив,
не вышибала из меня слезу.
Боль наяву – чего уж там! – остра,
боль памяти – и не сравнить! – острой.
И жаль: слезами не разжечь костра,
чтоб эту боль спалить на том костре.
Несу цветы я павшим на войне,
несу и поседевшую любовь,
и с долголетьем, что досталось мне,
досталась память – вся! – сплошная боль.
И плачу, улыбаясь: виноват,
мол, – нервы, нервы; мол, – года, года...
Часы стучат – стучат, как автомат.
Слезами не смывается беда.

Пришельца встречали мечами,
и в дни торжества и печали
победу свою отмечали
молчаньем лишь, а не речами.
История никнет – плечами,
и память пылает – свечами.
Победа горда и в печали, –
могилы достойны молчанья.

Меняется походка старика:
всё мельче шаг, всё реже, что ни год.
Он будет скорость сбрасывать, пока,
измотанный, на финиш не придёт.
А там и лента на бескровном лбу,
и свечка в бледных пальцах,
и затем –
дадут под троекратную пальбу
последний старт –
уже в земную тьму.

Николай Заоров

История опомнится – тогда,
когда ни палачей, ни жертв не станет,
когда и те, и те исчезнут без следа,
истлев под почернелыми крестами.

Риторика историка вовек
не возвратит минувшего –
ни мига,
не проживет понову человек,
не выйдет ненаписанная книга.
И платят разум и добро сполна
тоскою по тому, чему не сбыться
теперь и впредь...
История вольна,
да не вольны события и лица.

В пути до солнца ни колдобин,
ни вешек, ни следов колёс.
На свет держись ты, глядя в оба,
чтоб дьявол мимо не пронёс.
Иди! – Порою заклубится
кругом космическая пыль...
Иль, поманив, мелькнёт жар-птицей
комета за полтыщи миль...
Иль свистнет рядом астероид
в серебряных доспехах льда. –
И в страхе душу пот покроет,
но это тоже не беда!
Шагай и гордости исполнься:
мол, цель рискована, ну и что ж!
Случится, что сгоришь у солнца,
так ведь до солнца ты – дойдёшь!

Слабее память, воля, сила,
но чувства – в силе и ясны;
и сердце от тебя, красивой,
пьянеет, словно от весны.
И я, поверь, не обезьяню,
когда, ни слова не сказав,
смотрю счастливыми глазами
в твои смешливые глаза!..

Николай Скрёбов



КАК ПОВЕЗЛО МНЕ

Пока не утомится
Сердце биться,
Пока не грянет мой
Последний бой,
Не перестану одному дивиться:
Как повезло мне встретиться с тобой.
Ну, хорошо, бывает в жизни всяко,
Беде и счастьем не заказан путь,
Но вот: была криница – вся иссякла,
Ни ковшиком, ни горстью не черпнуть.
А ты неутолимыми губами
Припала к ней, давно не ждавшей губ...
Я, как поток, сшибаю камни лбами,
Я стать рекой когда-нибудь смогу.
И там, во мне, за дальним красноталом
Раздастся звон уключин, всплеск весла...
Ты всё, чего мне тяжко не хватало,
В житейское моё нежданно принесла.
Всё-всё, как есть, – бывает же такое! –
За исключением разве что одним:
Не принесла мне нового покоя,
А прежний – весь развеяла, как дым.

Николай Скрёбов, выдающийся донской поэт, член Союза писателей СССР (1962), Союза российских писателей. В 1996 году Н.М. Скрёбову было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Окончил филологический факультет Харьковского государственного университета в 1956 году. Автор 26-ти поэтических сборников.

Живёт и работает в г. Ростове-на-Дону.

Николай Скрёбов

Уже мы прежних радостей не ищем,
Счастливым возраст вычерпав до дня...
Пусть приходящих к нам на пепелище
Согреет память нашего огня.
Её должно хватить ещё надолго;
Такому забываться не дано,
И зря нам говорят, что мало толку
В огне, испепелившем нас давно. –
Сердце не закаляя и не плавя,
Прими поклон, безжалостное пламя,
За то, что не щадило и меня.
...Что остаётся к этому добавить?
Остынет всё. Но не остынет память
Жестокого и честного огня.

Ещё тугая тетива мороза
Сгибает время в напряжённый лук
И беспредельно властвует вокруг
Житейская обыденная проза.
Поэзия устала от потуг;
Она напоминает виртуоза,
Который под воздействием наркоза
Лишён победоносной воли рук...
Но март, ещё свирепый по ночам,
Накапливает солнечный колчан,
И дух весны уже витает в мире.
Вот-вот рванётся за стрелой стрела –
И отзовется за струной струна
В разбуженной к труду и счастью лире.

Уже и дни как будто потеплели,
Но снова, о пощаде не моля,
Дождями ненасытного апреля
Потрясена усталая земля.
Жердёлы зацвели, поднялся клевер...
Но за добром всегда крадётся зло. –
Никто не знает, сколько нынче плевел,
Тесня зерно, победно проросло...
Не так ли в наших душах прорастают
И добрые, и злые семена,
И недруга и друга имена
Не так ли в нашей памяти скрепляют,

И этим нас до срока усыпляют,
Холодных, долгих ливней письма?

Пока живёшь, пока светло – спеши
На нить живую мысли нанизать;
Последние известия души,
Последние признания сказать.
Изысканна в своём коварстве смерть:
Предупреждений от неё не жди.
Пока успеть умеешь
И посметь,
Не дни считай –
Минутам счёт веди.
Но и последний делая рывок,
Ты должен трезво принимать в расчёт,
Что жизнь,
Оставшись без твоих тревог,
Спокойней, чем сейчас, не потечёт.

Пока душа не запоёт,
Храни почтение к безмолвию,
Не посылай строку в полёт. –
На что тебе гроза без молнии?..
Замри в нахлынувшей тиши,
Чтобы сама, без принуждения,
Возникла музыка души,
Как сон за час до пробуждения.

Уже годами подведённый к стенке,
Осознаю, пока не грянул залп,
Что многого ещё не рассказал
Про тени звука, отзвука оттенки,
Про голоса, на школьной переменке
Просторный наполняющие зал,
Про тихий звон и темноту в глазах,
Скользнувших по нечаянной коленке...
Ещё не всё в слова облечено,
Что наряду с испытанно воспетым
Живёт во мне звучащим ретроспектром.
Тесна мне схема, тяжела мне схима,
Поскольку всё, что не произносимо,
Белым-бело или черным-черно...

Наталья Суханова



ЧАС ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Рассказ

Василию Сергееву

...В юности, говорите вы? Ну как же, тоска была, как же ей в юности не быть? Вселенская тоска, любовная тоска, бытовая тоска — какой только тоски не было!

И теории были. Возможно, для ухода от этой многоголовой тоски. Для преоборения её даже. Да, мол, сейчас мы всё ещё недочеловеки — с огромными усилиями, большой кровью, с ошибками и провалами решаем земные проблемы, ну а ко вселенским-то ещё только-только приступаем. Да и как приступить по-настоящему, если каждый сам себе пуп земли, ну а Вселенная-то попросту может и не замечать эти пупы. Но — постепенно дойдём мы, сольёмся в сверхчеловечество, даже в надчеловечество, и тогда-то уж станем соизмеримы со Вселенной; быта и мелких подробностей уже не будет, а будет что-то вроде торжественного «а-а-а!» — заключительный вечный аккорд, в котором сольются человечество и Вселенная.

С этим сверхчеловечеством было проще простого: торжественное «а-а-а!» — и всё тут.

Но я был довольно способным малым, преуспевал в физике и математике, и меня тянуло не просто на аккорды. Кстати, слуха у меня никогда не было, но для заключительного аккорда, по-моему, его и не нужно было, к тому же говорили, что у меня внутренний слух, и так, наверное, оно и было, потому что вот это «а-а-а!» я слышал очень отчётливо в минуты духовного просветления. Так вот, в силу моих способностей к обобщениям и теориям меня тянуло не только на аккорды, но и на схемы. Прекрасная схема, надо сказать, получилась у меня

Наталья Суханова, известный донской прозаик, член Союза писателей СССР (1967), Союза российских писателей. Окончила Московский юридический институт. Автор книг прозы «Соседи», «Когда становятся короче дни», «Острый серп луны», «Кадриль», «Под частыми звёздами», «В пещерах мурузавра», «Многоэтажная планета», «От всякого древа», «Подкидыш», «Зал ожидания», «Сказка о Юппи», «Зелёное яблоко».

Живёт и работает в г. Ростове-на-Дону.

однажды. Я знал, что не с самого начала иду, но линия, в какую бы сторону она ни продолжалась, уже была линией, костяком мира. В ровные квадратики с перемычками — уже квадратики, помню, мне нравилось делать очень тонко и ровно — я поместил последовательно «элементарную частицу», «кристалл», «молекулу» и прочее. Над «живой клеткой» восходила вертикаль — «жизнь», «человек», «общество». В этом месте я, правда, посомневался, что выше: «человек» или «общество». Понадобилось даже волевое, я бы сказал, волюнтаристское усилие, и — повернул всё же! Не помню уж, что над чем. А дальше совершенно ясно: «сверхсоциум». И — свершилось: тут — мир, тут — я, владеющий. Весь мир, собранный в горсть. А потом, что бы со мной, лично со мной, ни было, но это уже есть. Было и будет. Да, стоило схему нарисовать, и я уже как бы владел Вселенной. Больше, чем владел. Она уже была несущественна, поскольку определена и предопределена... Был ли это восторг? Да нет. Скорее — гордое, горделивое удовлетворение, как бы успокоение, что всё идет, как надо, и моя тоска несущественна. Возможно, даже и тоска-то, думалось мне, от того, что я вижу так далеко вперёд, а мелкая действительность, как болото, держит меня, не давая заглянуть в сам этот сверхсоциум, в это слияние, в это «а-а-а!», в эти заключительные бессмертие и вечность.

Вот такие были мои юношеские дела. Не то чтобы тоска шла сплошняком и ступить шагу не давала. Нет — и девочки мне нравились, и школьные успехи тщеславно вкушал я, и копать огород родителям помогал, и к старшему умному брату тянулся, и меньшему брату, обожавшему меня, покровительствовал. Всё — не выбиваясь из общего деловитого ритма. Не без того, конечно, что изредка остановишься от парализующей тебя тоски, но тут же, как больной за таблетки, начнёшь хвататься за слова: «Что?.. Что такое?.. Да, — жизнь, быт... Но... есть восходящая... И... сверхсоциум». И даже попробуешь представить его, если не зрительно и умственно, то вот этим «а-а-а!» Получится — значит, подскочишь и вдвое быстрее задвигнешься. Не получится — начнёшь вытягивать себя за волосы из болота: мол, хоть и не представить, а есть, будет и... стойкость и мужество!

Была, наконец, и любовь — умопомрачительная, со стихами и балдением возле *неё*, с *её* полувосхищением, полуснисходительностью к моей неординарной личности.

И вот... шёл я однажды к *ней* от электрички. Можно было к их дому ездить и трамваем, но электричкой было быстрее, и, к тому же, словно переносило меня в некую отдалённость и давало возможность внутренне подготовиться к встрече. Шёл я от электрички знакомой дорогой по немощёным улицам, ещё в лужах ночного дождя, но уже быстро подсыхающим от ясного весеннего солнца. Шёл вдоль заборов и штахетников. Довольно рассеянно шёл — не то думал о чём-то, не то смотрел вокруг. Но невнимательно. Так, поглядывал. Когда я поднимал взгляд вверх, то веток на деревьях вдоль дороги, особенно мелких, узких веточек, казалось вдвое больше, чем зимою или поздней осенью. Улица шла по склону холма, и тут и там на холме, возле домов, и в огородах, и вдоль улиц розовели цветущие жердёлы. Слабее, рассыпаннее, но белели уже и вишни. Цветущие ветви свешивались через сплошные заборы, просовывались сквозь штахетник. Взгляд мой задержался на цветущей, чуть не задетой мною ветви — и так сильно вдруг всё увиделось! И пушистые от тычинок маленькие цветы с мелкими неправильностями: то мал и кривоват лепесток, то тычинка не вполне тычинка, а как бы даже и лепесток, и отогнутые книзу чашелистики тоже не то чтобы ровно отогнуты. Тычинки жёлтые, но при другом повороте как бы уже

и розовые... Ах, да всё розовато было, даже собранные в щепоть крохотные листочки! А уж всего розовее были выпятившиеся надрезанными кругляшками цветочные почки. И пахло, пахло всё это — нежно и чуть горьковато. Я сказал — «всё пахло», и можно подумать, что это был ровно растворённый в воздухе аромат. Так нет же. Аромат, как нимб, каждый своё дерево окружал.

Маленькие тополя в зелёной молодой листве безмерно, упоённо ею сверкали. Большие же тополя листве волю не давали, они полнили широкое пространство вокруг густою россыпью бурых и красных серёжек, и небо вокруг них, как свет вблизи звёздных масс, изгибалось — у них было своё небо, как, может быть, было оно и у каждой жердёлы, каждой вишни и даже у каждого тюльпана, уже поднявшего алое своё копьё над наивно-торжественной и простой розеткой длинно-широких листьев.

Я увидел всё это подробно — это и многое ещё; я ощутил мягкую, влажную, но уже не пачкающую ботинок землю под ногами, хотя посреди улицы были ещё лужи. Я увидел прелестный земной мусор, — маленькие лепестки в каждой ложбине дороги вперемежку с длинными клейкими почками тополей, сухие ветки, старая и новая трава, распластанные терпеливые, как самозабвенные родители, листья одуванчика. Гудению пчёл и пению и щёлканью птиц открылись мои уши. Какое-то чувство не просто общности, — открытости нас друг в друге, мира и меня, возникло вдруг. Казалось, ещё секунда, и я сольюсь со всем этим и что-то пойму.

Да, вот так примерно это ощущалось — что ничто не мешает мне войти во всё это, потому что двери открыты, все двери открыты, не для меня, а просто, такой уж вот день; все двери открыты, и мои тоже. И если что-нибудь и мешает мне выйти из одной двери и войти в другую, то разве что страх, страх неумелости. Так отвыкший ходить не знает, как сделать шаг и не упасть. Хотя все двери открыты. Или как не уверен слепой до этого человек, только что прозревший, то ли он видит и так ли. Величайшая растворённость во всё, величайшая растворённость мира во мне и в то же время какая-то неуверенность и осторожность, — вот так, да, так это было.

Но это я, а ведь суть была не во мне, а в этом мире. Всё пушилось и увеличивалось в числе, всё проникало вокруг в воздух и свет. Всё пахло, всё говорило внятно о своей особенности и нежности. Мелкое зеленело, высокое цвело. Во дворе молодой отец прижимал к себе дитя в кружевных, раскрытых простынках; эти простынки, кружева были вокруг его прижимающих рук упруго отогнуты назад — как лепестки, как крылышки. Кружевными пелёнками, крылышками были отогнуты лепестки цветов вокруг пушистых, упруго растопыренных тычинок. Только что раскрывшиеся листья вишни были желтоваты и пупырчатые. Гудение пчёл, упорно повторяющиеся трели птиц — они тоже были как бы материальны, вещественны, объёмны. Каждая точка пространства извергалась мирами, и свежие, упругие эти миры не меньшели от соседних, упругих и сильных, а множили пространства, рождали для себя пространство и время. И не от слабости, а от щедрости и силы переливались друг в друга.

Восторг, экстаз — но неожиданный и даже пугающий. «Не МДП? — думал я. — Не маниакально ли депрессивный это психоз? Не нарушится ли у меня координация движений?» Но я шёл так же свободно и правильно, как и до этого...

Не оттого ли, спрашиваете вы, возник восторг, что я шёл к *ней*? Напротив, это стало для меня вдруг не так уж и важно. Мысли мои влеклись совсем в другую сторону. Я уже не думал и о том, что свихнусь. Я озирался в восторженном удивлении. Но... перегородки ли томили меня, которые всё не рушились, собственная

ли неспособность шагнуть из себя, или чего-то нужно было от меня этому миру, что он так уж раскрылся — только был, был в моём восторге какой-то тревожный момент. Не могло это быть так, не для чего. Слишком сильно это было, чтобы не заключалось — нет, не раскрывалось в этом какого-то смысла. Всё время рядом с экстазом, чуть ли не в нём была эта тревога. И не понимал я, должен ли я сделать усилие, или, наоборот, расслабиться: дать проникнуть в себя голосу мира, смыслу моего необыкновенного чувства. А глаза продолжали отмечать красноватые пучки листьев на сильных голенастых прутьях какого-то дерева и женщин на склоне, беливших стены домов.

В этом состоянии подошёл я к дому девушки. Увеличило ли мой восторг то, что ко всему этому я ещё увижу и её? Не думаю. Я был как обыкновенный, не очень ловкий смертный, у которого на голове непостижимым образом оказался вдруг драгоценный кувшин; и вот человек движется, а кувшин покачивается, но не падает; и вот предстоит сделать и вовсе рискованное движение — стучать, раскланиваться, а главное, разговаривать, и мудрено ли кувшину уж если не свалиться, то хотя бы исчезнуть, как загадочному привидению?.. Я не сразу даже и постучал. А когда постучал, никто не откликнулся, не показался из дому. Я постучал сильнее, прислушиваясь к себе — «кувшин» всё был здесь, живой, но устойчивый.

Ещё минут пять я то просто стоял, то стучал. Дома явно никого не было. Но я не сразу ушёл. И не то чтобы надеясь, что кто-то придёт, я даже, кажется, доволен был — ну, не без минутного огорчения, — что не застал никого дома. Мне просто некуда было спешить. Мир оставался всё так же полон жизни и подробностей, мой взгляд не тускнел, и не оставляло меня ощущение взаимооткрытости с миром, вот только последняя грань оставалась — неосознанность значения этого открытия, бессловесность чувства. Казалось, вспыхни нужное слово, мысль, смысл, пойми я, что говорит мне на столь изобильном языке невероятно важных подробностей мир, и всё — осанна!

Не спеша я тронулся в обратный путь, прислушиваясь равно к миру и к себе. Ничто во мне не свидетельствовало о том, что я свихнулся. Мир продолжал говорить бессловесно. Томление и тревога были всё сильнее, и всё сильнее была радость. Так дошёл я до вокзала, купил билет и отошёл подальше, сел на скамейку. Минут сорок, наверное, уже продолжалась невероятная острота зрения и чувства. Слова, только слова мне не хватало.

Рядом остановились два молодых мужика — допить из бутылок пиво. Один был молчалив, другой рассказывал что-то о женщине:

— Она, подлянка, как все, не хочет — своенравка хренова!

Молчаливый допил, выбросил бутылку, пошёл, слегка пошатываясь, к дороге. Другой разболтал остатки в своей бутылке и уже хотел допить, но окликнул друга:

— Слышь? Я её полоскал по-чёрному! По-чёрному полоскал!

И вдруг я почувствовал, что потихоньку — медленнее, чем заходит солнце — начинают меркнуть моё чувство, и взгляд, и слух. Не до пустоты и черноты. До нормального зрения и слуха, соответствующих времени майского дня тысяча девятьсот шестьдесят какого-то там года, моему возрасту и гражданскому состоянию.

Майский день продолжался, и электричка ещё не подошла.

Игорь Бондаренко



ВОТ ТАКОЙ БЫЛ ЧЕЛОВЕК!

Эссе

О Закруткине у меня остались самые хорошие воспоминания. Он, конечно, не был «борцом», тем более — диссидентом. Он всегда был лоялен к власти, к людям — никогда не скупился на доброе слово и уж, конечно, был большим «хлебосолом».

Не выпить у него за столом было невозможно. Именно поэтому, когда я полностью отказался от спиртного, не поехал к нему в гости, и когда он спросил: «Почему не приехал Игорь?» — ему сказали: «Да он же теперь не пьёт...» — «Как? Совсем не пьёт?... Этого не может быть!» Эту фразу он произнёс, когда наше «знакомство» уже «подходило к концу». У него был рак.

Была операция (после которой он тут же в больнице выпил с Бахаревым и ещё со мной). Хоть операция отдалила его уход, но эта проклятая болезнь имеет свойство «возвращаться». Но до этого была ещё целая жизнь.

К Закруткину я попал впервые в 1954 году. Я написал повесть «Чёт или нечёт» о немецких лагерях. Показал её Борису Изюмскому, который был тогда главным редактором журнала «Дон». Изюмский довольно благосклонно отнёсся к моему первому большому (страниц 300) «труду» и посоветовал встретиться с Закруткиным. Виталий Александрович жил тогда неподалёку от драмтеатра. Квартира была большая, хорошая...

Сам он мне напомнил этакое «дореволюционного профессора». Достаточно строг, но доброжелателен. В пенсне и в штатском тогда ещё костюме. Позже он из Ростова уедет в станицу Кочетовскую, где «приголубит» замечательную станичную девушку Наташу, которая вскоре станет его второй женой, и «наденет гимнастёрку».

В университете я видел одного «настоящего профессора». Это был про-

Игорь Бондаренко, известный донской прозаик, член Союза писателей СССР (1970), Союза российских писателей. Участник ВОВ. Автор ряда книг прозы.

Живёт и работает в г. Таганроге Ростовской области.

фессор Немировский, который преподавал ещё в Варшавском университете, пока тот в 1914 году не эвакуировался в Ростов, «прихватив» с собой и Немировского. Ничего общего в обликах этих двух людей не было. Немировский — старичок небольшого роста, с большими рыжими усами (похожими на Антона Ивановича из фильма «Антон Иванович сердится»), поклонник Марра, за что, конечно, «большевики» сильно «чистили» его, когда вышла работа товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Немировский немножко грассировал, как и большинство старых интеллигентов, и это его слова: «Да! Большевики умеют цистить!»

Закруткин, конечно, не «тянул» на «полного» профессора, но пенсне, манера говорить (он преподавал в пединституте) — всё это было почти «профессорским».

Я не буду говорить о его произведениях, о них много написано, много сказано критиками и литературоведами, скажу только, что его арест в 1937 году и был связан с литературой. В его повести нашли «затки» нацизма на том основании, что в повести описывались разные человеческие черепа... Он попал в число тех «счастливых», которых «волна либерализма», нахлынувшая на страну после ареста Ежова, «вытолкнула» из подвалов НКВД на «свежий воздух». Все, кто был уже в лагерях, там и остались, а вот «сидельцы» в подвалах — вышли. Среди них из Ростовской писательской братии был и Владимир Фоменко.

Ничто не проходит бесследно, и, думаю, «осторожность» Закруткина во многом объяснялась тем, что он уже «там» побывал. Кстати, Закруткин не был членом партии. Когда-то он сделал попытку, попросил рекомендацию у Соколова, но тот ему отказал, как человеку с не совсем крепкими «моральными устоями». Беспартийность совсем не мешала Закруткину жить широко и привольно. Он был секретарём Союза писателей России, депутатом областного совета и прочее, и прочее... На конференциях и пленумах (даже партийных) его выступления были почти обязательны и желанны потому, что он говорить умел и говорил не «по писанному», и его «коньком» было сохранение донской природы. Много он сделал и для своих новых земляков-кочетовцев. Его там любят и помнят до сих пор. Его деревянный дом у самой пристани с большим виноградником всегда был «полной чашей» и видывал столько гостей, сколько не видывал никакой другой дом на Дону. Даже дом Шолохова был более «закрыт» в силу «величины» своего владельца.

Я был секретарём партбюро и секретарём правления Ростовской писательской организации. Время было не столько застойное, сколько «застольное», и гости на Дон «жаловали», если не каждый день, то, особенно летом и в сентябре-октябре, — каждый месяц. Не буду перечислять всех гостей, — это заняло бы слишком много страниц.

Конечно, были и иностранные делегации. Я как раз и был секретарём правления «по иностранным делам». Вот у меня на полке стоит книга Сбигнева Домино «Бледные огни». Когда мы с её автором после многочасового застолья возвращались на «Ракете» домой — в Ростов, Сбигнев настолько «расчувствовался», что достал запечатанную пачку трёхрублёвых купюр, разорвал её... и стал «пускать их по ветру» — они кружились в вихрях воз-

духа за быстро идущей «Ракетой» и плавно опускались на «кипящие волны» за кормой. Что поделаешь, поляки ведь тоже — славяне!

Однажды к нам приехал редактор венгерского журнала «Альфельд» Кальман Ковач. Я должен был с ним пойти на ужин, так как Соколов, сказавшись нездоровым, поручил это мне, как секретарю «по иностранным делам». Ковач остановился в гостинице «Ростов» — рядом с журналом «Дон». В холле гостиницы я встретил Закруткина и его «адъютанта» Сашу Кондакова, предложил им присоединиться к нашему «ужину». Закруткин не только сразу согласился, но и предложил место для «ужина» — закрытый зал в аэропорту: «для депутатов».

Стол был великолепный, и вёл его, конечно, Закруткин. Начали с коньяка. Первый тост Закруткин предложил за Шолохова... Конечно, пить только стоя... Выпили... Не успели сесть и что-нибудь «наштрикнуть» на вилку, как Закруткин опять поднял рюмку (Саша уже всем налил) — второй тост за Гагарина, за космонавтов... Ковач не успел прожевать грибочек, как последовал третий тост за... Советскую армию — освободительницу Европы! Это, конечно, тоже надо было «принять» стоя и «до дна». За столом с нами оказался приглашённый Закруткиным киноактёр Ивашов — исполнитель главной роли в «Балладе о солдате». За «Русского солдата» опять-таки нужно было пить до дна и стоя... На шестой рюмке Кальман Ковач понял, что пристесть и закусить ему не дадут, да, думаю, что он уже ничего и не хотел, — ему сильно «захорошело», и теперь он уже сам стал «провозглашать» тосты, в том числе «за моего друга... Игоря... Бондаренко...» Пили только стоя... В конце вечера я ещё свозил Ковача на левый берег, где мы «окунули палец» в воды «Дона-батюшки» и, конечно, распили бутылочку шампанского.

Утром нам ехать в Таганрог, к Чехову... Я прихожу в гостиницу. Ковач лежит «полумёртвый», с мокрым полотенцем на голове... Я принёс с собой «лекарство» — плоскую фляжку с коньяком. Полечились... И Антон Павлович нас «встретил» вполне благосклонно...

Виталий Александрович прошёл всю войну военным корреспондентом. Любил рассказывать историю, как в бою за Берлин он поднял в атаку подразделение, когда его командир был убит. За это Жуков лично вручил ему орден Красного Знамени.

В справочнике написано, что Закруткин летом 1941 года добровольно пошёл на фронт. Сам он рассказывал такую, с моей точки зрения, забавную историю. Он и ростовский драматург Иллиарион Стальский оказались то ли в Кисловодске, то ли в Пятигорске, одним словом, — где-то на Кавминводах. Оба уже были в армии. Пришёл какой-то «высокий чин» и сказал: «Мне нужен фронтовой корреспондент, кто из вас желает отправиться на фронт?» — Стальский обращается: «Товарищ! (чина я не знаю, допустим, полковник), разрешите мы с Виталием Александровичем посоветуемся?» — «Посоветуйтесь, пять минут вам...» Полковник вышел, Стальский говорит Закруткину: «Виталий, у меня сильно болит большой палец... на правой ноге... Может, ты поедешь?..» — «Ладно», — согласился Закруткин. Поехал. Прошёл всю войну. Вернулся — грудь в орденах.

Был 1960 или 1961 год. Я по заданию редакции поехал в Элисту собирать материал для юбилейного номера журнала «Дон» — «350 лет добровольного вхождения Калмыкии в Россию». Летел самолётом — первый раз, и что-то мне сильно не понравилось. Подташнивало, и голова кружилась... Остановился в гостинице, если можно было так назвать это убогое заведение. Вообще, Элиста произвела на меня удручающее впечатление. Гостиница была полна «переводчиков». Это были «московские жучки», которые приехали «на заработки». Конечно, никакими языками они не владели, а работали с так называемым подстрочником, то есть из очень плохих стихов делали плохие, но пригодные для печати по случаю «юбилея».

В это время именно почему-то в Калмыкии снимался фильм по рассказу Закруткина «Млечный путь». (Фильм вышел, но... не пошёл...) Но я хочу рассказать не об этом. В фильме был занят чудесный актёрский «ансамбль» — Жаров, Ларионова, Рыбников...

В гостинице мы встретились с Закруткиным, и все «мужики» отправились на охоту на сайгаков. Гоняли по степи целый день.

Вот где воздух был! Аромат степных трав неповторим. Кто-то подстрелил сайгака... Грустное было зрелище. Как это красивое грациозное животное умирало... Глаза большие... и полные слёз... Умирало тихо... Я на всю жизнь запомнил... (В романе «Красные пианисты» есть у меня эпизод, когда следователь гестапо гаупштурмфюрер СС Беккерт, когда в молодости был лесничим, увидел умирающего от пули оленя... Больше он никогда не стрелял в животных...)

Охота, слава Богу, к вечеру закончилась, ну и, конечно, после трудов «праведных» — ужин. Калмыцкое начальство «расстаралось»... На столе чего только не было. Ужинали мы, естественно, не в городе, а на «вольном воздухе». Это были юрты и какие-то ещё две постройки — словом, «закрытый городок».

К ужину привезли и Аллу Ларионову. Сидела она напротив меня. Что можно сказать, — царица! Истинный Бог — царица! Я потом «близко» видел и Ирину Мирошниченко, и Жанну Прохоренко (они были у меня в гостях). Ларионову сравнить не с кем! «Выступает слово Пава, говорит-то величаво» — эти несколько перепутанные мной «сказочные слова» относятся к ней. Не совсем, правда. Насчёт, «говорит-то величаво»... Нет, речь у неё хорошая, но не «сказочная». Рядом с ней сидел Коля Рыбников. Славный парень. А напротив меня, рядом с Аллой, — Михаил Иванович Жаров. Человек из моего далёкого детства — «Трилогия о Максиме», где он поёт: «Менял я женщин... три-ли-ни-ли, как перчатки, и пил всегда... три-ли-ли, три звёздочки коньяк...» А в «Беспокойном хозяйстве» в тысяча девятьсот сорок каком-то году, я, солдатик, смотрел «старшину Жарова» с Целиковской, которая то ли уже была, то ли потом стала его женой...

Так вот, Михаил Иванович, «жаловался»: «У меня — сыну пять лет... (Жена у него была уже то ли четвёртая, то ли пятая...) Его «поднять» надо... Поэтому я сейчас, ребята, спиртного в рот не беру. Но, стоит мне появиться в каком-то городе, обязательно в гостиницу «припрутся» один-два «храбрых». И, конечно, с коньяком... Я говорю: «Ребята! Я не пью!..» — «Михаил Иванович! Как же так?! Обижаете...»

Действительно, за вечер он и не пригубил... Мы, конечно, хорошо приняли «всё». Я в молодости был крепок. Литр водки вполне мог принять. И был крепок на ногах. А Виталия Александровича я отвёл в «постельку». Заснул. На рассвете меня кто-то будит. Открываю глаза — стоит надо мной Закруткин — «как стёклышко». — «Игорь, пойдём выпьем..» — « Ой! Виталий Александрович...» — Мне на другой день всегда было плохо. — «Ничего, ничего... Сейчас по сто грамм и в озеро...»

Раннее утро. Степь за ночь остыла — дышит прохладой. Выпили по сотке и в озеро — гольшами... Никого ведь поблизости нет... А вода просто холодная. Ключевая. Вылезли, «отряхнулись». Ещё по сотке выпили и пошли завтракать... «Столовая» — четыре столика. Вчера был «пир», но «начальство» из Элисты уехало и то ли забыло «распорядиться» о том, чтобы нас кормили, то ли так пришлось, но в столовой я оказался один с Аллой... (Коля «отходил» — есть отказался. Жаров ещё спал. А Закруткин, по-моему, вообще никогда ничего не ел.) Официантка спрашивает, что нам подать. А у Аллы денег нет... И я её «накормил» каким-то салатом, яичницей, чаем напоил...

В столице Закруткин всегда останавливался в гостинице «Москва». Как потом я узнал, эту гостиницу «любили» «старые аристократы», к которым принадлежал Закруткин. Я же, как «новый аристократ», предпочитал «Россию». И оказались мы с Закруткиным в Москве в одно время. Он, по-моему, привёз свой роман «Сотворение мира» в «Советский писатель». Встретились в Союзе писателей. Вечером созвонились. «Приезжай ко мне, в «Москву»... Я подъехал. В номере уже был накрыт столик... Виталий Александрович читал мне последние страницы своего романа. Помню, что там были какие-то «молоденькие деревца — новая поросль на пепелище». Что-то в этом роде...

А ещё в 1977 году, когда мне было 50 лет, он вёл «мой стол» в редакции журнала «Дон».

И последнее. 10 октября 1984 года он умер. Приехал Лавлинский (редактор «Литературного обозрения»), были, конечно, секретари обкома. Не помню, был ли Калинин. Стоял я в «почётном карауле» — 5 минут... и до того мне стало плохо, что я, выстояв, сказал себе: «Всё! Больше нигде не стою...» Мёртвых за жизнь я перевидал, но приходит время, когда понимаешь, что только в одном-единственном случае ты «незаменим» — на собственных похоронах.

Было ещё в этот день «видение» — ясное небо! Ни тучки. Выносят Закруткина, и вдруг на небе — радуга... Вот такой был человек.

Аршак Тер-Маркарян



ЛУННЫЙ КОРОСТЕЛЬ

ДОНСКАЯ СТЕПЬ

Донская степь.
Выгуливают совы
Ночную темь...
С коня лишь обозришь –
Как радуга
цветастою
подковой
Пригвождена
над косяками крыш;
Где на лимане атаманят ветры,
Плывёт ладья на белых парусах,
И звёзды проступают
через вербы
Крупитчато,
как соль из-под рубах...
Я чист перед тобою, степь!
Завидно
Поёт в полыни лунный коростель...
Такая ширь,
что Человека видно,
Наверное,
за тридевять земель!..

Аршак Тер-Маркарян, известный донской поэт, член Союза писателей СССР (1973), Союза писателей России. Автор ряда поэтических сборников.

Живёт и работает в Москве.

ЗНОЙ

Стекало
солнце
нам на роботы,
В глазах весёлый день рябил...
Был зной такой высокой пробы –
Бери
чекань себе рубли!
А нам грузить зерно в машины, –
Не пить у бочек свежий квас!..
Нам бригадир сказал: «Мужчины,
Покажем сельским людям класс!»
...О грозы лета, где гремите?
Куда ушли дождём скучать?..
Соль – на спине. Огородите
Меня –
и будет Баскунчак!..
Был зной такой,
что травы немо
От жажды раскрывали рты.
Казалось, он не только небо,
А землю всю озолотил.
Всю – от былинки до деревьев,
Всю – от крыльца и до реки,
Где по тропе глухой деревни
Шли золотые старики...
Ещё покуда не смеркалось,
И бронзовели горы дынь,
И роща вдалеке сверкала,
Как ювелирный магазин!
Ещё на тихие ромашки
Садился
бабочкою
жар...
Как боцман в голубой тельняшке,
Закат у пристани лежал.
Но в молодом июльском звоне,
Где поднимался
терпкий пар,
Где был под стать червонным зёрнам
Донской
студенческий
загар,
Хороших песен не хватало.

А в остальном –
кого ругать?..
Я, как подкошенный, устало
Валился
в пышные
стога!
И видел в дальнем полусне,
Как вся земля дремала;
Река лежала на спине
И звёздочки считала...



Ростов-на-Дону. Донская государственная публичная библиотека. Зимний сад

Александр Кравченко



ВЫЯ

Рассказ

Золотые паутины пряли неведомое полотно где-то там, за горизонтом. Торжественно проплывая, искрились в лучах заходящего солнца, и исчезали... Исчезали.

...Как всё могло произойти? И что *это*, вообще, было?

Афанасий Бирюков сидел на лавке у забора и жадно курил.

Осень...

А началось всё весной. Именно... «Вытянули выи, выгнули!» Как в детстве говорили? — «Вот если бы, да кабы, — во рту выросли грибы. Был бы не рот, а целый огород». Ага. Огород...» — Афанасий Бирюков обжёт пальцы тлеющим охнариком и досадливо покривился. — «Можно сколько угодно долго говорить на соль — сахар, станет ли слаще? Это вряд ли. Не станет. Нет...»

Началось всё *это* не весной. Скорее — зимой.

В январе Афанасий Бирюков отдыхал в Кисловодске, в санатории. Крайне важно было сердце подлечить (врачи решительно объявили: жить хочешь — езжай, лечи). Занял деньги у родственников и поехал. На третий день на базарчике у санатория с бабкой схлестнулся. Платочек домиком на голове, на раскладушке — семена в самодельных конвертах, травы... «Купи, — говорит, — болезный, семена кинзы. Посей их весенней тёплой ночью и поливай хорошенько».

— Бабка, — возразил Афанасий, — слышь, мне только кинзы этой и не хватает.

— Вот-вот, — поддакивает бабушка-старушка. — Её-то тебе и надо. Как возрастёт трава, так сразу коси и скотиняку корми. Вижу, ты — деревенский мужик...

Александр Кравченко, член Союза писателей России (1997), прозаик. С 2011 года — член ревизионной комиссии Ростовского регионального отделения СП России. Автор нескольких книг прозы. Живёт и работает в г. Белая Калитва Ростовской области.

Афанасий Бирюков удивляется:

— Слышь, бабуля, да кто ж кинзой скотиняку кормит? Ну, ты, блин...

И всё-таки купил. Двадцать рублей заплатил. Идёт в санаторий и сам себя материт, — блин, отвалил такие деньжищи за этакий пакетик. Дурак конченный, — никак, загипнотизировала бабка.

Но не забыл. По весне в тёплую ночь посеял у себя на огороде. Поливал обильно, «росы отливал». И что бы вы думали? Попёрла трава, как на дрожжах, взрастала: жирнющая... Да и не кинза это вовсе оказалась. А так — невесть что за трава-растение. Выросла выше пояса. И вот тогда это всё началось...

Уж как выбухала трава?! Афанасий Бирюков взял косу, скосил делянку, собрал оберемок и понёс поросят кормить. В хозяйстве свинья опоросилась — восемь штук. Попробовал накормить этим растением. И что бы вы думали? Едят, аж пищат!

Вернулся назад к делянке. Господи, святой! А там трава — это самое растение — как будто и не косил, стоит себе в пояс высотой. Снова скосил, отнёс поросётам и телку с тёлочкой кинул. Возвращается — опять стоит по пояс трава-растение...

Вызвал жену и сына. Сам Афанасий Бирюков косит, а жена с сыном носят хозяйство кормить. Попадали — запыхались, а она стоит в пояс высотой... А дальше чудные дела стали происходить: скотиняка от этого корма на глазах расти начала и жиреть. За один день поросёта выросли, что за полгода.

Остановил Афанасий Бирюков все работы. Собрал за сараем семейный совет.

Говорит вкрадчиво:

— Во, блин, что получается! Значица, так. Тебе, Стёпа, и тебе, Маша, бошки поотрываю, и будете, выи вытянув, ходить, натурально, шея — без головы. Усекли? Это наша семейная военная тайна.

Сын и жена сидят, раскрыв рты, слушают Афанасия Бирюкова, который потемнел лицом от работы и мыслей.

— Афоня, может быть, ну её в баню! Пусть себе стоит эта трава. Не трогай ты её, — в смысле, не коси.

— На-кось, выкуси, — и Афанасий Бирюков поднёс к носу жены огромный кукиш.

— Полный тоталитаризм, — заключил сын Стёпа. И сразу получил увесистую оплеуху. Зарделся щекой.

— Базары заканчиваем. А сейчас — городить огорожу вокруг дома. Чтoб соседи ничего не видели... Можно сказать, переходим на осадное военное положение.

И неделю всем семейством они делали сплошной забор в рост человека.

Афанасий Бирюков и его жена Мария из колхоза рассчитались. Скотина у них плодилась — ого как! Только вылупились телята-поросёта, а через две недели, глядь, — а в загоне уже быки и здоровущие свиньи. Но надо отдать должное — Бирюковы работали, не покладая рук. Афанасий одно косит, а Мария с сыном Степаном таскают траву-растение и кормят ею скотиняку.

Перекупщики табунами стали ездить к Бирюковым.

Вначале деньги тщательно считали: ага! вот десять тысяч, вот — двадцать. Увязывая деньги резинкой, Афанасий Бирюков говорил:

— «Жопка к жопке» надо складывать, чтоб, понимаешь, лошадуки — к лошадукам, дворцы — к дворцам.

Это так он о сторублёвых купюрах отзывался.

А затем уже и — недосуг деньги пересчитывать — просто в сундук прабабкин бросали. А когда под крышку набили, тогда уже в мешки складывать начали.

Вот Мария Васильевна говорит сыну Степану:

— Стёпушка, пойдёшь в магазин, купи колбасы; и, спасу нет, как мармеладую хочу...

Мясо не ели, молоко своё не пили — покупали копчёную колбасу, пастеризованное краснодарское молоко «Кубанская бурёнка». Афанасий Бирюков на ночь выпивал стакан коньяку «Хеннеси» — за две тысячи рублей бутылка. Причём, за такими странными покупками Стёпа ездил в город и волок огромные сумки, чтобы никто не увидел из соседей. Кстати, с соседями и родственниками перестали общаться. И страшно рассекречивать свою «военную тайну», да и, честно признаться, за работой некогда.

Пролетела весна. Закончилось лето. И вот однажды осенью, встав рано утром на косовище, Афанасий Бирюков с ужасом обнаружил, что *это* не растёт. То есть, как вечером он скошил, так опупушки и торчат. Нет яркой жирной зелени. Коричневая делянка сделалась, совершенно поблекла.

— Ой, туды её нехай... Во, блин... Маша, — заорал он благим голосом. — Стёпа!

Собрались все. Стоят, раскрыв рты, дивятся переменам, которые случились на их вотчине, на их плодоносящей делянке.

— Вот это яйца — и все в профиль, — прошептал сын Степа.

А Мария Васильевна сорвала опупушек травы-растения, — он у неё в руках и рассыпался в прах.

— Бяда! — закричала она, горько зарыдала.

— Что стоило — оставить полделянки на семена! Увлёкся, блин. Жадность, фраера сгубила... Факт...

Говорят, Афанасий Бирюков ездил в Кисловодск, искал бабушку-старушку, у которой семена купил на базарчике у санатория. Никто и слыхом не слыхивал об этой старушке.

Косил-косил...

Главное — не взрастил семена. Не собрал. Увлёкся.

Ходил по Кисловодску и бормотал:

— Не голова у меня на шее, а сплошная выя...

Анна Ковалёва



И ПОВЕРИЛОСЬ...

Шёл по улице дождик божественный,
тихий-тихий, смиренный такой,
и подумалось мне о пришествии,
и поверилось в вечный покой.
И почудилось счастье, возможное
в этой странной безбожной стране,
и притронулась так осторожно я
к дождевой одинокой струне.
И – запела струна беспечальная,
так запела, что – Боже ты мой! –
мне припомнилось чувство начальное
восхищения жизнью самой.
Молодой, неизменно изменчивой,
в яркой зелени, в ливнях, в снегу,
юной девочкой, девушкой, женщиной,
окликающей день на бегу,
с лжегероями, судьями грозными,
с дверью в небо, всегда запасной,
с дорогими мне влажными гроздьями
повсеместной сирени весной!..

Анна Ковалёва, член Союза писателей России (1999), поэт, заслуженный работник культуры РФ. Лауреат литературной премии им. В. Карпенко. Автор девяти поэтических книг. Живёт и работает в г. Волгодонске Ростовской области.

Среди людей, не в одиночку,
с бедой и радостью живу.
И есть кому затеплить строчку,
и есть
к кому склонить голову.
Один зажжёт, второй остудит,
о третьем – вечно горевать...
В мир выводя, – «Гляди, как люди», –
Меня напутствовала мать.
С годами и утрат побольше,
и путь всё круче и трудней,
но твёрже мамино:
«Не бойся,
пока живёшь среди людей».

*...и Слово было у Бога...
Еванг. от Иоанна, ч.1, ст.1*

Усиьем глаза иль руки
Открою ль двери в небывое?..
Но слышу твёрдое: «Реки!» -
и звук течёт, напор утрая.
Я гору льда пробить хочу
(и гору зла, и горя гору!),
вход преградившую ручью,
его звенящему напору.
А антисила есть везде,
и умалять её нет смысла,
и тьма над городом повисла
всё с той же целью –
выжить День
из обитаемого русла
и власть над нами обрести,
сменивши ход, сменив искусно
всё направление Пути!
Но звук растёт, и звуку речи
Творцом дана иная власть,
Её одной боится нечисть.
И – время Слову в мир упасть.

Владимир Жуков



ДУХОВНЫЕ МЫСЛИ ДЛЯ ПРАВИТЕЛЯ

Фрагменты шестой главы из книги «Правитель»

Правитель, даже великий, прежде всего человек, человек со всеми его страстями, достоинствами и недостатками. Но он должен отличаться от других умением повелевать не только подданными, но и собственными страстями. Не умея делать этого, он не сможет быть правителем. Укрощение страстей — как своих, так и подданных, — в этом духовная миссия правителя, и при ответе Царю царей это будет главным в оценке его души, его жизни на земле. Всякая власть от Бога, и отчёт будет перед Богом. Правителю следует помнить, что не люди дают ему власть, но Божественный промысел возвышает его над людьми, не они избирают, а Он. Понимая это, великие правители всегда опирались на Божественную помощь и получали её. Для правителя не личное смирение в общепринятом его понятии есть оправдание перед Богом, но смирение и нравственность его подданных. Смирение же правителя есть его справедливость и рассудительность, умение отличать истинное добро от зла.

В этой связи автор и предлагает правителю духовные мысли святых отцов православия, которые позволят ему с духовной точки зрения взглянуть на жизнь, на людей и на себя. Эта духовная высота даёт возможность достойно выполнять свою миссию на земле и спасти не только души подданных, но и свою.

Духовные мысли святых отцов древности автор нашёл в творениях святителя Игнатия Брянчанинова «Аскетические опыты» и «Отечник».

Владимир Жуков, член Союза писателей России (2001), поэт, публицист. Действительный государственный советник Российской Федерации второго класса, доктор экономических наук, профессор, академик международной академии информатизации. Автор книг стихов «Любовь моя, грусть моя...» (2010), «Времена и иллюзии любви» (2013), исторического повествования «Правитель» (2011). Живёт и работает в г. Ростове-на-Дону.

«Отвергнем ропот, отвергнем жалобы на судьбу нашу, отвергнем сердечную печаль и тоску, от которых слабые души страдают более, нежели от самих смертей».

«Взятием креста своего названа добровольная, благоговейная покорность суду Божию при всех скорбях, поселяемых и попускаемых промыслом Божиим. Рокот и негодование при скорбях и напастях есть отречение от креста».

«Стремление к земному преуспеянию, — какое странное, какое чудовищное! Оно ищет с исступлением. Едва найдёт, как найденное лишается цены, и искательство возбуждается с новой силою. Ничем настоящим оно недоволено: оно живёт одним будущим, оно жаждет только того, чего не имеет. Предметы желания приманивают к себе сердце искателя мечтою, надеждою удовлетворения; обманутый, постоянно обманываемый, он гоняется за ними на всём поприще земной жизни, доколе не восхитит его неожиданная смерть. Как и чем объяснить это искательство, поступающее со всеми подобно бесчеловечному предателю и всеми владеющее, увлекающее всех? В душах наших насаждено стремление к бесконечным благам. Но мы пали, и ослеплённое падением сердце ищет во времени на земле того, что существует в вечности на небе».

«Отвергнем лютый яд, столько опасный для духа человеческого: глупый и презренный эгоизм, претворяющий человека, заражённых им в зверей и демонов, соделывающий этих человек бичами человечества, злодеями самих себе».

«Беседа и общество ближних очень действует на человека. Беседа и знакомство с учёным сообщает много сведений, с поэтом — много возвышенных мыслей и чувствований, с путешественником — много познаний о странах, о нравах и обычаях народов. Очевидно: беседа и знакомство со святыми общают святость».

«Нет ближе знакомства, нет теснее связи, как связь единством мыслей, единством чувствований, единством цели».

«Ощувивший любовь духовную, с омерзением будет взирать на любовь плотскую, как на уродливое искажение любви».

«Когда сердце твоё не свободно, — это знак пристрастия. Когда сердце твоё в плену — это знак страсти безумной, греховной».

«Гордый человек! Ты мечтаешь так много и так высоко об уме твоём, а он — в совершенной и непрерывной зависимости от желудка. Закон поста, будучи по наружности законом для чрева, в сущности есть закон для ума».

«Дом души — терпение, потому что оно живёт в нём; пища души — смирение, потому что она питается им»,

«Не удаляющий себя от причин греха произвольно, бывает против воли своей увлекаем грехом».

«Совесть — чувство духа человеческого, тонкое, светлое, различающее добро от зла. Это чувство яснее различает добро от зла, нежели ум! Совесть руководила человеком до закона письменного».

«Самая скрытая из всех душевных страстей есть тщеславие. Эта страсть более всех других маскируется пред сердцем человеческим, доставляя ему удовольствие, часто принимаемое за утешение совести, за утешение Божественное».

«Кто же не верует в сына Божия? Тот, у кого Бог — чрево; тот, у кого Бог — серебро и золото; тот, у кого Бог — земная слава; тот, кто почтил земную мудрость, враждебную Бога, как бы Бога».

«Каждое сопротивление, оказанное требованию страсти, ослабляет её, постоянное сопротивление низлагает её. Каждое увлечение страстию усиливает её; постоянное увлечение страстью порабощает страсти увлекающегося ею».

«Неувлекающийся какой-либо страстию не должен думать, что нет в нём этой страсти: только не было случая к обнаружению её».

«Некоторые страсти служат началом и причиною для других страстей; таковы: объедение, нега, развлечения, роскошь, сребролюбие, славолубие, неверие. Последствия их: сладострастие, печаль, гнев, памятозлobie, зависть, гордость, забвение Бога, оставление добродетельного жительствова».

«Невозможно, чтобы страсти, живущие внутри человека, не обнаруживались в его помышлениях, словах, действиях».

«Жестокие души, привыкшие попираť совесть и страх Божий, иначе не могли быть потрясены, приведены в чувство и самопознание, как пытку человеческого страха».

«Чтобы увидеть Бога в промысле Его, нужна чистота ума, сердца, тела. Управляет Бог вселенною; управляет Он жизнью каждого человека во всей подробности её. Такое управление, входящее в самые мелочные, ничтожнейшие, по-видимому, условия существования тварей, соответствуют бесконечному совершенству свойств Божьих. Закон такого управления прочитывается в природе, прочитывается в общественной и частной жизни человека, прочитывается в Священном Писании».

«Одно совершается по воле Божией, другое совершается по попущению Божиию; всё совершающееся совершается по суду и определению Божьему».

«Зло не имеет сущности, — сказали Отцы. — Оно является от нашего нерадения о добродетели и исчезает от нашего усердия к добродетели. Зло, будучи недостатком добра, может относиться только к ограниченным разумным тварям, в которых добро ограничено».

«Отчего один родится в богатстве и знатности, другой — в нищете, в среде людей, презираемых и угнетаемых, обречённых на всежизненный телесный труд в поте лица, лишённый средств к развитию умственному? Отчего иной умирает дряхлым старцем, иной — в цвете юношеского или мужского возраста, иной — дитятею или даже кратковременным младенцем? Отчего один пользуется постоянно здоровьем и благополучием, другой томится в болезнях, передаётся скорбями скорбям, бедствиями — бедствиям, как бы с рук на руки?.. Эти и этим подобные вопросы заняли однажды великого пустынножителя Египетского Антония, и тщетно искал разрешения их пустынножитель в собственном разуме, осенённым Божественною благодатию, способным углубляться в рассматривание таин Божии. Когда святой старец утомился размышлением бесплодным, последовал ему с неба глас: «Антоний! Это судьбы Божии. Исследование их душевредно. Себе внимай». Определи степень и границы твоей способности мышления и понимания. Эта способность, как способность существа ограниченного, естественно, имеет и свою степень, и свои пределы».

«Ум закоренелого грешника не видит ни добра, ни зла; сердце его теряет способность к духовным ощущениям».

«Чтобы знать, в чём состоит спасение наше, надо знать наперёд, в чём состоит наша погибель, потому что спасение нужно только для погибших. Ищущий спасения, этим самым по необходимости признает себя «погибшим», иначе для чего бы ему искать спасения?»

«Весьма ошибочно поступают те, которые, находясь под властью страстей, требуют от себя безстрастия. При таком неправильном требовании от себя, происходящем от неправильного понятия о себе, они приходят в необыкновенное смущение, когда проявится каким-либо образом живущий в них грех. Они приходят в уныние, в безнадёжие».

«Святые духи уклонимы от общения с человеками, как с недостойными такого общения, духи падшие, увлекшие нас в своё падение, смешались с нами и, чтоб удобнее содержать нас в плену, стараются сделать и себя, и свои цели для нас незаметными».

«По смотрению Божию являются святые духи только во время крайней нужды с целью спасения и исправления человеков; являются таким образом, что явление их не может иметь вредных последствий».

«Самовластие человека (свободная воля) удобно преклоняется к общению с сопротивными (падшими) духами».

«Слепотою поражены наши ум и сердце. По причине этой слепоты ум не может различить истинных помыслов от ложных, а сердце не может различать ощущений духовных от ощущений душевных и греховных, особливо, когда последние не очень грубы».

«Первое духовное видение есть видение своих согрешений, доселе прикрывавшихся забвением и неведением».

«Смерть — великое таинство. Она — рождение человека из земной временной жизни в вечность».

«Необходимо нам, кратковременным странникам на земле, узнать нашу участь в вечности. Если во время краткого здешнего странствования наши заботы сосредоточены на том, чтобы устранять от себя всё печальное и окружать себя всем приятным, — тем более, должны мы заботиться об участи нашей в вечности».

«На земле всё сражается, всё страдает, всё стремится к взаимному уничтожению».

«Апостол Павел говорит о себе, что он умирал ежедневно. Кто умирает ежедневно, тот уже живет вечно, истинною жизнью».

«Как хлеб нужнее всякой другой пищи, — говорил Иоанн Лествичник, — так размышление о смерти нужнее всех деяний».

«Несмотря на достовернейшее познание того, что каждый человек умирает по телу, каждый человек чувствует, внутренне сознаёт себя бессмертным, живёт и действует, как бессмертный: это ощущение и сознание души».

«Взять крест свой — значит с покорностью и смирением подчиниться тем временным скорбям и бедствиям, которые благоугодно Божественному промыслу попустить нам в очищении наших согрешений».

«Трудно устоять частному человеку против греха, которым увлечено целое общество».

«Смиреномудрие есть правильное понятие человека о человечестве, следовательно, оно есть правильное понятие человека о самом себе. Прямое

действие смиренца или смиренномудреца заключается в том, что правильное понятие человека о человечестве и самом себе примиряет человека с собою, с человеческим обществом, с его страстями, недостатками, злоупотреблениями, с обстоятельствами частными и общественными, примиряет с землёю и небом».

«Гордый смотрит на себя как на самобытное существо, а не как на создание Божие; земная жизнь представляется ему бесконечною, смерть и вечность — несуществующими. Промысла Божиего нет для него. Он признаёт правителем мира разум человеческий. Все помышления его пресмыкаются по земле».

«Когда ум покоряется Богу, тогда сердце покоряется уму — в этом заключается кротость».

«Грех тела очевиден, грех духа весьма часто малоприметен, иногда совсем неприметен для людей, погружённых в попечение мира. Тем более он страшен! Тем вернее удары его!»

«Обильное земное преуспеяние и огромные земные предприятия как очевидные для всех выставлены Словом Божьим в признак последнего времени и созревшей греховности человечества, большею частью неявной и непонятной при поверхностном и неопытном взгляде на человечество. Человечество никогда не желает объявить себя последователем зла, хотя бы оно утопало во зле; оно постоянно стремится выказать себя добродетельным».

«Любовь к ближнему заключается в исполнении относительно его евангельских заповедей, а в отнюдь не в исполнении прихотей ближнего, не в действиях относительно его по влечениям падшего сердца, по расчётам и понятиям лжеимённого разума. Исполнение евангельских заповедей относительно человек по большей части непонятно и неприятно для них; они ищут и требуют, чтобы была исполнена воля их, чтобы были удовлетворяемы страсти их. Это они называют любовью».

«Самолюбиец губит себя, а человекоугодник губит и себя, и ближнего. Самолюбие — горестное самообольщение; человекоугодие усиливается и ближнего сделать общником этого самообольщения».

«Справедливо замечает блаженный Феофилакт Болгарский, что излишнее богатство похоже на нищету. И то, и другое вопиет от затруднительности своего положения: «Что мне делать?» Причина затруднительности при нищете — недостаток в телесных потребностях, при богатстве — излишество в них».

«Всеобщий разврат вместе с породившим его обильнейшим вещественным развитием будет знаменем кончины века и приближающегося страшного

суда Христова. Не одно сластолюбие будет тогда господствовать! Разврат в обширном значении этого слова делается достоянием человечества в последние времена человечества на земле».

«Грех достигнет своего полного развития и тем будет страшнее, тем владычество его будет тверже, что личина благочестия сохранится.

Человечество не будет видеть своего бедственного положения в нравственном и духовном отношениях; оно напротив того, будет трубить о своём преуспейании, будучи ослеплено преуспейанием в вещественном развитии для времени и земли, отвергнув развитие христианское для духа, для вечности, для Бога».

«Бог внемлет молитвам одних вдовиц, то есть — нищих духом, преисполненных сознания своей греховности, своей немощи, своего падения, чуждых самомнения, которое состоит в признании за собою достоинств, добродетелей, праведности».

«Господь посылает скорби только тем грешникам, в которых предвидит обращение, которое в книге живота по предвидению Божию уже внесены в число праведников, оправданных правдою искупителя. Грешников намеренных и произвольных, в которых нет залога к исправлению и покаянию, Господь не признает достойными скорбей, как не принявших учения Христова».

«Греховные помыслы и ощущения возникают из падшего существа нашего; но когда греховные помыслы и ощущения начнут постоянно и усиленно приходить, то это служит признаком, что они приносятся врагом нашим, падшим ангелом, или же он понуждает падшее естество наше плодить их особенно».

«Когда является тебе промысел, предлагающий славу от человека, то знай, наверное, что он устраивает тебе безчестие».

«Восприятие от злобы есть произвольное. Оно совершается так: отнимающий что-нибудь у ближнего принимает на себя искушение этого ближнего, хотя и не хочет; так же злословящий — злословиемого; лихоимствуемый — лихоимствуемого; насилующий — насилуемого; оговаривающий — оговариваемого; презирающий — презираемого... Всякий обидящий воспримет искушения обидимого, соразмерно обиде».

«Имеются два вида приражения, которыми мир обманывает нас, если мы не усмотрим их благовременно: похвала от людей и отрада тела».

«Подвергаясь напасть, мы согрешаем единственно по причине нетерпеливости нашей, потому что не хотим перенести ниже малой скорби, не хотим пострадать что-нибудь против воли нашей, тогда как Бог не попускает нам искушений, превышающих силу нашу».

«Кто сделает дело ради Бога, того непременно постигнет искушение, потому что всякому добру или предшествует или последует искушение. Даже не может быть прочным сделанное ради Бога, если оно не искушается напастью».

«Путь искателя славы человеческой — постоянное и разнообразное человекоугодие».

«Ясные признаки пришествия к нам и действия на нас падшего духа: суть внезапно являющиеся греховные и суетные помыслы и мечтания, греховные ощущения, тяжесть тела и усиленные скотские требования его, ожесточение сердца, надменность, тщеславные помыслы, отвержение покаяния, забвение смерти, уныние, особенное расположение к земным занятиям».

«Будем убегать от ненависти и распрей. Кто находится в дружбе с заражённым ненавистью и сварливым, тот находится в дружбе с хищным зверем. Точно, доверяющий себя зверю безопаснее того, кто доверяет себя сварливому и заражённому ненавистью. Неотвращающийся от сварливости и негнушающийся ею не пощадит никого из человеков, даже друзей своих».

«Господствуй над языком и не умножай слов, чтобы не умножить грехов своих».

«Не будем глупы: глупый ставит всё ни во что. Почему и говорится, что глупый и безрассудный одинаково погибают».

«Не говори с гневом. Да будут слова твои так, как и молчание твоё, исполнены благоразумия и мудрости. Слова мудрейших отцов наших были разумны и премудры, подобным было и молчание их».

«Никому не предлагай того, никого не учи тому, чего сам не исполнил на деле».

«Муж мудрый основательно знает значение и обстановку пути своего; по этой причине он не спешит говорить, но выжидает и рассматривает, что следует ему сказать и что выслушать».

«Тому, кто не внимает словам твоим, не говори их».

«Не открывай помышлений своих всем, чтобы не ввести брата твоего в соблазн».

«Иной суд Божий — иной человеческий».

«Побеждающий в мелочах будет победителем и в важных случаях; побеждаемый же в мелочах будет подвергаться побеждению и во всех важных случаях».

«Если ум покусится взойти на крест прежде, нежели уврачуется немощь чувств, то привлечёт на себя гнев Божий, как начавший подвиг превышающий меры сего. Восхождению на крест должно предшествовать исцеление чувств».

«До самой кончины человека страсти сохраняют способность восставать в нём и неизвестно ему, когда страсть восстанет; по этой причине он доколе дышит, не должен оставлять бдительного наблюдения над сердцем своим; он должен непрестанно вопить к Богу, умоляя его о помощи и помиловании».

«Храните сердца от чуждых помыслов и не увлекайтесь в размышление о каком-либо человеке или о каком-либо предмете века сего».

«Три добродетели, когда ум увидит их в себе, служат для него признаком, что он достиг бессмертия: рассуждение, различающее добро от зла во всех случаях, благовременное предвидение добра и зла, свобода от внешнего влияния».

«Четыре недостатка в поведении делают душу бесплодною: прехождение с места на место, расположение к житейским попечениям, любовь к имуществу и скупость».

«Познается древо от плода и устроение ума от помыслов, в которых он пребывает. По устроению ума познается состояние души».

«Венец добродетелей — любовь; венец страстей — оправдание грехов своих».

«Если молишься Богу о чём-либо, и Он медлит услышать тебя, не скорби об этом. Ты не умнее Бога. Делается же это с тобою или потому, что ты недостойн получить просимое; или потому, что пути сердца твоего несоответственны, но противны с просимым тобою; или потому, что ты не достиг ещё той меры, которая нужна для того, чтобы принять дарование, просимое тобою».

«Если кто живёт в каком-либо месте и не приносит плода, свойственного этому месту, то самое место изгонит его вон, как не приносящего плода, требуемого местом».

Ольга Губарева



РОМАНС

Ваш взгляд,
ваш смех,
ваш странный проговор –
Всё непривычно, искренне и ново!
А я в ответ несу какой-то вздор,
Я в разговоре вдруг теряю слово...

Вы здесь случайно, вовсе не ко мне.
Зачем же так придумано судьбою:
Остаться с вами мне наедине
И в первый раз не быть самой собою!?

То карандаш, то чистый лист ронять;
То мять платок дрожащими руками...
Сердечною тревогою внимать
Пустому слову, сказанному вами.

Нет, это – бред, и ваш летящий взгляд
Меня не обольстит и не заманит!..
Но отчего же
руки так дрожат,
И каждый вдох и выдох горло ранит?..

Ольга Губарева, член Союза писателей России (2001), поэт. Окончила факультет экономики РИНХа. Автор поэтических сборников «Моё начало», «Три женщины», «Возраст женщины», «Ещё встретимся», «Странности любви», «Ах, женщины...» и книги прозы «Зелёное платье принцессы».

Живёт и работает в п. Сандата Сальского района Ростовской области.

Галина Лободина



«...НА ПРОГНАНИЕ ВСЯКОГО СУПОСТАТА...»

отрывок из романа «Рать соборная»

Дремлет в предутренней неге казачий городок Мариинка. На высоко поднятых над земляным валом виреях, окутанная свилью туманов, дремлет крепостная каланча, дремлет дед Безухий и малец-казачонок Стеня-Молчальник...

Бедовому и говорливому мальчонке досталось в удел отцово прозвище, и хоть Прокоп Молчальник давно покоится на казачьем погосте, Стеня, его сынок, семилетний «алахарь», как кличет его дед Безухий, — навёрстывает недогутаренное, недопетое батяней: пчёлкой жужжит казачонок, никому из стариков не даёт проходу: и как турку выследить нарозь, и как посець пошибчей басурмана, и как на струге в ключинах крепится матушка-пушка — всё про всё ему надобно ведать.

Да сморил предутренний сон голопупого «атамана». Свернувшись тёплым котёнком на узкой лавке, видит, наверное, славные сны: хохотнул недавно спросонку, растянув в щербатой улыбке по-детски невинные пухлые губы...

— Эх, чадунюшко, — скорбно вздыхает Безухий и прикрывает зипунишком мелкое тельце, — табе бы ишшо за мамкину юбку держаться, а ты ужо, кубыть, служивой... Сиротская твоя доля — табе нынче мамка.

Маманюшка Стени и всех его братьев-сестёр умерла аккурат в тот самый час, как появилась на могиле супружника Прокопа зелёная мурава.

— Не прошло и месяца, как за им отправилась, — сокрушались тогда мариинцы. — Знамо дело — с печали... Потому как во вдовьей череде, да с детьми малыми — что по горло в студёной воде...

Галина Лободина, член Союза писателей России (2004), прозаик. Окончила факультет журналистики Киевского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко. Автор книг прозы: «История станицы Красный Яр», «Отчина», «Вражий стан», «Рать соборная», «Сим победиши».

Живёт и работает в станице Романовской Волгодонского района Ростовской области.

Растили сирот всем казачьим миром, а недавно, перед самым азовским промыслом старшую из их куцого и горького рода — Устинью — сосватал ладный казачок Лукьян Ефремов. С тех пор мелкие, что горох, ребятишки-Молчальники растут под казачьим «мужеским» присмотром.

— Но всё едино — сироты, — горюнится ставший на слезу слабым дед Иван. — Да и надьсь Лукьяшка со всеми казаками под Азов ушёл, наказав мальцу Стене выступать за старшего...

Дремлет окутанный летним мороком Дон — лето в зените. Скотившись красным солнышком сперва за излучину, подобрало оно вешние соки земли, закурило июньским чадом: пахнет степь и плёсы над Доном первовестницей Святой Троицы — чабрецом-травою.

Дремлют, храня под балясинами тепло звонкого лета, невысокие в два оконца курени — не скрипят крыльечками, не стонут половицей: спит казачий народ — честная станица, которого и осталось-то в городке — что грибов в кузовке, — сосчитаешь на пальцах...

Дожидаюсь великого часа — гонца со счастливой весточкой, давно уж всем сердцем и нехитрым скарбом изготовились в путь:

— Ежели будет на то Божья да царская милость, — гуляет день-деньской по станице молва, которую несут старики, ребятишки да бабы — всё остатнее поселение городка, — и позволят нам в Азов приходить, да ежели к нам туда ишшо придут на житьё из Руси охочие и вольные люди, да запасы всякие станут нам привозить, да купцы со всей земли великой туда пожалуют, — то станем в Азове жить. Азова мы, видит Бог, не спокинем...

Так гутарили казаки, так гутарят за ними казачки, любясь в коротких снах тем ни разу не виденным ими Азовом — белостенной гордой крепостью — своей честью и бесчестьем, бедой и радостью...

А пока дремлют на полатях казачата, и лишь изредка который размашисто вскинет, «воюя басурмана», рукою — во сне сабля лёгкая — да пристукнет пяткой по нагретой детским телом кошме, — коня вороного пришпоривает...

Не спит лишь Агашка. Мерно качая зыбку, шевелит губами и из-под сердца, не иначе, — дремлет же всё в молодой Агашке, — струится тихий перебор:

*Сидит Дрёма
На золотом стуле,
Прядет Дрёма
Шелков кужель...*

Дитёнок в колыске керкает, волтузится и Агашка, заскрипев вервицами, поёт громче:

*Полно, Дрёмушка, дремати —
Пора, Дрёма, девок выбирать!*

И снова тише, покойнее, словно талый ручей в лошинке, выдыхает:

*Бери, Дрёма, коя лучше,
Сади, Дрёма, на колени,
Целуй, Дрёма, до осоты!*

На часовенке-голубце ударил звонкий и протяжный в предутренней тиши колокол — то батюшка Михаил сзывает на заутреню — днесь великий праздник — Пресвятая Троица.

Агашка убирает руку от зыбки и, стараясь стряхнуть с себя сон, думает о том, как её «служивой» — муж богоданный Прокопка, в прошлый год на Троицу был с нею в городке, и как они вместе стояли заутреню и обедню, а потом, собравшись всем городком, ели и пили на майдане за длинными столами; и какая была медовуха и вино, и как ладно пела песни Катерина, и как плясала она сама, Агашка, «камарика», как хорошо, ой, до чего ж хорошо, выстукивали подковки её турецких чириков, привезённых ей с промыслу ещё тятей, и как Гришка-братец, прибыв к ним из Монастырского Яра, опившись хмельного вина, рвался свататься. Девка, которая поглянулась Гришке, была шибко молода — «аки в Спасе ягня» — и её Прокоп, она сама и Матвейка Черкашин толковали ему, вразумляли: его, мол, девка ишшо не выросла...

— Э-э-э-э, — снова затянул малец, и Агашка, вынув из тряпья и прикладывая к тугой набухшей груди смуглощёкого крикуна, привычно, по-бабьи заворковала:

— Ужо не даст окаянный покою... Ни днём, ни ноченькой... Погибели на вас нету!..

А сама, любуясь чадунюшкой, миловала глазами, пришлёпывала-гладила ласково да нежно по тугой, круглым арбузиком выпиравшей заднюшке:

*На улице диво
Чернец варил пиво,*

Качая дитя у груди, запела уже не колыбельную, а ту, которая на ум пришла после вспомянутого, и в одночасье глядела в оконце, где изредка мелькали станичники, направляясь к часовне.

*Черничек, ты мой молодой!
Я пиво сливала,
Да меня разнимало:
Бросилась хмелинка
Во ручки, во ножки;
Из ручек, из ножек
Во буйну головку,*

*Нельзя мне стряхнути,
Да нельзя сворохнути.
Я пойду стряхнуся,
Стану я, сворохнуся,
Стану, сворохнуся —*

*Ровне поклонюся,
Ровне поклонюся,
Милой назовуся!*

Мелькнула в проёме открытых ставенок ярким цветком казачка, и Агашка узнала в ней Катерину. Убрав по обыкновению косу под дорожную соболью кичку с жемчужными чикиликама¹, обвив её несколько раз «калачом» — пышна у Катерины коса, «ажник у девок такие бывают», — своей мягкой, летучей походкой несла она себя к майдану. На ней синего цвету с золотым позументом саян², что ещё глубже и гуще синит не по-здешнему завидной красы Катеринины очи.

— Кубыть, года не берут Катерину, — думает без зависти Агашка, — и станом тонка, и лицом приглядна... Даром, что мужняя жана... Да и то сказать: у ей не семеро по лавкам, какие у ей заботы?!

Глянув на свой тугощёкий выводок — в Агашкину породу казачата — все с раскосыми, тепло хранящими глазёнками, на скуластеньком и приплюснутом, что масленичный блинчик личике, — Агашка притворно ахает:

— Когда отзвонили ишшо к заутрене, а вы посеичас чумазы?! Да колтуны на чупрыне!..

Открыв глубокий дубовый сундук — своё девичье приданое — Агашка, воркуя и пестуя мимоходом старшеньких, достаёт добро: рубашечки шёлковые для мальцов, кушаки с кистями — хоть малы, а всё одно казаки, — а нонечки праздник, нонечки Троица Пресвятая и вся земля именинница.

— Да стойте на службе смирнёхонько, не егозите, — наставляет своих бесштаных пострелов заботливая мамка, — да ежели дюже, до нетерпежу станет и схочете до ветру, то зараз бегите... Не то, как надысь, да на Сретенье тоже Мишатка описался...

Мишатка обиженно засопел и ковырнул пальцем в носу:

— Енто он, мене, Ванька, до ветру не пушал. Гуторил, — побьёт за то батюшка... Он, Михайла, кубыть, дюже лютый...

— А ты мне шопни... На што тебе маманюшка? Да и батюшка Михайла он за службой... Он за мальцами не стерегёт... Он молебен правит и литургею... Но всё едино, надоть быть дюже слухменными... Троица нонечки. Будете?

Ванька и Мишатка согласно кивают головами и, чиликая на одной ноге, и радуясь, тянут на себя обнову.

Агашка черпнула из цибарки ковшом воды и наскоро умылась сама, потом долго и старательно, почти утонув в сундуке коротеньким телом, шелестела в глубокой темени; повздыхав, достала тяжёлую, в кожаном, золотою тесьмою высвеченном переплёте книгу с дивными летописными сводами, за ней — Евангелие (его батяне самолично дарил важный князь Острогожский из Киева), потом зелёную, расшитую шёлком рубаху, кубилёк из материи плотной, парчовой, червонные, только слегка стоптанные чирики — тоже тятин подарок — да поясок с чепраками³.

Поясок тот манит взоры, завораживает малых чад — звенит он серебряными и золотыми бляшками, и сначала Ванька, а потом Мишатка хватаются за дорогую убор и тянут каждый на себя изо всей силы. Бляшки, камня и

бисер, нашитые нитками по пояску, весело и звонко вызванивая, рассыпаются, скачут на лавку, на припечек и разбегаются по половицам, таясь, пропадая в щелинах...

— Ах вы, алахари ентакие, — всплескивает руками Агашка, — надьсь, лишь надьсь обещалися быть слухменными... Когда же енто таперь мы в церкву поспеем? А, кубыть, уж там и молебствие зачинается! Горе мне с вами горькое... Вот возвернётся батяня с Азову, дак он вам...

Что сделает с ними батяня, Агашка не договорила: на сторожевой каланче ахнула пушка, тут же беспокойно и растерянно запухкали фальконеты на крепостном валу, и все разом — Агашка и двое старшеньких — прильнули к окну. Над майданом катился клубами дым, из придела часовни выскочил отец Михайла и побежал к вестовой колокольне, и тут же курень, майдан и весь ближний и дальний мир заполонил тревожный набат...

Агашка сгребла в беремья младшенького и, как была — в исподней рубахе — кинулась к порогу, на ходу наказывая Ваньке с Мишкой крепко держаться её подола.

От крепостных ворот в клубах дыма и пыли плыло чёрное облако, и Агашка всё поняла: на городок Мариинку напал неожиданно враг. Уловив напоследок краем глаза тень батюшки Михайлы, метнувшегося от колокольни снова в часовню, пригибаясь почти к самой земле, Агашка бежала, волоча за собой детишек в ухоронное место.

В дальнем углу крепостного вала, выходившего на Чёрный курган, был низенький лаз, сокрытый от глаза людского терновником да дикотравьем (тут не однажды находила она своих заигравшихся пострелов) и юркою лаской, пропихнув сначала Мишатку с Ванькой, нырнула туда.

Гонимая древней памятью рода — спасти потомство от караулящей еже часно смерти, от всех лихостей и напастей, — Агашка сгоряча, неразумно кинулась в степь. И тут же опала...

В полуверсте от её тайника, пуская коней в намёт, городок окружало змеиное кольцо конных татар.

Гикая в предвкушении близкой добычи, ордынцы с лоснящимися от пота и жира лицами, по всему видать, ни мало не боялись ни всё реже пухкающих пушек на крепостном валу, ни возможного отпора конницы, — скакали беспечно и вольно, словно в своих улусах.

— Знают... — ожгла Агашку догадка, — знают, что казаки в Азове.

Вернувшись в потайную засидку, Агашка стаилась мелконькой куропаткой: прижала к груди дитёнка, загребла под себя старших.

— Татары, — только и молвила сразу всё уразумевшим детям.

С колокольни снова рванулся заполошный звон и тут же умер. Только тревожное эхо колыхало над майданом дым, да запоздало, сморено торкнулось Агашкиной ухоронки, чтобы тут, под пластом земли, найти себе пристанище.

Агашке на миг почудилось, что небывало громко стучит её сердце: она крепче прижала к себе чад и затаила дыхание — совсем рядом с потаённым лазом колыхнуло ветром дурнотравье да терновник: по кругу, повдоль крепостных стен скакало двое всадников, держа наголо сабли и перекинув через

крупы коней туго набитые перемётные сумы. Одна из них была дурно завязана, видно ордынец шибко спешил, и Агашка увидела знакомую зелёную рубаху, свисавшую долу расшитым шёлком рукавом и будто даже краешек своих красных сафьяновых чириков.

Татары между тем спешили к часовне, паперть которой была Агашке видна до последней балясины на крылечке, надеясь на новую поживу.

— Алла-а-а-а... — кричали татары, выламывая дубовую дверь голубца.

— А-а-а-а... — катилось по майдану, проникало за валы в далёкую степь: видно, с трудом давалась неверным та последняя преграда.

И вдруг Агашка обомлела: несколько желтолицых, щелеглазых воинов мчались к часовне с зажжёнными фитилями и, обезав святое пристанище, пускали пламя с той стороны, откуда задувал ветерок — и, весело галдя, отступили.

Светлый, почти призрачный дымок окурил купол, алые язычки огня заоблизывали стены...

Татары смеялись, — откуда-то волокли деревянный скарб и подбрасывали в охватившее полмайдана широкое огнище.

Агашка зажмурила глаза и, боясь застонать от боли, крушившей её сердце, пала на колени:

— Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое...

Грохот, шум, крики, — всё смешалось в единый страшный гул, и Агашка, преодолевая себя, глянула в ту сторону.

Дверь часовни распахнулась: на горящем крылечке в чёрном подрянике махал направо и налево саблей батюшка Михайла, а за ним, прижав к груди образа, стеная и плача, жались ребятишки и бабы. Двух или трёх ветхих стариков держали под руки, а четверо других, опиравшихся одною рукою на посох, другую, выставив вперёд себя — кто топор, кто рогатину, кто саблю — немо и сурово ждали уста и застыли каменными изваяниями, наподобие тех, что изредка высятся на скифских могильных курганах по дикой безмолвной степи...

— Отче наш... — снова начав молитву — заново, не слыша своего голоса, только замечая, как всё сильнее давит кровь в заушинах, зашептала Агашка. — ...Иже еси на небесех!.. Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, так и на земли...

Татары, не то глумясь, не то чего-то ожидая, стали полукругом перед папертью, куда уже падали горящие головешки, попадая на головы и плечи захваченных пленников, тыкали длинными пиками, норовя попасть в лики святых икон. Каждый раз, как только острие направлялось в ту или иную сторону, туда падал тяжёлый сабельный удар батюшки Михайлы. Он оттеснял собою мирян в узкий, оставшийся незанятым татарами промежуток между горящей стеною и гикающим чужестранным воинством.

— Бегите, Христа ради! — рванулось вдруг из его груди, а сам он ринулся к ближним ордынцам.

Двое из них упали, не успев поднять сабли, а третий, стоявший сбоку, рубанул по чёрному подрянику сплеча, по тому как раз месту, где теснился тот самый, могучий, повелевающий зов, воззавший живых к спасению...

Словно растерявшись, недоумевая, дивясь чему-то, отец Михайла выронил саблю, постоял мгновение и рухнул под ноги иноверцам.

Но этих нескольких мгновений, хвативших Агашке на то, чтобы перехватить дыхание, было достаточно, чтоб толпа детей и казачек без уже сметённых с земли стариков, — ринулась в сторону, рассыпалась по майдану, бежала к воротцам и карабкалась на валы.

Чёрными коршунами кидались вослед татары, рубили саблями, кого-то куда-то волокли, хватали и в криках, дыму было ничего не разобрать, казалось, рухнуло небо или перевернулась земля...

Когда почудилось, что всё стихло, откуда-то выволокли деда Безухого: окровавленного, без привычного посоха в руке. Поверженные чёрной немочью ноги плохо слушались старика, и дед то и дело падал на колени, но его тут-таки вздымали, хватали за бороду и обрывок рубахи и кричали что-то, показалось Агашке, на родном казачьем наречье.

— Енто ты, ты, собака, — скалил зубы седой басурман и, повернувшись к своим, каркал-гортанил что-то быстро-быстро, захлёбываясь слюною и снова тыча в Безухого саблей.

— Ты десять летов назад был в наших юртах. Я тебя помню...

И снова заклохтал по-своему, видно что-то решая, или в чём-то не соглашась.

— Ты, пёс, отец атамана?! — не то вопрошал, не то утверждал ордынец. Дед снова валился на непослушных ногах наземь и снова его рвали татары.

Откуда-то из толпы выволокли мальчонку-кугаря⁴, и Агашка узнала в нём Стеню — сироту Прокопа Молчальника.

Татары тыкали в спину казачёнка пикой, кололи саблей тонкую детскую шейку и, пританцовывая на кривых ногах, очень веселились.

— Оставь кужёнка, — поднял голову дед. — На што он тебе? Заместо его лучшей меня пореши...

В толпе раздался раскатистый хохот с гиканьем и приплясом. Потом, видно, что-то задумав, татары начали совещаться.

— Жить оставим его, — осклабился снова знакомый Безухого, — ежели ты отречёшься от веры своей поганой и Аллаха примешь...

— Чадунюшко! Христе ради! — взмолился вдруг дед и татары подумали, что он спятил.

Дед пополз на четвереньках к горящей часовне и, глотая слёзы, утыкаясь головою в пыль и пепел, рокотал:

— Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога...

Татары дружно хохотали, наступая на немощного, бормочущего невесть что, ползущего червем старика, одно имя которого когда-то внушало запретельный ужас их родным улусам.

— ...и знаменующихся крестным знамением, и в весели глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняй бесы силою на тебя пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во ад шедшаго и

поправшаго силу диаволу, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный, на прогнание всякого супостата...

Дед дополз до объятых пламенем ступенек обители, и татары перестали смеяться, заметно обеспокоившись:

— Шайтан! Безух! Стой тут! — закричал магометанин-старик, который допрашивал старого Черкашина. — Что, ворское племя, удумал?

Но было поздно.

Дед Иван снялся на свои непослушные ноги и, согбенный, чёрный и окровавленный, взял руки к небу.

Татары недоумённо умолкли.

И вдруг неведомая сила кинула деда в сторону, он ухватил горящую слегу или шесток, подпиривший навес над папертью; послышался страшный треск; искры, огонь, клубы дыма заметались в дедовой бороде, ухватились за седую голову и не то ещё живое дедово тело, не то призрак давнего воина встал во весь рост.

Горящим, сплошным факелом твёрдо шагнул он в гущу смешавшихся, отбивающихся от неумолимого огня татар и рухнул, окутившись высоким и чадным пламенем...

¹ чикилики — жемчужные нити, распущенные лопастями.

² саян — костюм (юбка и жакет в талию).

³ чепрак — дорогое украшение из золота, серебра, драгоценных камней.

⁴ куженок, кужёнок — подросток.



Первая столица донского казачества Старочеркасск сегодня

Юрий Ремесник



ЭХО ЛЮБВИ

Восьмой этаж,
Ключи под ковриком, –
Да пальцы холодом свело...
Сосед с лицом больного гномика
Выносит мусор, как назло.
За дверью ноет кот некормленный,
В квартире сизый полумрак,
Где день, разлукой обескровленный,
Не обоснуется никак.
Записка на журнальном столике:
«Я скоро буду.
Жди.
Люблю».
Полью герань на подоконнике.
Кота-беднягу покормлю.
Открою форточку в ненастье.
Присяду на твою кровать
И миг ворованного счастья,
Как неотложку, стану ждать.

Юрий Ремесник, член Союза писателей России (2001), поэт. Окончил кинотехникум в Алма-Ате, работал ассистентом оператора на киностудии «Казахфильм». Автор книг стихов «Живая вода» (1977), «В плену любви» (2000) и (2002), «Я с вами поделюсь...» (2004). С 1989 года Ю. Ремесником в соавторстве с певцом и композитором В. Малезиком написано более 160 песен. В 2005 году поэт стал лауреатом творческого конкурса, посвящённого 100-летию со дня рождения М.А.Шолохова.

С 1966 года Ю. Ремесник живёт и работает в г. Азове Ростовской области. Он — почётный гражданин г. Азова.

Юрий Ремесник

Знаю, жизнь – не сорочка на вырост:
Скоротечна она, как гроза. –
Но ещё в соблазнительный вырез
Твоей кофточки
пялю глаза...
Мне, ей-богу, смолчать бы об этом,
Чтобы жить не судимым толпой,
Только нет ведь страшной для поэта, –
Обнадёживать лживой строкой.
Да к тому же, на старой Террасе,
Хоть бранись, хоть пали из ружья, –
Я уже вам совсем не опасен
Молодые ревнивцы-мужья!
Я давно просвистел и проехал
Полустанки безумной любви.
Только эхо её,
только эхо,
Еле слышное, бродит в крови.

Я молод был.
И всё моё – при мне.
Я уходил, как неуч, от вопросов.
И взглядом, как поленом по спине,
Глядел мне вслед январь простоволосый.
Казалось, было нечего сказать
Мне вам в ответ – у истины отвесной.
Казалось, было нечего терять;
Да и терять – не страшно, если честно.
А ведь душа скулила: «Обернись!»
«Вернись!» – молила.
Что ж, душа не камень.
Ведь за спиною оставалась жизнь,
От сих до сих зачитанная вами.
А всё, что моим будущим звалось
Там, впереди, за пеленою зыбкой,
Не стоило не только ваших слёз,
Но даже вашей ветреной улыбки.

Любил тебя, тобою не любим.
Да так, что не спасала сердце
Мудрость.
Ночь заполнялась голосом твоим,
Твоей улыбкой озарялось утро.
Твоим дыханьем

Травы и листва дышали...
Или ты дышала ими?..
И забывались прочие слова –
Когда твоё произносилось имя,
Когда не Бога я боготворил,
А образ твой,
Отвергнув все начала.
Ты белый свет собою заслоняла,
А я – и темнотою счастлив был.
Но в той незащищённости земной,
В пространстве, переполненном тобой,
Лишь для меня
Не отыскалось места.
Не отыскалось места у огня,
Сжигавшего до самоотречения.
И та несовместимость
Для меня
Окажется
Единственным спасеньем.

Уже смешна нелепая попытка –
Привлечь твоё внимание на миг.
Какая сверхмучительная пытка –
Безадресная нежность глаз твоих!
Как рано моя юность отшумела,
И за пределом окаянных дней
Уже не я приговорён к расстрелу
Твоих очаровательных очей...

Конь весёлой моей удачи
Снова скрылся за окаём...
Посижу на крыльце – поплачу
От недобрых людей тайком.
Не о том, что живу в недоле,
В многолюдии одинок,
А о том, что и этой боли
Остаётся один глоток.
Что и в дальнем пути, и в ближнем
Мне, шагавшему дотемна,
Как и всем, не хватило жизни,
Чтоб испытать эту жизнь до дна.
Но и в ясный год, и в ненастный,
В зимнем холоде и в тепле
Я успел прикоснуться к счастью –
К счастью просто жить на земле.

Владимир Мостипан



БЛАГОВЕСТ К ЗАУТРЕНЕ

Отрывок из фенологического этюда «Грусть ли осень?!»

Наступает пора задумчивости и дрёмы.

Порой накапывают дождики да наскაკивает ветерок. Всё в листве: подворья, газоны, тротуары, улицы... Как не вспомнить есенинское: «... Клён ты мой опавший...», — от его бывшего столь красочного величия только и осталось охристая на земле листва. Однако же, зрелище — впечатляющее...

А рябина-то, рябина! «...Рябина красная, рябина вызрела...» Крупные её гроздьи — огонь, и — ни листочка: они — тоже в наземном пуховике.

Замодничала и ива, сменив зелёную причёску на жёлто-зелёную...

*«...Не грусть, а очень веет грустью.
В моём сознание раздвоенье...»*

«...Время как будто замедлило бег...» — По утрам уже туманы. Хотя?! — Дымчатая кисея. Отношение к туманам у людей разное. Для одних — это всего лишь досадная деталь к осеннему пейзажу. Для других — это тех, кто «с травинкой в зубах» смотрит на небо, так называемых небожителей, — посылаемый свыше божественный знак. Для третьих — загадочная загадочность, волшебное волшебство, предмет неясных, зовущих в «куда-то» природных явлений. Неуловимая отрешённость от привычного «мира сего».

Владимир Мостипан, член Союза писателей России (2002), прозаик, публицист. Окончил Ростовский горно-строительный техникум по специальности «техник-шахтостроитель», Краснодарский политехнический институт. С 1986 по 2003 гг. работал на Крайнем Севере в организациях нефтегазостроительного комплекса. В.И. Мостипану присвоено звание «Почётный строитель отрасли». Автор книг «Тёплый Север» (1994), «Чуткости струна» (1997), «Нового года солнце» (2000), «Из марева лет» (2001).

С 2004 года живёт и работает в г. Ростове-на-Дону.

ДОЖ_иловый 13/3-4

*«...Не видно ближайших околиц.
На небе не видно луны.
Невольников столько, невольниц
У этой туманной страны...»*

При тумане прячется порядком, если не надоевший, то очень уж примелькавшийся уличный пейзаж. Сокрыт он плывущей сизо-дымчатой влажной тканью. Клубы туманной материи поглощают всё и вся... Эховастей становится эхо. Чётче отзвук гула проезжающего транспорта. Из белёсой полутьмы нет-нет, да и вынырнет инопланетянин, трансформирующийся в человекоподобное существо...

Романтиков туманы зовут в самое своё нутро, вдаль, за дальние горизонты. Порой и не хочется, чтобы они открывались, а — подоле скрывали свою загадочность.

Для степного человека туман всего лишь мимолётное, ирреальное явление. Другое дело туман в лесу или тайге. Это, когда любители побродяжничать — подальше от города, когда уже совершенно не слышно его шума, и воцаряется интригующая тишина. Их окружает круто-сизая мгла. Таёжная даль сама по себе навевает не всегда радужное настроение, а тут — туман. Воедино соединены таёжные урёмы и мгла. Просвета никакого... Идут, нащупав знакомые только им тропинки. То и дело — загадочные видения, из которых, при подходе ближе, проявляются изваяния елей, кедров, лиственниц... Порой — буквально упираются в увитые багрово-красными корзинками плодов рябины. Оторопело, расширенными глазами смотрят на это невероятно красивое и в то же время какое-то гордое и неприступное в своей родной стихии чудо. Как тут не перевести дух, сорвав несколько горьковато-терпких ягод и положив их в рот... Во где вкус! Потом пришельцы долго смотрят на напитанное волей, царственно спокойное дерево. — Собрать бы рябиновых ягодок, да других даров, пока — полным-полно...

Каждое дерево или кустик, если его зацепишь — а не зацепить не предоставляется возможным, — осыпает порцией очень взбадривающей росы. Деревья и туман — как бы в обнимку, как бы во взаимопроникновении друг в друга. И, до того трезвый, ещё больше трезвеет человек в такой среде и помимо собственной воли чувствует себя не иначе, как частичкой этой среды.

Туманы — явление не вечное. Постепенно разряжаются. Приобретают свою исконную форму деревьев, окрестности. Туману ничего не остаётся, как вползти в низины, распадки, а потом и вовсе исчезнуть.

Уже во всю шестивие октября:

*«...Всё — в намеренье увядать.
Листки, уже теряя строгость,
чтоб не казаться свою убогость,
желтея, стали опадать...»*

Да желтея ли?! И салатнея, и розовея, и краснея, и бордовея. В совокупности то, что гений Пушкина назвал багрянцем. Красота кругом!

Опадать?! Это уже настоящий листопад. Уже не «тук-тук-тук», а «трах-трах-трах». Опавшая листва, умытая зачистившим дождём, — ещё свежа, ещё привлекательна. Таким образом ткётся наземный ковёр, если хотите — полог из опавших листьев, по которому так любят бегать дети, а взрослые — ходить, неизменно вспоминая как своё детство, канувшее в лета, так и всяческие приятные моменты в своей жизни. Очищается душевно человек, побывав много или немного или просто пройдя по частичке этой прекрасной осенней поры...

Осенняя листва плавает и отражается как в лужицах воды, так и в зеркале дочиста вымытого тротуарного асфальта. Оставшаяся листва — в некогда роскошных кронах полимонела. Лишь кое-где, как ностальгия по прошлому, зелень:

*«...Кое-где зелёные листочки
Летние всё празднуют пиры.
В осени — тире. Но большие — точки.
Незачем ей знак иной поры...»*

Но вот: «...Вновь природу одурачив, в осень — яркий летний день...» Не совсем яркий. — Вперемежку с тучками. Погожесь и тишина. На время они дают всему придти в себя. Стали тучки к себе располагающими. Примечательна их подсветка взошедшим солнышком. Подгоняемые неведомым пастушком, в динамике они.

*«...Облака, как лебеди плывут,
привнося в этюд свои мотивы.
Шорохи листвы то там, то тут.*

Их разносит ветерок игривый...» — Он появляется лёгкими кавалерийскими наскоками.

На небе — обосновавшиеся в осень страсти. Наскок кучевых облаков.

*«...По небу кучевые облака
Плывут, плывут. Куда?! Мне неизвестно.
Поплыть бы с ними, если — очень честно...»*

Осень красива в двух ипостасях: когда она горит огнём осенних красок, и когда уже опала листва. Не вся конечно. Кое-что осталось.

А?!

*«...Вишнёвый лист не спадает, свисает.
Вишнёвый лист. — В нём тепла отголоски...»*

А всё, что осталось, пронизано всепроникающей ершистостью, прохладноватой свежестью, свёрхчуткостью, когда — тишина. Не так близко Аксайский мост, а всенарастающий в особом напряге гул железнодорожного состава хорошо слышен... Слышен благовест к заутрене Ростовского собора.

Владимир Моисеев



СЕКСУАЛЬНЫЕ ЧАСЫ

Вот море, пляж...
мгновений сочность.
С ленцой осматриваюсь я...
Фигуры женщин –
как *часы песочные*,
и в них струится прелесть бытия.

Струятся в них песчинки света.
И я с прибойной полосы
смотрю хмельно на чудо это –
на сексуальные часы.

Ласкают берег волны пенные,
Расплавлен полдень на корню...
Струится в женщинах вселенная! –
Об этом твёрдо говорю.

Смотрю на женщин вожаденно –
Смотрю восторженно, без слов.
И каждую из них
я нежно
переворачивать готов...

Владимир Моисеев, член Союза писателей России (2005), поэт. Окончил Таганрогский педагогический институт. Автор стихотворных сборников «Качели», «Ржаные страницы», «Млечный парус».

Живёт и работает в г. Таганроге Ростовской области.

Владимир Моисеев

ЛЕСНОЕ ОЗЕРО

Был и хлебом я сыт, и бедою.
Красотой – никогда не был сыт...
Лепестковой прикрывшись водою,
мягко светит твой девичий стыд.
Разгулялись лебяжьи всплески
в тишине, что пропахла корой,
И берёзовые перелески –
как притоки стыдливости той...
Кто ты,
сбросившая наряды? –
Лишь мерцает стрекоз слюда,
и языческий свет обряда
плавно кружит лесная вода...

ВОЛК

Лось вздрогнул, двинул ветки головою,
оставив на коре
линялой шерсти клочок...
Опять из тьмы – тропу густого воя
торил к звезде вечерней
волк.

Он звал волчицу –
властно,
кротко,
нежно.
В нём дыбились горячие года:
Один он заполнял весны безбрежность...
Так звал,
молил! –
Что плавилась звезда.

СЕНО

В полушубке дедовском – степенно
сяду в сани и трягну вожжу...
Январём завьюженное сено
для коровы я домой вожу.

Я везу –
промерзший свет ромашек,

Дождливый 13/3-4

что легли когда-то в жаркий стог;
синий вечер васильков увядших
и девичий, еле слышный, вздох.

Давний август
вспомнился мгновенно:
мягкий шёпот, смех и кружева...
Я вдыхаю жадно запах сена,
снеговое сено
глажу я.

У сарая, где позёмка вьётся,
я беру охапку на плечо, –
сено в темноте
опять смеётся
и в лицо мне дышит горячо...

Послал ко всем чертям
я все идеи.
Послал туда и скромность заодно.
В моих губах
твои соски твердеют,
а в них – моё вино.

Смакую, пью.
Весь мир хмельной в ладонях,
и радость хмеля чую впереди...
Моя кормящая Мадонна,
не отнимай же –
от груди!

Ничего о тебе не знаю.
Но в радости и в тоске –
я в тебе увязаю,
как в зыбучем песке.
Погружаюсь в слепящий зной...
Сохнут губы,
стучит висок...
Но слаще воды живой –
любви
приворотный
песок.

Григорий Рычнев



«ВОТ НА Ж ТЕБЕ, МАТЬ!..»

Отрывок из романа «Покровский Спас»

Анна смотрела в окно и слушала спокойное тиканье будильника, — легла спать рано, потому и не проспала зарю. Колокольчик, едва стукнув молоточком раза два-три, лениво смолк. Надо было вставать: корову гнать в табун, печь топить... Да вот бы, вставая, не разбудить раньше времени посапывающую рядом дочушку. Раскудлатилась её коса на подушке, и мать боялась неосторожным движением зацепить разметавшиеся волосёнки. Хотелось, чтобы дочка ещё позоревала... Глянула на сонное личико Наташки и улыбнулась: пляшут на её губках и щёчках весёлые ангелочки. То ли птицу-счастье видела Натусик, то ли загодя радовалась наступающему дню... Прикоснулась губами к ещё совсем детскому уху, покрытому едва уловимым пушком, и ощутила пахнущее пресно-сладким родное тельце. Шестнадцать лет девке (на Спасовку исполнится). Ростом выдула почти вровень с матерью, а сама ещё в куклы играет...

«И-и... время идёт,— подумала Анна,— не ныне-завтра заневестится. А батя, кобель чертов, деньги поехал зарабатывать...»

Два года назад юхнул он куда-то на Север за длинным рублём — и ни слуху, ни духу. Сначала появлялся майской розой раз в месяц, а потом — закусил удила... Переказал один из станицы: подженился её Маркей в посёлке нефтедобытчиков. А плёл, божился, вражена: «Писать буду, Ньюска, атэгда на машине приеду...» Верила, дура, ждала с нетерпением, писала письма: «Вертайси скорей, а то, бають по хутору, какая-то комета на нас летить...»

Григорий Рычнев, член Союза писателей России (2005), прозаик. Окончил Новочеркасский ветеринарный техникум. Был селькором, а затем и штатным сотрудником вёшенской районной газеты «Советский Дон». Заочно окончил филологический факультет Воронежского пединститута. Автор книг прозы «Рассказы о Шолохове» (1992), «На казачьем хуторе» (1993), «Лазы-перелазы» (2003).

Живёт и работает в станице Вёшенской Шолоховского района Ростовской области.

Маркей ответил не сразу: «Ты мне дюже не пужай, а ежели дюже забои-си, када она лететь будет, — бросай хату, на кургане Бударка напасть ету переждёшь. Ды цилахван не забудь на случай дождя. А Наташка нехай ко мне едить, я иё в люди выведу. Нехай в носе дюже не ковыряет, я иё справлю. А про комету не задумываюсь: у нас тут вечная мерзлота, да и погреб есть из камней». Анна порвала письмо и больше о муже старалась не вспоминать...

Встала неслышно, на ноги карпетки¹ надела, чтоб по хате ходить, по-дошла к печи, чиркнула спичкой. Дрова, заложенные с вечера, затрещали, постреливали искрами. Надо было нагнать жару. Пока туда-сюда — корову пошла доить и в табун провожать. На рысях назад — к печи — затеялась с блинами. Два яйца разбила в мучной сбитень, долго кружила посевкой в кастрюле. Чуть-чуть тесто должно покиснуть; а тем временем в печи на углях уже калилась сковородка, — чаплей² выхватила её на загнётку³, кружанула по дну куском сала, плеснула корцом сбитень — и снова послала сковороду в печь...

Блины — самый скорый и вкусный завтрак. Блины русские с каймаком, яичницей, сметаной, вареньем! — Нет ничего лучшего для Наташки. А пойдёт ягода лесная, будет Анна с таким же увлечением лепить вареники с вишней, малиной, клубникой; только не каждая баба может вареники с петушиными гребешками по старинке делать. Наташку как-то сажала рядом, показывала, как гребешок этот лепится.

Раскраснелась Анна возле печи. Что-то затеяла она блинов, как на Меланьину свадьбу, — неужто, гостей каких-нибудь ждать придётся?

— На-ату-усик... вставай, в школу собирайся...

Наташка ворочалась, притворно хныкала (Это уж точно были повадки Маркея!)

— Вставай, тебе говорю, — сказала мать строже. — Я пока приберусь в хате, а ты за белой глиной сбегай — трубу подбелить надо. Погляди-кось, комель⁴ штой-то треснул. Ды чубарца ухвати жменю — пол присыпать. А я те щас такими блинцами угощать буду — пальчики оближешь, — тянула уже по-матерински ласково.

Дочка уселась в короткой детской рубашонке на край постели, — заплетала косу.

Анна перекрестилась:

— Ночку проспять — с радостью встать...

Наташку материн взгляд смутил:

— Ну, чё ты, ма... — и потянула на колени одеяло.

— Ху, ды не сглажу. Мне типерьчик глядеть ды радоваться, — не без гордости оправдывалась мать, вспоминая, что совсем недавно дочь была маленькая, а теперь надо девку класть отдельно... Всё думала, — маленькая, всё ближе к ней; под крылышко своё подгребала... А теперь, гля-кось, вырос птенчик, что вот вспорхнёт и полетит, и неизвестно куда. Но хотелось бы, чтобы дочь оставалась при ней. По хутору говорили: «Наташка — вся в тебя уродилась!...» И правда: брови тоже колёсами, тёмно-русые волосы с завитушками впереди, глаза — опять же её, Анны Житовой, как лепестки

голубых пролесок, что подснежниками называют. Одно настораживало: хитровато начинала щуриться, как будто чего-то утаивает, недосказывает матери. А мать же всё видит, за всё тревожится, догадываясь, что кто-то из мальчишек оказывал ей внимание, кто-то уже морочит её дитю голову... Но это она ещё выяснит.

— Ой-ей-ей... — схватилась Анна за чаплю. — Блин сгорел!

Наташка хихикнула, вскочила в одном исподнем белье, — пыталась из-за спины матери взглянуть на этот горелый блин.

Анне такой смех не нравился, замахнулась на Наташку ладонью. Натусик, ожидая шлепка, зажмурилась и присела, втягивая головку в плечи. Мать брала досада: и блин не удался, и Наташка не к месту скоморошничала. Чего тут было смешного? Прозевала, старая, блин — вот и всё.

— Ну, ты гля, чё наделала: сгорел...

— Так что ж, ма, я виновата? — надула щеки Наташка.

— Уйди, говорю, а то шас, — и продолжала причитать, — Тут прямо беда, а она га-га-га да га-га-га... Иди за глиной! И чтоб рысью, на одной ноге!

Наташка вновь хихикнула и попробовала прыгать на левой, поджав под себя правую босую ногу. Протанцевала вприпрыжку до самого крылечка. Поверх рубашонки подпоясалась материной завеской⁵ — пустилась бегом вниз к речке. Бежала с прискоком, с ветерком. Так и хотелось ей, распластав ручонки крыльями, полететь, как летают птицы...

Вот он, колодец с журавелью, а наискосок на лысом косогоре — копанка с белой глиной. Чего-чего, а белой глины в хуторе хватало: меловые горы тянулись по левой стороне Потайнова лога до самого Дона, выливаясь родниками, а из этих родников свивалась серебристо-звонкая речка с песчаным дном, петляя сквозь заросли леса с плешинами огородов и левад.

С хуторских белогорий в голубеющем просторе правобережных песчаных бурунов частоколом берез виднелись островки кудреватой зелени ендов, хранящие в своих оазисах-чашах золотистую воду, настоящую на опавшей листве ольхи, прибрежного ожерелья хвороста-белотала и вековых осоковых кочек на мелководе. А ещё дальше, где небо сливается с окоёмом задонских меловых кряжей, едва заметно курилась дымком гора Большой Стожок...

Всё это промелькнуло, пронеслось перед Наташкой мгновенно. — С разбегу прыгнула в котлован; завеску держала, как мешок под завязку, собирала ручонкой рыхлую глину. Нечаянно ухватила «чертов палец»⁶ — швырнула его от себя подальше: эти кремового цвета костяшки, действительно похожие на пальцы, — ходило предание, — грозу наводят...

В копанке, развороченной экскаватором, кто-то уткой-шипучкой подал голосок. Наташка на коленках, пачкаясь в глину, свалилась в рытвину и от удивления приоткрыла рот: на домотканой дерюжке, меж самородных⁷ камней, лежал свёрток, перевязанный ленточкой. Этот свёрток шевелился, и она отчётливо услышала изнутри его хриплый плач младенца.

У Наташки из завески вывалилась глина...

Она ещё больше раскрыла рот и с опаской оглянулась по сторонам:

— Есть тут кто-нибудь?

Котлован молчал. Тогда она, осмелев, ползком подобралась к свёртку,

взяла его на руки, отвернула уголок одеяла. И увидела личико малыша, который неожиданно вздрогнул, выпучив глазки, но тут же зажмурился от яркого света и зашёлся пуше прежнего неудержимым плачем — отчётливо и звонко, на весь бугор.

Наташка подумала, что кто-то приезжал за глиной и забыл ребёнка. А раз его забыли, то он будет — её. Находят же детей... Вот и она выросла: теперь и у неё своя лялька будет.

Малыш вертел головкой, силился выпростать из-под накрученных гуней⁸ посинелый кулачок.

— Да никого тут нету... — подбадривала себя Наташка, вскочила на край копанки — и в гору что было духу.

...В хату Наташка ворвалась, как угорелая, положила младенца на свою подушку и кинулась матери на шею, целуя её:

— Во, нашла! — стучало у Натусика сердечко, как у перепуганного воробья.

— Ху, ды погоди, свалишь... — замирало в душе у Анны.

— Нашла, ма!

— Ху, господи, чё нашла?!

— Ды в глинище, ма,— указывала на ребёнка Наташка.

— Ох, Господи... Боже мой,— ткнулась Анна головой в комель печи и переспросила почему-то шёпотом:

— Ты иде его взяла?..

— В самом глинище, ма!.. А дитё реветь, а я — хватъ! ды домой!

— А я те куды посылала? За чем? А ты чё принесла?.. — Анна схватилась руками за голову и качалась из стороны в сторону.

— Ой, Господи, отнеси его на место, отнеси кому-нибудь. Этого нам ещё не хватало! Ды головушка ты, моя горькая-а... Слышь, тебе говорю! — крикнула так, будто резануло её по живому.

Наталья схватила спелёнатого ребёнка и выскочила с ним во двор, затем — в сеник да на чердак...

Анна очумело закружилась по комнате: «Ой-ей-ей... Что люди скажут? Откуда дитё? А мать объявится? Украли... А-а... Да в милицию, да в суд потянут... Да нужен ли им с Наташкой чужой ребёнок? Некогда ей, Анне, с дитём вожжакаться... Работу что ли бросать?»

...Ничего плохого Наташка не сделала. Жалостливое у неё сердце — вот и всё. Сама бы тоже не оставила дитя на солнцепёке, а дочь ни за что отругала. Может, от того разнервничалась, что у самой жизнь не удалась? Верила в счастье, а оно всё перевернулось наоборот... Деньги разлучили с Маркеем. Заерепенлись вмиг богато жить, а оно-то, богатство, когда лад, и нечего боком на яр... и семья бы не развалилась. Будь они прокляты, эти «длинные рубли»! — швырнула Анна зольный рогач в угол.

Всплакнулось возле печи — и на душе стало легче. Ясно понимала, что понервничала не к месту, погорячилась. Где теперь Натусика искать с дитятей?

Григорий Рычнев

Выскочила на крыльцо, — звала дочку:

— Нату-усик... Натусик! Где ты? Иди в хату сейчас же! Он же, небось, дитё твой, голодный. Неси, щас молока согреем...

Мать знала, что Наташка спряталась где-то на сеновале или в катухе⁹ и непременно слышала мать.

Ребёночек как будто понял: весь сыр-бор из-за него, — пригрелся, притих на груди у Наташки, и она вернулась, вошла в сенцы. Двери — настезь. Слышно было, — мать гремела посудой.

— Ну, заходи, заходите... Кто же у нас там будет: мальчик или девочка?.. — совсем ласково говорила маманя, и губы её трубочкой вытягивались к ребёнку для поцелуя.

— Не знаю, ма, — сопливилась дочка, смахивая слезу.

— Ну-ка, давай сюда мне, — командовала мать, как ни в чём ни бывало. — Ишь, гля-кось, сиську ловить... щас молочка тебе дадим, — распеленав ребёнка, ещё больше обрадовалась. — Натусик, — девочка. Посмотри, какая хорошая девочка! Ах ты, моя хорошая такая, у тю-тю-тю...

Анна гладила малышку по головке, целовала в щёчки. — Ох уж это, материнское сердце... Только что ругалась, а стоило взглянуть на ребёнка, почуять его запах, дыхание — и она уже была готова любить и защищать это крохотное существо.

...Ребёнок засыпал у неё на руках с соской во рту. Капельки молока, задерживаясь на уголках губ, изредка скатывались на руку Анне... она не решалась пошевелиться. Малышка, видно, так изголодалась, что пришлось заполнять бутылочку коровьим молоком повторно... Плановала осенью избавиться от бурёнки, а теперь, похоже, придётся передумать.

Наташка сидела за спиной матери и едва дышала; глаза её горели восторгом, счастьем и новизной небывалого открытия: детей, оказывается, не только в капусте находят... Это она нашла ребёнка, и она его никому не отдаст!

«Вот оно тебе — счастье... Вот тебе, Аннушка, и подарочек, — думалось матери, и она, покачиваясь, уставилась куда-то в одну точку, чуть слышно тянула вековечную младенческую колядку-пестуху:

— А чу-чу, чу-чу, чу-чу...

Она уловила себя на мысли, что с найденным ребёнком всё в её жизни начнётся снова: и молодость, и любовь. Именно любовь, чтобы чувствовать рядом с собой крепкое мужское плечо. Но не было мужчины в хуторе, чтобы душа приняла кого-нибудь вместо Маркея. Вон их сколько, одиночек... да что ими делать? В тайне надеялась, что Маркей вернётся. Может, не изменил муж, не нашёл себе на Севере молодую... Может, что-то там с ним случилось?.. Наблюдая, как ребёнок засыпает, едва слышно продолжала:

*А чу-чу, чу, чу,
Я горошек молочу.
На чужом точке,
На прилипочке...*

Только на следующий день Анна в полной мере почувствовала неудержимый прилив радости. Ночь всецело развеяла сомнения и грустные думы о неожиданном подарке судьбы. Ждала, на брѣх собачий выглядывала в окно, но малышку никто не искал и не спрашивал. Теперь она твёрдо уверовала: девочку подкинула им с Наташкой какая-то тетеря. Родила втихомолку и кинула. Может, жизнь заплошала или родила от нелюбого...

Нет, у Анны не было таким матерям оправдания. По её разумению, «тетери» наказывают в первую очередь самих себя: лишают свою жизнь благодати.

Наташка со школы бегом. Вскочила в комнату. Запалѣнно дышала открытым ртом, всё ещё бледнея от опасения потерять найдѣныша... Упала на коленки перед кроватью, где лежал поперѣк перины спеленатый ребёнок, липуче вклянулась глазищами в личико малышки и прислушалась к её ровному дыханию...

— Ма, она мне улыбается... смотрит на меня... угада-ала!..

Анна притопнула ногой, плечи её подпрыгнули, рукой причѣску поправила назад:

— Натусик, у нас с тобой жизнь, как в песне... Помнишь, я тебя учила... Ну-кось, бери баян! — И запела, отрывисто дирижируя перед собой руками:

*Послала меня мать
За белою глиною.
Пошла — принесла
В подоле детину...*

Наташка ловко подхватила со своего ученического столика баян, накинула привычным движением на своё левое плечо ремень, и пальчики неглядючи побежали по белым кнопкам:

*Вот на ж тебе, мать,
За вою науку...*

Девичье плечо заострилось крылом птицы, баян вздрагивал на колене, подпрыгивал:

*...Кольхала ты меня —
Кольхай и внука!*

¹карпетки — носки шерстяные

²чапля — ухват для удержания сковородки

³загнѣтка — «полка», с которой ставят подают в печь чугуны, сковородку

⁴комель — передняя часть печи с дымоходом

⁵завеска — фартук

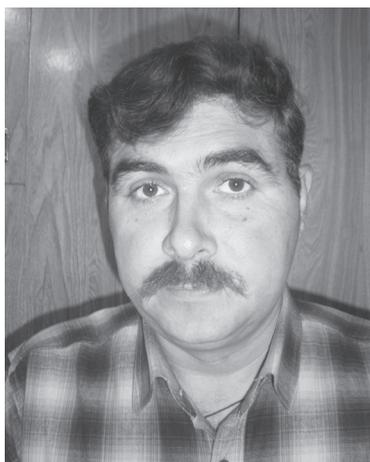
⁶«чѣртов палец» — окаменелости древних моллюсков

⁷самородный камень — природный, бутовый

⁸гуни — тряпѣ, поношенные бельѣ, одежда и т.п.

⁹катух — плетнёвый сарай, обмазанный глиной.

Юрий Карташов



Я ГОВОРИЛ ТЕБЕ О КРАСОТЕ...

СОВРЕМЕННОЕ ЧУВСТВО

Кружево слов и лохмотья реалий –
Всё уживается в быстрой интрижке...
Номер мобильный помадою алой
Пишется наспех в нечитанной книжке.
И не читали, и не любили...
Не созвонится им по «мобиле»:
Цифры плывут, из неверной помады, –
Недостижимые слов ароматы.
И остаётся на зябкой странице
Облако алое, словно в зарнице.
Так проплывёт неземное создание –
Невоплощённое воспоминанье...

Там, где пела канарейка,
Нынче чучело сидит;
Там, где звякала копейка,
Рубль зажатый не хрустит.

Юрий Карташов, член Союза писателей России (2007), поэт. Окончил факультет филологии и журналистики Ростовского госуниверситета. Автор книг стихов «Донник», «Казачий напев», «Английская свирель», «Две любви», «Степная держава», «В объятиях лунных».

Живёт и работает в станице Вёшенской Ростовской области.

И на счастье всё похоже,
На уют и на покой...
Только, нет – здесь живы ложью,
Нелюбовью и тоской.

СИЛА СЛОВА

Я говорил тебе о красоте,
Ты на себя со стороны глядела...
И большего томления хотела,
Чем в сновиденье, книге и мечте.

Но был рассказ прекраснее меня.
Очнулась ты, как в горестной пустыне,
И ринулась искать себе огня,
Достойного родившейся гордыне...

Речка тихая вольно бежит...
В перелесках беснуется осень.
И рубцами течение дрожит,
Словно солнца лучами зашит
Дух разлуки – неясен и грозен.

Но отбрось и сомненья, и прядь,
Что глаза затевают большие. –
Видишь, снова лощёная гладь!
Ни щербинки!.. Поближе присядь, –
Позабудь про печаль на отшибе...

Алексей Глазунов



ЖУРАВЛИК

Рассказ

1

Однажды, проходя мимо своей Alma mater, я встретил Аркадия Витальевича, декана. — За пятнадцать лет он несколько не изменился: высокий, стройный, с правильными чертами лица; лишь в смоляные волнистые волосы вплелись нити седины. Помимо учёбы нас с ним связывали спорт, музыка: мы играли в одной команде в баскетбол, он был руководителем вокально-инструментального ансамбля, где я солировал на гитаре. Доходили слухи, что Аркадий Витальевич был влюблён в нашу однокурсницу Элли Журавлёву (тогда, во время учёбы, никто этого не замечал), что оставил жену с дочерью, а через год их роман оборвался. Кто говорил, что Элла его бросила, а кто — будто она умерла. И, якобы, теперь он без семьи, без квартиры, живёт в студенческом общежитии, в маленькой комнатке.

— Здравствуйте, Аркадий Витальевич!

— Здравствуйте... что-то не припомню.

Я назвал себя. Разговорились. Аркадий Витальевич пригласил к себе в гости. В общежитие...

На меня накатили воспоминания далёкой студенческой поры.

Аркадий Витальевич в тридцать пять лет был доктором технических наук, имел более ста научных публикаций, несколько фундаментальных разработок. Был общительным человеком. На лекциях делал отступления: шутил, рассказывал байки. Заразительно смеялся от острот студентов. Всегда — ис-

Алексей Глазунов, член Союза писателей России (2007), прозаик, поэт. С 2009 года — член правления РРО СП России, председатель секции прозы. Автор книг прозы и поэзии «В ожидании высоты» (1996) «На грешной земле» (2000), «Журавлик» (2005), «Вдвоём» (2008), «Чертополох» (2010). Алексей Глазунов — победитель областных литературных конкурсов 1983 и 2008 гг. (последний — им. В.А. Карпенко в г. Волгодонске).

Живёт и работает в г. Сальске Ростовской области.

крёнен и справедлив. Не боялся сойти за панибрата. Он находился в курсе всех событий, и даже — кто с кем встречался. «Что ж, а если это любовь?» — весело говорил он. Помню, в институт Аркадий Витальевич приезжал на «жигулях». В те времена получил новую квартиру, мы помогали ему вселяться. Его жена, миниатюрная симпатичная блондинка, угощала нас крепким чаем с бутербродами. Рядом вертелась дочь, лет тринадцати, похожая на мать, — она лънула к отцу и безумолчно щебетала.

На пятом курсе к нам перевелась студентка Краснодарского института Элла Журавлёва. Высокая девушка, с длинными, до плеч, светлыми волосами, прикрывающими высокий лоб и бледные худые щёки. Дутые губы, узкие брови, длинные ресницы почти не знали макияжа. Глаза огромные, серо-зелёные, но всегда полуприкрыты веками, и от этого взгляд её казался рассеянным. Она была молчалива, редко с кем общалась, говорила плавно и размеренно. Едва уловимо, на французский манер, Элла картавила. В общем, — нисколько не похожа на наших разбитных, энергичных, громкоголосых девчонок. И, возможно, от этого её считали высокомерной. До приезда Элла жила на Черноморском побережье; иногда рассказывала о нём. Ей и кличку дали: «Медуза», — всем своим обликом, поведением она напоминала это морское существо. Мы, парни, на таких не заглядывались...

В общежитии Аркадий Витальевич занимал небольшую комнату на первом этаже. Часть её, отгороженная ширмой, служила спальней. В комнате был идеальный порядок, даже имелись живые комнатные цветы и аквариум с рыбками.

Мы расположились за столом и пили — не чай и не кофе... Вспомнили всех преподавателей, студентов моего курса, поговорили о жизни, помолчали. Не знаю, что побудило Аркадия Витальевича раскрыть свою тайну: то ли я вызвал в нём доверие, то ли возникла необходимость, зревшая в его душе многие годы, — высказаться перед кем бы то ни было и пережить ещё раз те давние волнующие чувства?..

— Слышишь иногда запоздалое: «Как жаль, что мы не встретились раньше...» или «Где ж ты раньше был?..» В жизни случается так: он её любит — она не замечает, она его любит — он нет. Люди ищут взаимную любовь и не находят. И потому, чтобы не быть затынутым в бездонный омут одиночества, человек согласен жить с добрым, симпатичным другим человеком без любви... Со временем привязанность слабеет, появляется неприязнь. И вот человек встречает (хотя может так и не встретить) настоящую, взаимную любовь! Любовь, которую не всем удаётся испытать. — Я встретил такую!

Быть может, я её выдумал? Может, чувства, копившиеся во мне, случайно выплеснулись на Элю?.. Я всю жизнь мечтал о такой женщине. Я не понимаю деловых, уверенных, пробивных... Слабость женщины делает мужчину сильным. В Эле я увидел... ангела. А какие у неё глаза! Мне казалось, что они затянут меня с кафедры в себя, как в аэродинамическую трубу. А буква «р» звучала, будто перекачивался по стеклу маленький многогранный хрустальный шарик...

Был праздничный вечер, посвященный дню студентов. Эля пригласила

меня на танец. Я чувствовал её гибкое тело, пахнущее дорогими духами. — Их запах ощущаю и сейчас... Она робко прижималась ко мне и вдруг, закатила глаза: с ней случился обморок. Едва удержал её. Усадил на стул. Принесли воду, нашатырный спирт. Эле сделалось лучше, она попросила отвезти домой. Я усадил её на заднее сиденье автомобиля, и мы помчались по ночному, залитому огнями, городу. Вдруг она обняла меня за шею... Я съехал на обочину и остановился. Как безумная, она твердила: «Я люблю Вас! Я Вас люблю... люблю!..»

Повалил крупный снег, занавесив наше авто. Я воспринял это, как знак, — снег засыпает всё, что было до нашей встречи и предоставляет возможность начать жизнь с чистого листа. Я стал отвечать на поцелуи...

2

На следующий день я бичевал себя: зачем поддался минутной слабости! Сколько было их, желающих пофлиртовать со мной. На лекции старался не смотреть на Элю, но будто какой-то чёртик твердил: «Взгляни, взгляни на неё, тебе же интересно, какая она сегодня?» Я крепился. Держался из последних сил. Даже не чувствовал, а знал: она смотрит на меня, чтобы внушить: «Ты мой!» А чёртик гвоздил: «Взгляни, взгляни...»

Эли на месте не оказалось. Что-то случилось? После занятий позвонил ей домой. Она ответила: «Мне плохо, Аркадий Витальевич, приезжайте». Эля вышла из подъезда в белой шубе, с распущенными волосами. В глазах её таилась светлая грусть. Села в машину.

— Что с тобой?

— Давайте отъедем.

Яркое солнце катилось вдоль трассы по снежному насту, ослепляя глаза. Остановились где-то на развилке, у обочины. Из радиоприёмника выплывал обворожительный баритон итальянского певца, песня захватывала наши чувства, устремлялась ввысь, планировала над степью, сбивала с ритма дыхание. Слезы катились по щекам Эли. Я подумал: возможно, это и есть настоящая любовь, тихая, нежная, тайная, не капризная, не кричащая о своём счастье на каждом углу? — Дотронулся до её щеки, вытер слёзы... Находясь рядом с ней, я подвергал себя добровольной попытке, недоступным её очарованием.

— Милая Эля, нам не стоит быть ближе, — как можно спокойнее сказал я. — Мы всё равно не сможем жить вместе. У меня — семья. Я никогда её не брошу. И пусть наши сегодняшние чувства останутся такими же чистыми... Будем дружить.

— Дружбы между мужчиной и женщиной быть не может! — Эля говорила так уверенно и назидательно, будто я был студентом — она преподавателем.

Нет, это не девчонка! Это — пронизательная, умная, молодая женщина.

Я обнял мою дрожащую студентку и стал целовать её влажные глаза, нос, губы, уже ничего себе не объясняя. Любовь — это туман, в котором бродят двое!

Не говоря ни слова, мы поехали на вузовскую турбазу. Сторож дал нам ключ от коттеджа, и мы, так же молча, пошли по глубокому снегу. Метров через двести девушка устала, остановилась, тяжело дыша:

— Давайте в следующий раз?

— Как?! — испугался я.

— Мне жарко, — она расстегнула шубу и спиной повалилась в сугроб.

И вдруг громко расхохоталась. Её голос был чист и звонок. Мне казалось, что от её смеха с деревьев осыпается искристый снег!

У коттеджа расчистили порог, и я попытался отпереть дверь. Замок не поддавался. Прошло пять минут, десять, пятнадцать — безуспешно! Я удивлялся, возмущался, злился, смеялся над собой. Обошёл вокруг, надеясь найти лаз. — Бесполезно. Эля всё это время смотрела на меня. Она попросила ключ и с лёгкостью щёлкнула замком. Дверь приоткрылась.

— Заходите, — улыбнулась она.

Я от удивления и радости оторопел! — Какая умница! И вдруг меня, будто ударило током: так значит она не впервые здесь?!..

— Ни за что!

Она, смеясь, стала швыряться в меня снегом. А я стоял окаменевшим памятником. Эля подошла ко мне, жаркая, покрасневшая, в распахнутой шубе, и принялась трясти за плечи. Я обнял её, и мы упали в снежную постель. Нас венчала зима! Это было наваждение: звучало множество приятных, ласковых, страстных слов. Постепенно смысл их стирался и уже не улавливался. Слова сливались то в неспешную, то бурлящую мелодию. Создавалась нежная, бесконечная музыка, которую не воспринимаешь сознанием, а только чувствуешь душою, сердцем... И ты отрываешься от земли. Паришь. И готов на всё!..

3

Мы выехали, когда зимняя морозная ночь швыряла в лобовое стекло яркие звенящие звёзды... Эля ласковым, пушистым котёнком льнула ко мне, о чём-то сладко мурлыкая. А я, протрезвев от любви, уже думал о жене, которую, наверное, по-своему любил, которой дорожил и не собирался бросать, но всё же предал... Как же я буду жить рядом с ней, смотреть в глаза, говорить, смеяться, пытаюсь удержать в себе пламенную порочную тайну? А тайна жгла и угнетала меня. Мне хотелось побыстрее загасить и развеять её, сознаться и раскаться.

Жена встретила меня приветливо, помогла раздеться. Поинтересовалась: почему я усталый и рассеянный — не заболел ли? Дочь делилась успехами в музыкальной школе. Я не стал портить вечер. Решил: раскроюсь завтра, сразу с утра.

А утром — бегом в институт, а там Эля: красивая, кроткая, нежная... и вновь сердца взлёт! «Это — любовь! — думал я. — А любовь оправдывает всё!»

В течение недели нас одолевал какой-то «африканский» кашель. Мы простыли. Но болезнь не удручала, наоборот: напоминала о невероятном, впечатляющем снежном вечере. Боялись, что нас вычислят (из всей аудитории — двадцать человек — только двое перекашливались). Наши лица сияли, а взгляды как бы говорили: «Тебе хорошо?» — «А тебе хорошо?» Мы были счастливы.

Но радость недолго длилась... У Эли поднялась высокая температура. Её увезли в больницу. Диагноз: двустороннее воспаление лёгких. Я поднял на

ноги всех друзей и знакомых. Ей делали уколы, ставили капельницы, но легче не становилось. Я проклинал себя! Я не вылезал из больницы. Встречался и с её родителями; похоже, они догадывались о наших взаимоотношениях.

Иногда Эля звала меня к себе — бледная и беззащитная. Я присаживался на край кровати, гладил её горячие руки и пытался улыбаться. Она брала мои ладони и целовала их потрескавшимися сухими губами.

— Я, наверное, умру, — проговорила она спокойно. — Ты придёшь ко мне на могилу?

— Ты будешь жить, мой милый Журавлик.

— Я ни о чём не жалею...

Мы с лёгкостью говорим о смерти, когда её холодное разящее дыхание далеко от нас. Мы смело философствуем о жизни после смерти. Мы иронизируем над приметами и «вещими» снами. Снисходительно относимся к религии. А суеверных людей нам жаль. Но так «героически» ведём себя до тех пор, пока не почувствуем вдруг резкую боль в боку, нарушение ритма сердца, затруднённое дыхание... Мы притихаем. И уже не так категоричны в суждениях. Один мой знакомый старик, лет восьмидесяти, как-то поделился мыслями: «Раньше копил деньги на дом, теперь — на гроб. Всё чаще хожу на кладбище: привыкаю». Наверняка, старик лукавил. К чему невозможно привыкнуть, так это — к смерти. А вот старушки, сидящие на скамейке у подъезда, более откровенны: «Этот помер, и тот помер, а мы живём!»

Я вспомнил Бога и стал беззвучно умолять Его продлить жизнь Эли. Я не знал ни одной молитвы. Обрывок из «Отче наш», услышанный мною в детстве от бабушки, всё же пытался мысленно донести до Бога: «Отче наш, Иже еси на небеси, да святится имя Твоё, да придет царствие Твоё... хлеб наш насущный... Господи... Господи!!!»

— Я не крещёная, — чуть слышно проговорила Эля.

Похоже, мы думали об одном...

— Ты выздоровеешь, и мы окрестим тебя. Хочешь, я буду твоим крёстным отцом?

Она молча кивала.

— Ты выздоровеешь, и весной я покажу тебе разливы красных тюльпанов. Хочешь?..

Её глаза теплели.

— Ты выздоровеешь, и в степи мы с тобою отыщем берёзовую рощу и сосновый бор! Ты веришь мне? Веришь?!

Эля вымученно улыбалась.

4

Отпевание проходило с утра. Позже совершали крещение. Мы дождались своей очереди. Подошёл священник в парчовой рясе. Он прочитал молитву, окрестил и омыл Эле открытые части лба, рук и ног. Затем надел ей золотой крестик с цепочкой, подаренный мной.

В машине я вручил ей огромный букет белых гвоздик.

— Пусть бережёт тебя Бог. Буду беречь тебя и я, мой нежный, милый Журавлик.

— Я обожаю тебя, мой крёстный!

Эля выздоровела. Я был счастлив!

Как только потеплело, я повёз её в Донскую степь. Проезжая мимо цветущих садов, остановились и не могли надышаться, наглядеться! В наших душах бушевала весна. Если и есть рай, то он на земле! Я чувствовал себя сильным, уверенным. Я кружил её на руках и кричал на весь свет о своей любви! И, конечно же, мы нашли в этот день и сосновый бор, и берёзовую рощу, и разливы ярко-красных тюльпанов. И хотя Эля была немногословна, я видел, как светился её взгляд, как сияла улыбка.

— Я могу сейчас пройти по небу, — сказал я. — Хочешь?

Эля посмотрела на меня с изумлением... Я встал на руки и пошёл ногами по небу.

— Ты куда? — кричала она мне. — Вернись! Я люблю тебя! Я подарю тебе сына!..

...Мы возвращались, когда солнце на стебле луча стало клониться к земле красным тюльпаном.

5

Как я мечтал о сыне! — Это была болезнь. Я чувствовал себя обделённым судьбой. А жена не могла родить наследника. В первую беременность ей делали кесарево сечение, и потому она боялась второй раз вынашивать ребёнка. Она чувствовала, что в последнее время в наших отношениях происходит какая-то ненормальность и что причиной тому, наверняка, другая женщина...

Я продолжал встречаться с Элей. Моей размеренной жизни пришёл конец. Во времени царил хаос. Я мог появиться дома поздно вечером, под утро. В мою системность и налаженность жизни ворвалась анархия! Но анархия желанная, страстная, бурлящая.

Эля часто рассказывала мне о море — спокойном и буйном, голубом и сером, ночном и предрассветном... Она обожала его. И приглашала ехать с ней.

Мы прибыли к морю. Эля сбросила босоножки и, легко ступая, как завожжённая, направилась к набережной. Она не оборачивалась и не смотрела по сторонам, похоже, забыла обо всём на свете и даже обо мне, а глядела только вперёд, в бесконечную притягивающую лазурь. Она умыла водою лицо и что-то нежно говорила морю, и оно отвечало ей лёгким рокотом...

Месяц отдыха на Черноморском побережье, это — шторм впечатлений и чувств! Эля чуть свет увлекала меня на безлюдный пляж, чтобы показать, какое чистое, прозрачное, нежно-голубое с розовым отсветом море. На закате цвет его становился синим с оранжевыми всплесками волн, ночью море было чёрным, с отражёнными огнями набережной, теплоходов и звёзд.

Мы побывали на маяке, поднимались в горы, выходили в море на паруснике, опускались с аквалангом на дно, поднимались в небо на парашюте. Она тащила меня в аквапарк, ботанический сад, на аттракционы, на дегустацию вин и обеды из морепродуктов. И старалась убедить, что рапаны, мидии, осьминоги, кальмары, креветки и крабы не хуже наших раков. Мы гуляли

по аллеям парка, где росли огромные раскидистые платаны, напоминающие своей мощью дубы. Я впервые увидел ленкаранскую акацию: небольшое дерево с нежно-розовыми цветами и головокружительным ароматом. — Мы назвали его Деревом Любви... Впервые услышал пение цикад, напоминающее звуки виолончели. И, конечно же, где бы мы ни были — всюду присутствовал запах моря, даже в полдень веяло терпкой морской свежестью.

Эля преобразилась: если в степи она была нежная, слабая, кроткая, то на море — сильная, уверенная, самостоятельная. Это была её родина, её стихия; здесь она чувствовала себя, как рыба в воде! Она безумолчно говорила, размахивала руками, взъерошивала мои волосы, обнимала и целовала меня. Эля желала, чтобы и я полюбил море так же страстно, как она. На квартире появлялись только к ночи. И продолжался шторм чувств!..

6

На пляже мы появлялись раньше всех. Я первым с разбега и с криком нырял в прохладное море. За мною входила Эля. — Её фигура напоминала изящный восточный кувшин, окунающийся в желанную освежающую влагу. Я осторожно дотрагивался кончиками пальцев до выступающего верха «сосуда», затем нежно, едва касаясь «глазури», вёл ладонями по хрупким овалам «кувшина», стремясь к нижнему изгибу, останавливал движение на самом узком месте, чтобы почувствовать волнующую середину, разделяющую верх и низ. И далее трепетно касался крутой линии, изгибающейся к нижней части, плавно заводил ладони назад и под доньшко, крепко сжимая и ощущая приятную рельефную форму... Губами прикоснулся к «сосуду», желая утолить жажду, опрокидывал и пил взахлёб и не мог напиться... Как это здорово — любить! И казалось нам: любовь в нас будет жить вечно! И страшно было представить, что когда-то закончится и она, как и всё на этом свете...

Пляж заполнялся обнажёнными телами, музыкой, запахом пива и рыбы, криками: «Эклеры! Мацони!» Я лежал на шезлонге под солнцезащитным грибок в полудрёме, а Эля сидела рядом, постоянно вертя головою и рассматривая море и горы, теплоходы и планеры, отдыхающих и фотографов.

...Я привстал, оглянулся. Её рядом не было... Прошёл к морю — нет нигде. Под грибок не оказалось её шляпы, халата и босоножек. Что могло случиться? Она появилась через полчаса.

— Ты где была?

— Хотела сделать для тебя сюрприз — заказать песню...

— Не надо мне сюрпризов! — Я дрожал на солнцепёке.

Вечером мы гуляли вдоль набережной, освещённой луновидными фонарями, глазели на звёздное небо, на светящиеся разноцветными огнями прогулочные катера, рассматривали вернисажи местных художников и лотки с сувенирами, слушали уличных музыкантов... Я подарил Эле белую розу. Мы зашли в ресторан под открытым небом. Было так хорошо и уютно сидеть вдвоём за праздничным столиком, пить лёгкое шампанское и смотреть друг другу в глаза!..

Даже за полночь жизнь отдыхающих продолжала бурлить. Мы вновь прошли по набережной, ласкаемые морским ветерком. Уселись на скамью под

Деревом Любви. Мимо проходили пары влюблённых. Вдруг Эля привсталала: «Я сейчас приду. Ты подожди меня, пожалуйста». Она догнала толпу молодёжи и растворилась в огнях ночного города.

Я сидел, как болван! И тут до меня, наивного, дошло: не море её влекло, а то, что связано с морем: подруги, друзья, любовники!.. Конечно же, она ехала к морю, чтобы встретиться с юностью. Невозможно из судьбы человека вырвать страницу жизни и заменить другой, пусть даже более яркой и впечатляющей. — Как я ждал её, как я ждал! Я умирал. Я становился стариком. И с каждой минутой — всё дряхлее и дряхлее...

Явилась она через час весёлая и счастливая. И стала нежно целовать меня. «Ты хочешь утешить?» — я едва добрёл до квартиры...

Утром проснулся поздно. Эля, уже одетая, стояла у двери, собираясь куда-то идти. Она смущённо засмеялась, делая круглые невинно-виноватые глаза и поспешно соображая, что же сказать? В руках у неё был пакет.

— Ты — куда?

— Купить к завтраку продукты...

— У нас всё есть.

Она, молча, выпорхнула за дверь.

Я стал за ней следить. Город с утра уже был полон людей: казалось, что они вовсе не ложились спать. Эля зашла в магазин, купила шампанское и коробку конфет. Вышла, перешла на противоположную сторону мостовой, юркнула в «Электротовары», долго выбирала электробритву, уложила её в пакет и — скорее на улицу. По ступенькам сбежала к набережной и, лавируя между прохожими, стала удаляться от меня. Я шёл зигзагами, глядел исподлобья, съёжившийся и злой. Кто этот — неизвестный третий?

Цикады, спрятавшись в корявых ветвях платанов, занудно-издевательски пилили на «виолончелях». Море рокотало высокомерно и насмешливо. Я ненавидел море! Последние дни пребывания у его булыжных берегов сделались для меня каторгой! Мне не терпелось вырваться из его оков, вернуться домой, в свои родные степи, и успокоиться. Стать, как и прежде, — сильным и уверенным в себе. Как безумный, я побежал за Элей. Я готов был догнать её и разорвать в клочья! Но она запрыгнула в маршрутное такси и укатила. Конечно же, легче, — не любить...

Я вернулся на квартиру и напился вдрызг. Очнувшись, увидел стоящую передо мной Элю. «Где ты шлялась?» — выкрикнул я и ударил её по щеке. Она не заплакала, а внимательно посмотрела в мои трезвеющие глаза. Не теряя самообладания, проговорила: «Сегодня ровно полгода, как мы близки... Подарок от меня — электробритва и билеты в дельфинарий. Налей шампанского».

Мирились мы в ванной.

А на следующее утро её опять не оказалось рядом.

Собрал свои вещи. Оставил записку: «Прости, я не могу соперничать с морем». И укатил домой.

Жена лежала в больнице: на нервной почве у неё случился выкидыш. Оказывается, чтобы удержать меня, она отважилась попытаться родить мне сына!.. В тот миг мне казалось, что ближе жены у меня нет никого. Мне всегда было с ней хорошо и спокойно. Но жена — не простила...

Через неделю я получил конверт. Это было первое и последнее письмо Эли, моего милого Журавлика.

«Любимый, пишу тебе первое своё письмо. Мне долго не давала покоя мысль: разве можно быть такой счастливой? Скорее — это вопрос, который возник в то время, когда мы были с тобой на море. Очень хотелось найти правильный ответ.

С того дня, когда мы начали встречаться, меня не покидает ощущение счастья, которому я отдалась до конца. Я поняла, что счастья не бывает много или мало. Оно или есть, или его нет. И ещё. У счастья две категории: настоящее и прошлое. Будущего счастья не бывает. И последнее. Я уверена, что счастья без любви просто не существует.

Моё счастье со мной. Иногда оно искрится, иногда прячется, словно играет в прятки, иногда парит над землёй, пленяя мою душу. Но не улетает. Ему достаточно свободы. Оно знает, что я его не держу. И если когда-нибудь ему приглянется другая душа — я с миром его отпущу. Может быть, оно и улетит. Но меня всю жизнь будет согревать мысль: «Я была счастлива!»

Один из самых счастливых дней — поездка в степь. Я думаю, и для тебя — тоже, иначе, ты бы не стал ходить на руках. Улыбнулся?.. Мне тогда казалось, что любовь везде: ястреб, парящий в облаках, любит небо, божья коровка — травинку, цветы — солнце, солнце — землю, я — тебя. Голова кружилась (быть может, и от выпитого вина). Мне представлялось, что планета замерла, перестала вращаться вокруг своей оси, чтобы только не мешать нам насладиться солнечным утром. Ты думаешь, я всё сочинила? Нет. Счастья сочинить... нельзя!

Эля».

...Аркадий Витальевич заваривал кофе. За окном светало. Позвякивали первые трамваи. Я размышлял: стоит ли взрывать свои чувства, чтобы испытать истинное, зачастую, молниеносное счастье любви и при этом лишиться семейного благополучия, душевного спокойствия?..

За ширмой кто-то заворочался на кровати... Вышел сонный мальчик, лет десяти, с волнистыми светлыми волосами. Подошёл к Аркадию Витальевичу и молча обнял его. А профессор, глядя на меня, счастливо улыбался.

Я опешил! И стал соображать, на кого же блондинистый мальчик больше похож — на жену или на Элли Журавлёву? Только теперь я понял, откуда идеальная ухоженность в квартире, — о порядке заботилась одна из женщин...

Мальчик протёр глаза кулачками и спросил: «Дедуль, а мы пойдём в Луна-парк?»

2004 г

Галина Студеникина



ИНОЙ ЛЮБИМОЙ НЕ БЫВАЕТ

ПРИЧУДА

Всё начиналось блеском, всплеском –
на грани чуда и фиаско...
Но складываю
в за-апрельском
божественную сказку.

Где тайны выдоха и вдоха,
пугливой обмирая тенью,
ловлю паденье...
Без подвоха –
божественное бденье.

Чтоб собирать – без остановки,
среди постпраздничной рутины,
в одно – обрывки и осколки
божественной картины.

От счастья – взгляд,
от Бога – голос,
от жизни – чудо... И – о, чудо! –

Галина Студеникина, член Союза писателей России (2008), поэт. С 2009 года — секретарь правления Ростовского регионального отделения СП России. С 2011 года — председатель секции поэзии. С 2013 года — заместитель председателя правления РРО СПР, главный редактор журнала «ДОН_новый». В 1978 году окончила Кишинёвский технологический техникум (моделирование и конструирование одежды). Автор поэтических книг «Невесомость», «Закон восторга», «Истинно сущее», «Ромашковый венок», «Привет от спаниельки» (стихи для детей), «Человек», «Свершение», «Алый сон». Живёт и работает в г. Новочеркасске Ростовской области.

Галина Студеникина

сложился, как казался, образ
божественной причуды:
я есть! Я буду.

ДО ЖИЗНИ

Солнце сникло... до завтра, пожалуй, –
луч последний в моих загрузил волосах...
Отчего ты, родной, до безумья усталый?
Что за ненависть в мутных глазах?

Понесли в преисподнюю черти!..
Наследил на душе –
так, хоть завтра, но смой:
если ты ненавидишь меня, аж до смерти, –
значит, любишь
до жизни самой.

САМАЯ-САМАЯ

Любимая – останусь до конца
твоей последней
(самой-самой!)
из любимых.

Ты, только, ты, в мечтах необратимых,
дождался бы крылатого гонца! –

голубку, с алой лентой для кольца.
К тебе летя на утреннем луче,
с моим согласием она не поспевает:
заря, смеясь,
в горячем небе тает,
а небо – горячей и горячей...
Но если не твоей – то и ничьей:
иной любимой – не бывает.

СОЛНЕЧНОЕ МОЛОКО

Струйкою парного молока
солнца луч медово душу полнит:
август счастья пусть она запомнит,
сладостный остаток пьёт пока!..

Августа и мёд, и молоко
я делю с тобою – всё нам вместе.

Знаю, и тебе от сладкой вести,
душу наполняющей, – легко.

Пей мою любовь,
большим глотком!
Я всё лето солнце выпасала –
счастье, как саму себя, спасала,
чтоб его делиться молоком.

СОЛНЕЧНОЮ ВОРОЖБОЮ

Не тоскуй,
не рви запойно
сердца – ни себе, ни мне.
Даже – при такой луне,
что наводит ладно,
стройно
рвань-тоску на волчье сердце.
Хоть и в полдуши луна,
но не сладится она –
бесится пусть, сердится
одинокую враждою...
Как бы ни был день далёк,
не тоскуй! Не одинок:
солнечною ворожбою –
я с тобою.

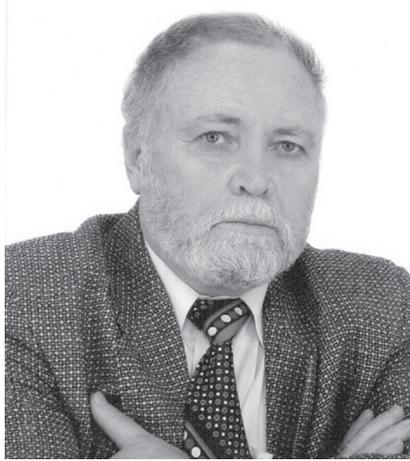
ЧТО НИ ПРОСИМ...

Солнце с неба
сбросим-снимем!..
Кружат птицы в небе синем –
и не в летнем, и не в зимнем...
синевою – в самом сильном.

Кружат-плачут, пух роняя,
наше небо охраняя
не от ада, не от рая,
но – от солнца,
но – от мая.

Плач высок, чистоголосен –
так прекрасен,
так... несносен!
Словно, счастье, солнцем оземь,
что ни просим, только – осень...

Николай Бусленко



ОЖОГ

Рассказ

В доме выстужено, холодно... Приходили соседи, знакомые... и священник из церкви приходил, молитвы читал. А к вечеру наш дом быстро опустел. Мы с братом остались одни.

Я сижу на шатком и скрипучем венском стуле, гляжу на неподвижное лицо старшего брата...

Посреди горницы, на грубо сколоченных табуретах, стоит гроб, обитый красным и чёрным ситцем. В нём — мой брат.

Грустно-то как, Господи...

Пахнет ладаном и свежими досками. Тускло горят свечи, расставленные по углам гроба. Серая кошка — старая, умная — ходит неприкаянно по горнице, беззвучно открывает рот, будто сказать что-то хочет, на что-то жалуется. За окном, на белые-белые, саваном лежащие сугробы, падают с низкого неба чёрные цветы... Ни в доме, ни в деревне — во всём мире не слышно ни звука, — мёртвая, прощальная тишина. В тёмном углу вдруг мигнули два маленьких, с просыное зерно, рубинчика: мышка появилась в кругу света. Кошка не бросилась, не рванулась, а только посмотрела в её сторону... Мышка встала на задние лапки, передними утирается — плачет, горюет.

Я гляжу на жёлтое лицо брата, на его руки, сложенные на груди... мне так трудно представить, что нет в них жизни, — ушла она, оставив тело неподвижным, мёртвым. И кровь в нём остановилась, и мозг застыл... «Нет

Николай Бусленко, член Союза писателей России (2006), прозаик, публицист, поэт. С 2009 года — член правления Ростовского регионального отделения СП России. Доктор политических наук, кандидат филологических наук, кандидат юридических наук, профессор Южного федерального университета, заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор нескольких книг прозы и публицистики. Живёт и работает в г. Ростове-на-Дону.

теперь у меня брата», — мысль, которая хоть и смутно, но уже обозначилась, уже зреет, явствует так узнаваемо, так навязчиво...

— Прощай, брат, — говорю я тихо-тихо, зная, что не услышит он меня, для себя говорю, а для себя громко говорить не надо. — Прощай... Ты был настоящим братом.

И пошли воспоминания... Как облака в небе — бесконечной чередой. Воспоминания — птицы памяти нашей. Они прилетают к нам вот в такие часы и минуты, когда тихо, и никого нет. Они садятся вокруг нас и дают на душу, дают, дают... Уже налетели. Вон как их много! Расселись по образам, что в тусклых, пыльных окладах, и на зеркале, побитом сыростью и временем, завешенным, — покойник в доме — чёрной тканью, и на часах-ходиках, где уж столько лет медведи-кузнецы куют, да никак не выкуют, какую-то поковку — может, счастье, а может, саму судьбу. И на печной зажётке уселось, сложив крылья, одно недобрых лет воспоминание.

...Лютая была тогда зима. Деревня наша, засыпанная снегом, в холоде и страхе стояла под немцем, а фронт лишь изредка и издали подавал о себе грохочущие звуки. Стёкла окон под мохнатым инеем, ничего сквозь них не видно, а так хочется поглядеть на зимний день, на снегирей, стайкой прилетающих в наш палисад. К вечеру мама принесла охапку дров, бросила их перед печкой, которую мы топили по вечерам, ради тепла, а варили пищу утром в большой печи. Дрова сырые, гореть не хотят, и печка дымит — по горнице ходит, переливается волнами горький дым.

— Это к оттепели, — сказала мама.

Тлеющие дрова разом вдруг схватились пламенем, печка наша загоготала будто дьявольским смехом, и тут же задышала теплом, и холодная лежанка, на которой я сидел, дрожа ознобно, в ожидании тепла, скоро затеплилась, зарадовалась. Не зажигая света, мы всей семьей так и сидели в сумеречной тишине, и только пурпурные отсветы прыгали, резвясь, играясь, по белым стенам, по образам, по нашим лицам...

— Мам, разреши у трубы посидеть.

Мама, в платке, обвязанном вокруг головы, в стёганке-безрукавке, словно не слыша, смотрела на огонь.

— Ну, мама-а-а... — клянчил я, растягивая слова. — Хоть трошечки.

Мама знала, что я, с какой-то дикой страстью, люблю смотреть на огонь, и уступила мне низенькую, ещё отцом сколоченную скамеечку, сама забралась на лежанку, где уже разлёгся, подложив под голову старую, с оторванной звездой, отцовскую будёновку, мой старший брат. Ему семь лет, но он уже рассказчик, прямо сказитель какой-то.

— Бог тебя, сынок, поцеловал. В самое темечко... — сказала ему однажды мама. Услышав это, я, не всё понимая, догадался, что сказала она что-то особо похвальное. Мне она ничего и никогда такого не говорила.

«Бог поцеловал...» Я посмотрел на икону святого Николая, перед которой бледно мерцала лампада, и Николай из-за стекла зачем-то строго погрозил мне поднятым пальцем.

Мама подала мне кочерёжку — удобную, с витой рукоятью, — отец когда-то отковал, — и сказала:

— Помешивай, а то погаснет... Когда жар нагорит, картошек на угли положим. Ужинать будем.

И я, помешивая дрова, глядел на огонь — такой быстрый, такой текучий, неуловимый. На горящих головешках появлялись всякие фигуры, они, меняясь, исчезали, снова возникали, и я узнавал в них то птиц крылатых, то зверей диковинных, то человечков в пламенных одёжках, а то просто огненных червячков, сплетающихся между собой и тут же расплетающихся.

А брат в это время сочинял вслух то ли сказку, то ли историю, — как они с отцом ходили на охоту, а мама слушала, не перебивала, всем показывая, что ей очень интересно. А знала же, что не был отец наш охотником, и никогда со страшим сыном не ходил на охоту... Она любила брата больше, чем меня. Так мне казалось...

«Бог поцеловал в макушку...» Надо же!

— Ух, ты, я-то и не знала куда зайцы прячутся... И что же дальше было?

И брат, польщённый маминым вниманием, вдохновенно продолжал рассказывать небылицы. Без перерывов, как по писаному.

Я уже не смотрел на потухающий огонь. Я оставил кочерёжку погружённой в тлеющие угли. Мне тоже хотелось послушать, о чём рассказывает брат, но тот говорил тихо, только для мамы, и я, прислушиваясь, ничего не мог разобрать... Мне как-то сразу и вдруг стало очень одиноко. Совсем они про меня забыли, подумал я. Какой-то гадкий червячок вполз в мою душу и так и этак извивался там, — никому я не нужен с этой кочерёжкой. Не нужен.

И тут я, тут... Сейчас вы меня узнаете.

Я вынул из тлеющих углей кочерёжку, а она — раскалённая, красно-малиновая...

— Тебя обжечь? — спросил я брата.

Брат только рассмеялся. Ох, напрасно он это сделал. Мне хотелось, чтобы он испугался и замолчал...

И сам я до смерти испугался того, что сделал. А что я сделал? — Раскалённым железом коснулся братовой руки.

Брат затих, а потом взревел от боли и тут же ринулся с кулаками:

— Убью!

И убил бы, он же старше меня почти на четыре года, но мама всё поняла. Она, спрыгнув с лежанки, закрыла меня собой. Отмщение не состоялось. И тогда только мой брат разревелся — так громко, так горько... Слезы горячими ручьями текли по его щекам.

Мама зажгла керосинку, нашла припасённый гусиный жир, стала осторожно обрабатывать обожжённую руку.

Я виновато забился в угол, молчал.

— Вылезай, ревнивец несчастный, погляди, что ты наделал... — говорит мама.

Я подошёл к брату и увидел на тыльной стороне его кисти огромный волдырь. Мне стало стыдно! Неужели это сделал я? И тоже залился слезами...

Раздался, громкий и настойчивый, стук в окно; мама тут же зачем-то задула лампу:

— Это немцы! Патруль! Дети, в постель!.. И чтоб — ни звука!

Мама в темноте сеней застучала засовом, — открыть дверь. А мы, не раздеваясь, юркнули на полати, под общее одеяло. Брат всхлипывал, плакал от боли, и я тоже плакал — от стыда, от вины, от той нелепости, которая только что произошла. И от страха, конечно.

В горницу вошли двое, светя перед собой жужжащим фонариком — ву-у-у, ву-у-у, ву-у-у-у... От них пахло морозной улицей и чем-то ещё, очень чужим и зловещим.

Немцы посветили по углам, спросили, нет ли в доме партизан.

— Что вы, пан офицер. И слухом тут про партизан не слышали... — сказала мама.

Луч прожектора заскользил по стенам, остановился на фотографии отца.

— Партизан?

— Нет, господин... Убит на фронте.

Похоже, таким ответом спрашивающий остался доволен.

Назойливое жужжание фонарика приблизилось к нашей постели. Я выглянул из-под одеяла, но ничего, кроме слепящего света, не увидел. И снова спрятался.

— Почему плачут дети?

— Они голодные, пан офицер. С утра ничего не ели...

Немца и этот ответ вполне удовлетворил.

Под страхом расстрела вошедшие предупредили маму, чтобы она, в случае появления партизан, сообщила о том коменданту или патрулю, или первому же полицаяу.

Немцы, наконец, ушли.

Мама, закрыв за ними дверь, перекрестилась на образа и бессильно опустилась на старый венский стул, на этот самый, на котором я сейчас сижу...

Ту ночь, брат, мы провели с тобой в слезах и обидах.

Брат никогда не напоминал мне о том, но я, когда видел шрам на его руке, весь заливался краской — мне было по-прежнему стыдно и жалко брата, стерпевшего тогда напрасную боль. И вот я встаю. Беру свечу, плачущую восковыми слезами в ногах у брата, подношу её к сложенным на груди рукам, — есть шрам, сохранился...

— Брат, прости меня... — шепчу я.

Я ставлю свечу на место и отхожу от гроба.

Прилёт на топчан, стоящий у глухой стенки, и только свёл глаза, как слышу братьев голос: «Что ж ты, брат, далеко так лёг... Ложись рядышком. Хоть раз спокойно поговорим».

Тут же и просыпаюсь. Нехороший сон... «А что ещё может присниться у гроба покойника», — думаю.

О, Боже, как хочется спать... Веки сами собой слипаются. Гляжу на часы

Николай Бусленко

— скоро три. Глухая ночь. И воспоминания мои, эти полохливые птицы, уже разлетелись...

Я опять прилѣг на топчан, и снова мне снится брат — зовѣт он меня, укоряет: «Что ж ты спишь, брат, и ничего не видишь! Я же горю...»

Вскакиваю...

Так оно и есть: загорелся гроб, горят на нём и ситцы, и чёрные цветы... С той свечи, которую я трогал, всё и началось — упала она прямо в гроб.

Хватаю покрывало... погасив огонь, открываю входную дверь и форточки — пусть выйдет дым. Дым вышел, а вошёл мороз — январский, крепкий, обжигающий... Рассветает. Я так и сажу — в холоде и горе...

Дивен мир живущими в нём, и дивен он уходящими из него.

*2011г., 30 января,
сан. «Нарзан», Кисловодск.*



**Мартовский пленум Правления Союза писателей России открывает
председатель Правления В.Н. Ганичев.
Москва. 2013 год**

Клавдия Павленко

Когда, слезой обагрены,
Так сладки,
так невинны сны
Про поцелуи и объятия!..

Ещё б глоточек той тоски –
Непозволительно-щемящей,
И тайны – светлой, настоящей,
И рвущей сердце на куски
Высокой нотою звенящей...

Пусть только раз ещё *судьба*
Положит руки мне на плечи,
Ещё одну подарит встречу,
Напомнит, – женщина слаба!..
И возразить пусть будет нечем.

*Упаси вас Бог познать заботу
Об ушедшей юности тужить...
К. Ванишенкин*

Понимаю, что глупо тужить
Об утраченном раз – навсегда.
И разумнее тем дорожить,
Что даруют года.

Ведь, как в юности, пахнут цветы
И сияет всё та же звезда
Вдалеке от земной суеты.
И гудят провода.

И рассветы, как раньше, свежи.
И росинки, как горный хрусталь.
И поспать бы теперь от души...
Только, времени жаль.

Чтобы вслед перекрестить,
Я лечу – дворами – птицей.
Не хочу тебя простить, –
Не могу с тобой проститься.

ДОЖ_иовий 13/3-4

Ты уходишь, чтоб забыть, –
Непрощённый, виноватый...
В голос хочется завывать:
«Да опомнись же, куда ты?!»

Ты уходишь... Ну, и пусть.
Не судьба. Отцеловала.
Жить с начала научусь...
Унижаться – не пристало.
Чтобы вслед перекрестить,
Я лечу – дворами – птицей:
Не хочу тебя простить,
Не могу с тобой проститься...

Онемели стиснутые пальцы...
Не ищи ту *прежнюю* меня –
Что, обиды долго не храня,
Вышивала образ твой на пяльцах.

Не ищи в туманности заката
Предрассветной свежести зари...
Посмотри! Включили фонари!
Слишком поздно.
...Я не виновата.

Осыпались, несобранными,
годы
И канули в туманах
сентябри...
Сгоревшие закаты
и восходы
Оставили рубцы
и волдыри.
Давно я к этой боли
привыкаю.
Иголкой, затерявшейся
в стогу,
Ржавею, ни о чём
не вспоминая...
Но позабыть – доныне
не могу.

Геннадий Колесов



РОССИЯ!..

Былинка

УМЕР ТРУБАЧ

Село степное, глубинное, малое, но изюминкой в нём — на редкость чудный духовой оркестр. Вечерами, в праздники, музыканты играли на площади перед клубом. Кружились пары, пелись песни; вокруг толпился, гулял принаряженный народ. Трубач выводил своё изумительное соло; барабанщик то сыпал дробью, то гулко ухал. Флейтист имитировал трель соловья, что жил у речки в низине... В дни печали, когда умирал уважаемый человек, уплывал за околицу вместе с похоронной процессией траурный марш Шопена...

Двадцать лет и без войны разорили землю, — обезлюдело село, заилилась речка, и ушли соловьи. На развалинах клуба — бурьян, шальные козы прыгают по спекшимся кирпичным глыбам... Забыты вальсы и кадрили. От всего состава музыкантов осталось двое: барабанщик и трубач. Похороны часты. Играют, как могут, всё тот же марш, — только тяжко дышит труба, не всегда в такт бьёт барабан.

И — умер трубач.

Скрипит телега, — длинна дорога через всё село... Бредёт за гробом трубача онемевший от горя друг, зачем-то тащит свой затёртый барабан. Уже подъём на кладбищенский холм рядом, — вдруг крик его: «Люди, как же без музыки? Нельзя так, нельзя!» Хрипит, задыхаясь, изображая трубу: «Па-папам...» — и — бух в барабан. Снова: «Па-папам...» — и удар.

Под такую жуткую музыку и засыпали гроб комьями глины. Не смог идти назад барабанщик, отказали ноги, — увезли на телеге.

И прозвучало на тризне: «Не трубач скончался. Умерло село».

Геннадий Колесов, член Союза писателей России (2007), прозаик. Автор книг «Родные люди», «Белый снег», «За дурью — дурь», «Полынный костёр», «Казаки — люди Боговы».

Живёт и работает в п. Весёлый Весёловского района Ростовской области.

ПОБЫВАЛ КАЗАКОМ...

В горбачёвские времена, когда народ потихоньку начал избавляться от давящего страха всеобщего доносительства, подвыпивший в праздничный день ветеран поведал историю о том, как чуть не изменил Родине.

Совсем немного повоевав, попал он в плен, где несколько месяцев пребывания в лагере довели его до полного истощения. Охрана лютая, бежать нет никакой возможности, а жить так хочется — в неполные двадцать лет! И тут на одной из проверок появляется вербовщик. — Старый казачина, одетый по форме; при шашке. С нагайкой за поясом приглашает добровольцев из числа казаков на службу вермахту для святого, значит, дела — освобождения России от большевиков. Седоусый, плечистый, поджарый, с таким напором произносит он свою речь, что мало-помалу потянулись из строя желающие послужить в его войске. Всё всерьёз: атаман спрашивает фамилию каждого, писарь тут же делает заметку в тетради.

«Была не была, думаю, запишусь, чтоб не сдохнуть, а там рвану на восток при первой возможности. Выдохнул, делаю шаг вперед: я!» Подходит он так неспешно, глазищами меня дырявит: «Чей же ты, казак, будешь, какой станицы?» Мне бы сбрехнуть, а я, как сдурел, правду рублю, — труханул чего-то: «Рядовой Сапко, деревня Бугринка, что под Воронежем». Он: «А ну ещё раз повтори». Я чуть тише: «Сапко...» Вижу, не то улыбается, не то ощерился, почти шепчет: «Наклонись-ка, я тебе чегой-то скажу». Только пригнулся, ка-ак он саданул меня в ухо, я и скопытился, — белый свет померк. Спасибо, хоть жив остался, — зарубить мог за милую душу!..

Потом сбежал-таки с полону, — бомбёжка была, провалило стену. Тётка одна выходила; наших дождался, до Берлина дошёл.

А на одно ухо с той поры, как казаком побывал, так и не дочуеваю...»

НОРМАЛЬНЫЙ МУЖИК

Едем с другом с Дона «в Россию» продавать свою бизнес-идею. Где-то между Пензой и Саранском глубокой ночью в маленьком городке, с трудом найдя гостиницу, размещаемся на отдых. Не тут-то было! — Какой-то пьяный вдрызг мужик, видимо старый знакомый коридорной, вступив с ней в перепалку, долго и грязно поносит её отборной матерщиной...

Утром, после практически бессонной ночи мы, возмущаясь, пытаемся высказать ей сочувствие: мол, этот дурак, алкаш, такую непотребщину изливал на женщину...

Выслушала она нас тактично и тихо так, устало, выдала фразу, враз зачеркнувшую наше благородное возмущение: «Да нет, нормальный мужик...»

Россия!

СВОЛОЧЬ КАПУСТЯНКА

Кисилёвка — глубинный степной хутор на самом востоке области. До Ростова более четырёхсот километров. Граница с Калмыкией и Волгоградской областью — рядом. Народ выживает, кто как может. *До Бога высоко, до царя далеко*, надеяться не на кого.

Мы гостим у родственников. Летний вечер, безлунно, громадные мерцающие звёзды переполняют небосвод, любуемся все вместе, забыв о застолье. Тут только я отмечаю: не работает ни один уличный светильник. Озвучиваю предположение, что в местной казне просто нет денег на их обустройство. Получаю ответ, совершенно оригинальный: капусташка — медведка, оказывается, слетается на свет; съедает рассаду овощей, подъедает корни... Вот и решили всем миром обойтись без подсветки, — пример местного самоуправления.

Зато, какие звёзды!

ЗАПРЕТИЛА СЕСТРА

В году в шестидесятом руководство школы решило повезти детишек из нашего глубинного села на экскурсию в далёкий Ленинград. До станции сто десять километров на санях за трактором, до Ростова на поезде, оттуда самолётом через Москву. Уточнили состав, руководителем делегации утвердили Дарью Григорьевну, неугомонного нашего учителя географии... Всеобщий подъём, подготовка и радость. А сестра её — Галина, восстаёт: «Дарька не поедет, не поедет Дарька!» Та возмущается: «Чего ты взъерепенилась?»

«Ага, самолет упадёт, дети побьются, — тебя ж посадят!..»

Милая наивность...

ПОЛОЖИЛ В КНИЖКУ

После уборки в колхозе, обросшем долгами, как дряхлый корабль ракушками, вдруг выдали зарплату сразу за целый квартал. Что делает в таком случае русский человек? Правильно! Обмывает столь значимое событие. Колхозный ветеринар Федя Буковкин уж точно не исключение из правил, — в доброй компании подошёл к этому делу со всей основательностью. Кто, когда и как довёл его до дому, он так и не вспомнил под пытками пришедшей с работы жены Татьяны...

Карманы Феде были пусты. Татьяна била его по щекам, брызгала водой в лицо, тёрла уши, многократно повторяя вопрос: «Где деньги?» Тот лишь глупо улыбался в попытке обнять любимую, но потом, видимо, что-то щёлкнуло в сознании, и он выдал-промычал фразу: «В книжку положил». Большого из него в таком состоянии не выжал бы и шеф гестапо Мюллер. За вечер её по-

иски в детских учебниках, журналах, альбомах, разбросанных по комнатам ни к чему не привели...

Разбуженный пораньше утром Фёдор не смог внести никакой ясности. Вместе пересмотрели каждую книгу в этажерке, на полках, вытряхнули старый двухтумбовый стол в веранде — всё тщетно. Не пошли на работу, не садились завтракать... ситуация накалялась. У жены росли подозрения, что обокрали друзья-собутыльники, и, естественно, возникал вопрос: не ходил ли милый друг налево? — Поводы для подозрений Федя время от времени давал... Тот лишь пил компот, клялся в верности и, чуть не плача, всё твердил вчерашнюю фразу: «В книжку положил».

Когда повальный обыск, не оставляющий сомнений в отрицательном результате, был закончен, Фёдор получил сокрушающую пощёчину, а Таня со словами: «Сволочь, гад, алкаш, разорил семью!» — упала со слезами на диван. Не разговаривали трое суток. Федя ежевечерне вяло перекладывал разбросанные по дому книги, мучительно обдумывал истоки сказанной по пьяни фразы. К исходу четвёртых не выдержал, сделав попытку подкатить к жене со словами любви и покаяния. Реакция была предсказуемой, отказ категоричным и, извините, грубым: «Иди ты, Буковкин, в задницу со своей любовью, разоритель сраный!»

Фраза оказалась ключевой. Федя вдруг закаменел, как был босым, в одних трусах рванулся в ночной двор и через минуту ликующе возвопил: «Есть! Вот они! Я ж говорил: в книжку положил!». Полетела во след в ночной рубашке и Танюша, — целовала-обнимала его прямо среди цветочной клумбы, прижимая к себе кровно заработанные деньги...

В дощатом туалете был приколотен к стенке старый посылочный ящик. Для известных нужд выделил хозяин несколько потрёпанных учебников по ветеринарии. В самом нижнем и был припрятан бесценный клад.

...Верьте, женщины, своим мужьям!

БЕДА

Яков Лазаревич, тесть моего друга-охотника, — добрейшей души человек, собачник, голубятник, артист и певец. Участник войны, запевала хора ветеранов, запомнился землякам исполнением песни о партизанах. Оно было таким проникновенным, что пожилые зрители плакали навзрыд. Плакал и сам солист. Годы...

Нам же он был надёжным помощником в деле создания уникальной породы охотничьих собак. Задумали мы получить потомство от фокстерьера Барса и спаниеля Жужи. Чтобы и лису из норы добывало, и птицу битую с воды подносило... Жужа содержалась во дворе у деда. Скрестили, стали ждать.

Глубокой осенью, в самую слякоть, в сумерках, иду с работы, догоняю старика. Потому, как один бок в грязи и походка совсем шаткая, легко определяю, что идёт он из «Ширака». Была в хуторе забегаловка с таким названием... Дед всхлипывает, слёзы размазывает, что-то бормочет про себя. Спрашиваю, не случилось ли чего? Тот долго наводит резкость, с трудом узнаёт меня и

Геннадий Колесов

плачет уже в голос: «Беда! Беда, Гена, такая беда...» Я участливо: «Кто обидел? Какая беда?» И слышу ответ, перемежающийся с рыданием в голос...

Помните, фирменное у Михаила Задорнова: «Готовы?»

Слушайте дословно: «Беда... Жужа родила двенадцать щенят, а у неё десять сосек, — двоих пришлось отдать. А-а-а...»

Куда там юмористу с его потугами, — в жизни всё куда забавнее.

АФОРИЗМ ПОМИДОРА

Ушёл в мир иной хороший добрый мастер, сварщик и сантехник Володя, известный поселку за характерный овал и цвет лица под именем Помидор.

Осталось в памяти немало количества людей, коих выручал он своим трудом и умением, одна его милая странность. Перед тем, как приступить к работе — будь это устройство отопления в крутом двухэтажном коттедже или простая перестановка раковины у старушки, — после осмотра объекта присаживался он на ступеньки перед входом, не спеша разминал, раскуривал сигаретку и глубокомысленно выдавал во всех случаях одну ту же короткую фразу: «Да... Работы тут до х-хрена...»

Спасибо тебе, брат, за твой нетленный фирменный афоризм. Мы теперь пользуемся им, нарушая авторское право. Прости.



Москва, 2013 год. Мартовский пленум Правления Союза писателей России. Выступает председатель правления Ростовского регионального отделения А.Г. Береговой

Николай Китаев



УЗОРЫ

Душа моя – Россия,
Заблудшая душа! –
Кошунственная сила
Надменного гроша
Тебя заколдовала
И подменила суть...
Живёшь ты
 как попало,
Чтоб выжить
 как-нибудь.

БАЛКОН

Пахнет чистым промёрзшим бельём...
Мой балкон – резиденция *утра*,
И поросшее за ночь бельём
Время дышит огнём перламутра. –
Сняв с лучей головные уборы,
Солнце входит в оконную ширь,
Где по стёклам выводит узоры
На прогулку мороз-поводырь...

Николай Китаев, член Союза писателей России (2008), поэт. Окончил Саратовское театральное училище им. И.А. Слонова в 1974 году. Работал в Барнауле актёром Алтайского краевого театра юного зрителя. Автор поэтических книг: «Камышовая топь», «Припади к роднику», «Дальний клин», «Запах дождя», «Нет берегов у половодий», «Эти радости земные», «Речные лампы».

С 1977 года живёт и работает в г. Ростове-на-Дону.

Людмила Малюкова



РЕВОЛЮЦИЕЙ «МОБИЛИЗОВАННЫЙ И ПРИЗВАННЫЙ»

(К юбилею поэта)

Как-то незаметно прошёл юбилей Владимира Маяковского — 120 лет. Не сказать, что о нём забыли, — вспомнили многосерийными телефильмами: остросюжетной мелодрамой Д. Томашпольского «Маяковский. Два дня», фильмом «Виктория», где героиня оказалась в «поезде поэзии Владимира Маяковского»; не осуществлённой до конца мечтой И. Духовичного снять триллер в двух фильмах «Лиля» и «Володя» и его записанной лекцией о жизни и творчестве поэта... Не прошла, конечно, мимо такого события публицистическая и научная литература: издана, например, интересная книга В. Дядичева «Жизнь Маяковского. Верить в революцию» (М., Алгоритм, 2013. — 447с.), которая включает труды последних двух десятилетий — времени борьбы за подлинного Маяковского... Всего не перечислить. Но очевидно: всё это не задело, не стало событием в полном смысле слова. Даже книга В. Дядичева — в разделе Интернета «отзывы» не вызвала ни одного отклика. Результат ли легковесного тиражирования многосерийной продукции на телевидении при отсутствии психологической глубины и дефицита художественного уровня, охлаждение ли прежнего высокого интереса к «чттиву» или нечто другое, обусловившее культурные сдвиги нашего общества в сторону крайнего понижения — всё словно приглушило прежний огромный резонанс имени Владимир Маяковский — первого поэта советской эпохи.

Между тем, его поэтическая судьба и сегодня не утратила своей остроты, а грандиозное творчество, не лишённое заблуждений и надрывных поисков, отражает во многом лихорадочный пульс катастрофического века. Об актуальности этой

Людмила Малюкова, член Союза писателей России (2008), литературовед, критик, доктор филологических наук. С 2011 года — член правления Ростовского регионального отделения СП России. Окончила в 1964 году историко-филологический факультет РГУ. Автор книг: «Русская советская литература», «Русская философская поэзия 1946 – 1980-х гг.», «Анна Ахматова. Эпоха. Личность. Творчество», «Поэтический космос Бориса Пастернака», «Русская литература. Забытые и неизученные страницы», «Под звон надломленной осоки», «И закурились бездны...», «Мы никогда больше не встретимся», «И покатылся с грохотом обвал...», «И с ним говорила морская волна». Живёт и работает в г. Таганроге Ростовской области.

трагической личности весьма метко заметил Э. Чесноков в статье «Победитель в гонке аэропланов» («ЛГ», 2013, №29). Акцентируя внимание на том, что сегодня «нет никого, кто мог бы воплотить собственные убеждения в деле», кто не менял бы своих позиций «меньше 3-х раз за последние 20 лет» — он пишет: «Условные коммунисты похваляют поэта за *«Стихи о советском паспорте»* и бесчисленное множество куда менее талантливых од революции... Условные либералы отмечают как одного из первых, кто указал на опасные бюрократические мутации молодой власти... Условные атеисты запостят на фейсбуке вирши *«Когда мы побеждали голодное лихо, что делал патриарх Тихон?»* Условные патриоты вспоминают неприятие Маяковским американского образа жизни. Условные борцы за нравственность — его донжуанский список...» В наше время поэт оказался удобен и нужен для всех, кто находит в его неоднозначном и мучительно противоречивом мире «созвучность» своим стремлениям и душевным порывам.

Конечно, многое в нём «устарело» и выглядит, как анахронизм — порою жестокий и беспощадный (*«Я хочу, чтоб перо приравняли к штыку», «Я себя под Лениным чищу», «Он ближе стал, он стал комсомольцем», «Если вождь зовёт, рука на винтовку ляг», «В России 4 лавры, 800 монастырей, 60000 храмов и соборных, и приходских, и домовых. Мы берём бесполезное богатство...», «Если попы помочь не хотят, без попов поповским золотом поможем», «Под красное знамя шагайте по быту»*...) Но то, что для нас сегодня анахронизм, для В. Маяковского в то тектоническое время связывалось с идеями великой справедливости, с верой в мировую правду и её красивую мечту; поэт признаётся в своём откровении: *«Что мне делать, если я всюю, всей сердечной мерюю, в жизнь сию/сей/мир/верил, верую»*.

Стих В. Маяковского остро-социален и сориентирован «на классовость» общества, он призывает к коренной перестройке души, куда «буржуазии» хода нет (*«Душу седую из себя вытряхни»*); поэту ненавистна медлительность времени, он постоянно подстегивает его. Всё — во имя грандиозной перестройки мира и рождения нового человека, которые в туманной дали уже маячили ему, соблазняя своими безумными видениями (*«Миры величавые/вижу —любой приходи и учись»*). Но этих миров поэт не увидит, как не увидит и чаемого им нового человека; они обернутся коварными разрушительными миражами: чем упрямее было движение вперёд, тем всё дальше уходили огни «миров величавых». — В реальности новый человек не поддавался поэтическому конструированию. В результате, В. Маяковскому пришлось «наступать на горло собственной песне». В непроторённом и перевёрнутом пространстве обитание оказалось не только неудобным, но и губительным. Последние месяцы жизни поэта были особенно драматичны. — Против него ополчаются представители РАППа, юбилейную выставку в Москве и Ленинграде бойкотируют (ни писатели, ни члены Совнаркома и других административных ведомств не пришли), пьеса «Баня», поставленная Мейерхольдом, была принята «в штыки», за рубеж его не выпустили, выступая в студенческой аудитории в институте Народного хозяйства им. Плеханова, он был поражён низким культурным уровнем молодёжи (ему шлют оскорбительные записки типа: «Верно ли, что Хлебников гениальный поэт, а вы, Маяковский, перед ним мразь?»); злопыхатели острят: «Маяковский, когда же вы застрелитесь?» В прессе ему внушают, что он исписался. Поэт постоянно находился на грани схватки и срыва. Его «любовная лодка» попадает в водоворот течения и разбивается. Круг жизни замыкается, — одному не разорвать железные тиски. Других, кто мог бы отвести удар, рядом не оказалось. Трагедия поэта подошла к финалу...

И всё-таки, если идти по пути концентрации революционных устремлений В. Маяковского и акцентировать внимание только на том, что сегодня нам представляется явлениями негативными, становится непонятно, чем и как объяснить такие высокие

оценки ему его современников, далёких от восприятия высокого пафоса революционных событий, тех, кто оказался в изгнании, и кому хвалить его было далеко не резон?.. М.Цветаева писала о нём: «Первый в мире поэт масс... первый русский поэт-оратор». А на смерть его отозвалась так: «Всё, всё, всё дело — в чистоте». Взыскательный критик Г. Адамович, который никогда не был близок В.Маяковскому, уже в 60-е годы из зарубежного далека заметил: «А талант огромный, редкий... На эстраде бывал неотразим... Но напрасно было бы искать в его книгах того, что люди ищут и находят у Пушкина или Тютчева, у Лермонтова или Блока».

Так в чём же величие и значимость поэта? Почему и сегодня его поэзия не утратила своей актуальности?

В.Маяковский — великий реформатор, который, пройдя через словесные и формообразующие трюки футуризма и решительно сбросив их, вышел на путь невиданных поэтических открытий и свершений. Истинный талант всегда прорывается к вечным эстетическим ценностям, — даже сквозь невообразимый мрак заблуждений и ошибок.

Конечно, время оставляло свою печать на всём творчестве поэта. Жить во времени, и обойти его ещё никому не удавалось. В.Маяковский не был исключением. И потому при всей устремлённости к абсолютным «новациям» сквозь экспериментальную канву его формалистических поисков, идейно-эстетических установок и эпатажей порою отчётливо пробиваются модернистские мотивы и образы, отзвуки их отдалённых интонаций и отсветы реминисценций. Так, поэтическая строка А. Белого «В небеса запустил ананасом» находит отзвук в раскалённой строке В. Маяковского «*Через секунду/встречу я/неб самодержца,—/возьму и убью солнце!*» («*Я и Наполеон*»). Высшая напряжённость образа-взгляда «обжигающего огня» объединяет поэтическое откровение А. Блока «Ты меня обжигаешь глазами/И скрываешься в тёмный тупик» с теми стихами пламенного поэта революции, в которых «*у барышни глаза громадные, как прожекторы*», а в иступлённом призыве: «*Люди! Будем! На солнце! Прямо! Солнце съежится аж!*» слышатся призывные интонации К. Бальмонта: «Идите все на зов Звезды!» или «Будем как Солнце!»

В группу футуристов В.Маяковского привела вера в формирование нового искусства и стремление создать школу мастерства грядущего времени. Однако попытки соединить футуристические установки самоценности поэзии, независимости формы от содержания с гражданским служением искусства в итоге привели к драматическим противоречиям. Проблема разрешения художественного новаторства виделась поэту в ином свете. В статье «*Два Чехова*» (1914) он утверждает, что ценность поэтического слова должна зависеть от «*степени соответствия*» его действительности, а отбор — строго определяться заданной темой; в то же время слово обязано следовать «*за вещь или явлением*», а не в обратном порядке, как требовали правила футуристов. Эти сформулированные принципы были положены в основу всего последующего творчества В. Маяковского, открывая, в отличие от умозрительных конструкций В. Хлебникова, такие значения слова, которые давали возможность почувствовать новые явления самой жизни.

Его приход в большую литературу был замечен в самом начале. Он входил в мир со своими темами, образами, крайне обострённым нервом и тягой к огромности («*Я величайший Дон-Кихот!*», «*Профланирую шагом Дон-Жуана и фата*», «*Сегодня я — Наполеон! Я полководец и больше!*»). Лирическому герою открывалась своя космическая родословная: «*Солнце! Отец мой!*», «*Луна — жена моя*», «*Земля мне любовница*». Такая глобальность представления трансформировалась в раскалённую трагедию поэтической души, вобравшей в себя всю катастрофичность распадающе-

гося миропорядка. Поэт, словно ланцетом, обнажал внутреннее состояние, вплоть до капилляров, гиперболизируя и обостряя его («*В сердце, выжженном, как Египет, есть тысяча тысяч пирамид*»). Весь мир предстал ему враждебным и разъятым на отдельные части («*Вся земля — каторжник/с наполовину выбритой солнцем головой*», «*Адища города окна разбили. На крохотные, сосущие светом, адки*»). В свою очередь эта рассогласованность мира нередко выражалась особой метрической системой стиха, где слова расчленились на морфемы, синтаксические единицы переносились из одной строки в другую («*Но ги-бель фонарей,/царей/в короне газа*», «*У-лица/У/догов/годов/рез/че./Че/рез/ железных коней/с окон бегущих домов/прыгнули первые кубы*»). Отсюда следовало эстетическое снижение высоких романтических образов («*А за солнцем улиц где-то ковыляла никому ненужная, дряблая луна*»). И даже классические розы в таком контексте становились «ядовитыми». Но в то же время появлялись и диссонансирующие интонации великой любви-страдания ко всей земной боли («*Земля! Дай исцелю твою лысеющую голову лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолотой*»).

Вопреки неоднозначности урбанистических мотивов поэтов-символистов, В. Маяковский концентрирует в них весь ужас неразрешённого античеловеческого бытия. В его городской панораме улицы проваливаются, как «нос сифилитика», автомобили «вздымаются, как рыжие дьяволы», а женщины «бросают поцелуи, как окурки». В катастрофически распадающемся пространстве поэт создаёт свою антропоцентрическую художественную систему. Отвергая Бога, как основу духовных ценностей общества, он провозглашает веру в Человека, в абсолютную ценность Человека, что, несомненно, его сближает с великими идеями гуманистического примата эпохи Возрождения.

Богоборческие мотивы в раннем творчестве В. Маяковского занимают особое место. При всей разноречивой вариативности отношений к Богу, он ближе всего к нигилистической концепции Ницше: «Бог умер». Однако причинность такой категоричности, утверждаемой философом («И это мы его убили»), не находит отражения у поэта. Его Бог — земной, со всеми пороками, человеческими слабостями и жестокосердием: холодно-равнодушный, мстящий и сентиментальный. В поэме «Флейта-позвоночник» он объявляется «*всевысшим инквизитором*». В отличие от поэтов-классиков, у которых он невидим, вне земного обозрения (так у Державина в поэме «Бог» не имеет лица, растворён во времени и пространстве), у В. Маяковского не только зрим, но имеет и вполне конкретные черты. В стихотворении «*Послушайте!*» лирический герой врывается к Богу на приём, целует ему «*жилистую руку*», и, плача, просит, «*чтоб обязательно была звезда*». А в поэме «*Облако в штанах*» Бог «*города на пашни рушит, мешая слова*», и «*ограбленный, идет карать*», крича «*о жестокой расправе*».

О ранней поэзии В. Маяковского можно с полным правом вести речь, как о поэзии отчаянного крика («*У меня изо рта/шевелит ногами непрожёванный крик*»), который претворяется в безудержное бунтарство. Бунт категорический и беспощадный, переходящий нередко в эпатажную грубость, направляется против всех слоёв и форм буржуазного мира: будь это «озверевшая толпа», именуемая «*вошью*» («*А если сегодня мне, грубому гунну/кривиться перед вами не захочется — вот/я захочу и радостно плюну, плюну в лицо вам*»); искусство, отделившее себя от насущных задач своего времени, воплощённое, например, в образе И. Северянина («*Как вы смеете называться поэтом/и, серенький, чирикает, как перепел!/ Сегодня надо/кастом/ крошиться миру в черепе*»), или «жирное тело» буржуа. При этом заодно порою отмечается или подвергается сомнению и традиционная культура («*Никогда/ничего не хочу читать*»). — Вызов бросается всему мирозданию.

Имя Бога включается в арсенал категорического отторжения. Его неприятие воспринимается не только как мятежный вызов, но и — безоговорочное уничтожение

(«Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою/Отсюда до Аляски!») Но, уничтожив Бога, и поставив на место его Человека, поэт не мог не почувствовать абстрактности такой замены. Поэму «Война и мир» он завершает уверением: «И он, /свободный,/ору о ком я,/человек —/придёт он,/верьте мне,/ верьте!» Поэт даже уточняет этот человеческий феномен: «настоящие люди,/бога самого милосердней и лучше». Провозглашает ему Осанну: «Славься, человек! Во веки веков живи и славься!» Но такой абсолютный универсализм не подтверждался всей действительностью. Подобные поэтические формулы становились лишь результатом романтического прогнозирования поэта. Что же касается самого поэтического «Я», то поставленное в центре мира болевой точкой, оно разрывалось резкой противоречивостью, эксцентричностью и рассогласованностью с действительностью. При всей многозначности перевоплощения («Я — площадной/сутенёр и карточный шулер!», «Я — тринадцатый апостол», «Я — равный кандидат, и на царя Вселенной, и на кандалы»), в нём преобладали интонации безысходности и отчаяния («Ору — а доказать ничего не умею»). Вероятно, поэтому поэма «Человек» (1916-17) завершается весьма мрачным предсказанием: «Погибнет всё. /Сойдёт на нет./...И только боль моя/острей —стою/огнём обвит/на несгорающем костре/немыслимой любви». Колоссальная энергетика В. Маяковского, казалось, способная преодолеть любые препятствия («Убьёте, похороните, — выроюсь!»), наталкивалась на неподдающиеся коренной переделке «адища» человеческого бытия.

Его прогнозирование о времени революции в поэме «Облако в штанах» («В терновом венце революций/грядёт шестнадцатый год»), возникшее гораздо позже на месте первоначального «года тринадцатого», открывало возможность советской критике представлять В. Маяковского как поэта-пророка, вооружённого стоицизмом и уверенностью в скорую гибель российского самодержавия. Однако трагическая обнаженность его души свидетельствует об ином. Поэма «Флейта-позвоночник» (1915) открывается безысходным откровением: «Всё чаще думаю —/не поставит ли лучше/точку пули в своём конце».

«Точку пули» он всё-таки поставит — через пятнадцать лет, когда убедится, что и вымечтанная им революция, перевернувшая мир, по существу ничего не изменила ни в сущности человека, ни в судьбе человечества, а его собственное «колесо фортуны» подвела к тупику...

Но вот революционный Октябрь свершился, и В. Маяковский — среди тех художников, которые приняли его безоговорочно. Поэт одержим новым временем. — Всё разнообразие жанров оживает в нём: поэма «150 миллионов», пьеса «Мистерия-Буфф», «Революция. Поэтохроника»; гимны, марши, оды, приказы, огромное количество сатирических и лирических стихотворений. Поэт работает в Окнах РОСТА... И всё — о революции с ориентацией на светлое грядущее. Конечно, он видит и её негативные стороны, но по-иному — иначе, чем многие его современники (М. Волошин, С. Есенин, А. Блок, Вл. Ходасевич). Иначе, чем А. Ахматова, которая писала: «Всё распродано, предано, продано./Чёрной смерти мелькало крыло». Это «всё» для В. Маяковского было неприемлемо: негативное в революции он рассматривал, как своего рода неизбежную жестокость или «издержки» старого мира, которые очень скоро изживут себя. В «Оде революции», обращаясь к этому историческому событию как многоликому чуду: «О звериная! О детская! О копеечная! О великая!», он отмечает и его двуликость: гуманистический характер («Ты шлешь моряков/на тонущий крейсер/туда,/где забытый/мяукал котёнок») и зловещую неуправляемость («Прикладами гонишь седых адмиралов/вниз головой/с моста в Гельсингфорсе»). Но завершается ода дифирамбическим откровением, противостоящим «изъявленным

злословиям»: *«Тебе, обывательская! — о будь ты проклята трижды! —/и моё/по-этово! — о четырежды славься, благословенная!».*

Характерно, что в поэме «150 миллионов» В. Маяковский растворяет своё поэтическое «Я» в многомиллионной революционной массе: *«150 000 000 мастера этой поэмы имя ... 150 000 000 говорят губами моими».* А на вопрос: «Кто назовёт земли гениального автора?» — отвечает: *«Так и этой моей поэмы никто не сочинитель. И идея одна у неё —/сиять в настоящее завтра».* Поэт верит, что революция идёт всемирная, против всех чёрных несметных сил земли. Изображение беспощадной борьбы предстаёт в гротескно-символической форме, где острая ирония сменяется патетической интонацией, приветствующей жестокость «боя» и неизбежную победу. Идеей непобедимости пронизана и пьеса *«Мистерия-Буфф»*, которая в постановке Мейерхольда разыгрывалась на площадях, возбуждая и «поднимая дух» жарко охваченных стихией масс.

При таком всепоглощающем подчинении музы делу революции обращает внимание одна из традиционных особенностей, связующих поэта «на уровне» власти с его предшественниками. Сам принцип зависимости остаётся неизменным — изменилась лишь сама структура «власть придержавших» наверху: если поэзия Ломоносова и Державина подчиняла себя служению абсолютистского государства с его сосредоточенностью власти в лице монарха, — Владимир Маяковский делает её служанкой партии, которая в его представлении есть воплощение народных чаяний и свершений, — тем самым нарушая заветы А. Пушкина о «самоценности» поэзии («Зависеть от царя, зависеть от народа. Не всё ли нам равно... Себе лишь самому служить и угождать»). Всем, кто не видит в революции светлого обустроивающего начала, В. Маяковский объявляет свой беспощадный бой, ибо *«только тот коммунист истовый, /кто мосты к отступлению сжёг» («Приказ по армии искусств»)*. При этом его сатирические опусы нередко лишены художественной объективности, спущены на уровень элементарного примитива (*«Рассказ про то, как кума о Врангеле толковала без всякого ума»*).

«Всю свою звонкую силу поэта» В. Маяковский отдаёт *«атакующему классу»*, его партии, о которой скажет в своей главной поэме: *«Партия — единственная мне не изменит»*. Между тем, многие лидеры власти уже с первых лет революции относятся к нему иронически, негативно. Он включает их имена (Ленина, Держинского, Троцкого, Урицкого, Луначарского...) в своё творчество, прославляет грандиозные начинания, но недоверие и отчуждение к нему не исчезает. За публикацию поэмы «150 миллионов» тиражом в несколько тысяч экземпляров Ленин причастного к этому Луначарского подвергает резкой критике. Организованный Маяковским ЛЕФ, в котором он делает попытки ограничить установленными канонами новое революционное искусство, советскими идеологами упраздняется.

Одну из причин такой неприязни к поэту новой власти весьма веско объяснил Е. Эткинд: «Вероятно, это определялось тем, что вожди революции ничего так не боялись, как революционной стихии: при её разгуле Россия становилась для них неуправляемой, Маяковский же — стал певцом этой стихии»...

Ирина Сазонова



НА ГРУСТНОМ ИЗЛЁТЕ

ДЕНЬ ТВОЕГО РОЖДЕНИЯ

День твоего рожденья
Снегокруженьем соткан,
Сказкой хитросплетенья
Белоузорных окон.
Гладкою амальгамой
Льда над живой водою,
Белым пареньем храма
Над маетою земною...
Проблеском вышней дали –
Робким излучьем света,
Пухом ажурной шали
На перезябших ветках.
День твоего рожденья –
Белозвездный вечер
С пиршеством утоленья
Предождиданья встречи,
С месяцем серповидным
Над сединой сугроба,
Где никому не видно:
Двое – седые оба.

Ирина Сазонова, член Союза писателей России (2008), поэт. С 2009 года — член правления, с 2013 г. — секретарь правления Ростовского регионального отделения СП России. Автор поэтических сборников «Муза вольного поэта», «Сотворены и кистью, и строкой», «Росчерком наши лица», «Сто имён», «Наследница апреля» и книг прозы «Ретро любви, или Вино превращается в уксус» и «Отдашь своим детям». Призёр Международного фестиваля русскоязычной поэзии «Дрезден-2007». Живёт и работает в г. Ростове-на-Дону.

Константин Полупанов



БЕРЕГИ СЕБЯ...

Отрывок из рассказа «Шаги слёз...»

...Мои друзья ждали возле КПП, мы прошли через турникеты и сразу направились в отдел кадров получать документы... Так, удостоверение, жетон получил, предписание в Псков — хорошо, что без перемен, справка о жилье есть, конверты финансистов здесь, ВПД (воинский проездной документ) к месту проведения отпуска и к новому месту службы на месте, и последняя справка по контейнеру — вроде всё; не потерять бы чего. Сейчас — в роту и — кланяться стенам училища до неизвестного времени, когда снова посетим их!

В роте ажиотаж: все делятся вчерашними впечатлениями о банкетах; прощаются, целуются; не успевшие собирают адреса электронных ящиков, которые, в отличие от номеров сотовых телефонов, не поменяются при переезде к новому месту службы. Некоторые, видимо, как и я, не понимающие происходящих в душе событий, молча, с холодным взглядом, пьют пиво в курилке...

В канцелярии ротного битком народу, кто старшине деньги дослаёт за выпускные альбомы, кто с ротным прощается. Подходит и моя очередь, я без улыбки подхожу к столу, — ротный встаёт.

— Спасибо, товарищ майор... — протягиваю я, понимая, насколько искренне говорю эти слова.

— Тебе спасибо... — столь же искренне говорит он, пожимая мне руку. — Ты не пропадай! Если что, звони сразу — поможем, подскажем...

— Обязательно! Спасибо, товарищ майор! До свидания... — не желая затягивать, говорю я: мы вчера уже простились.

— Будешь поблизости, заезжай непременно!

— Хорошо... — говорю я, уже выходя из кабинета.

Паршиво как-то. Вот теперь точно грусть перевешивает радость, погружая сознание в классическую мелодию уныния. Выхожу на крыльцо и прозрачно

Константин Полупанов, член Союза писателей России (2010), прозаик. Окончил Новочеркасское Высшее военное училище связи. Автор двух книг прозы.

Живёт и работает в п. Шолоховский Белокалитвенского района Ростовской области.

гляжу на разгорающееся лето. В ожидании Макса, Сани, Димки, которые всё ещё в очереди к ротному, спускаюсь в курилку. Беру бутылочку пива, из кем-то принесённого и поставленного на всеобщее употребление ящика, сажусь на лавочку, прикуриваю сигарету, открываю бутылку. Ни едкий дым, ни холодом обжигающее пиво, ни на секунду не отвлекают меня от собственных мыслей, неминуемых перемен в жизни...

Сигареты уходят одна за другой. Ребята постепенно, взяв пива, присоединяются к беззвучному состоянию тишины.

— Меня жена вчера чуть не убила! — говорит Саня, понимая, что молчание надо прервать.

— Что так? — спрашиваю я.

— Вчера, когда ты с певицей ушёл, я взял и ляпнул при жене, что тебе повезло...

Все засмеялись.

— Молодец! — сквозь смех говорит Дима. — Хорошая у тебя жена, коль жив ещё. Кстати, насчёт певицы, ты же с ней в гостиницу уехал?

— Угу... — улыбаясь, подтвердил я.

— Что «угу»?

— Ничего... — спокойно отвечаю я, зная, к чему клонит товарищ. — Нельзя мне! Заколдованный я...

— Не может быть?! — воскликнул Миша.

— Может, ещё как может! Магия...

— А-а-а...

— Б!!! — перебил я, посмотрев на пустую бутылку и часы, — пошли потихоньку, — время уже...

Мы встали, начали прощаться. Я обнял Саню Яценко, доброго и отзывчивого сослуживца, не раз выручавшего меня, затем Артёма из моего взвода и ещё двух ребят из четвёртого.

Подбежал Тимоха, маленький коренастый парень, который вчера праздновал выпуск с нашим взводом, хотя все пять лет отучился во втором. Он встал на побеленный бордюр, так как у нас была большая разница в росте, и обнял меня, упершись головой в плечо. Как-то не сразу понимаю, что он плачет. Он, кого, казалось, ничем нельзя пронять, кого редко увидишь в плохом настроении и без улыбки, сейчас плачет. Уже плачу и я... Он отслонился и еле понятно спросил: «Как мы теперь?» Я увидел его глаза, лицо, услышал полный растерянности голос, обнял его ещё крепче... А Тимоха без остановки спрашивает: «Я ведь скучать по тебе буду?! По всем буду?! Как теперь без вас?! Когда теперь свидимся?! Когда соберёмся?! Как мы теперь?!» Я не знаю ответов ни на один из этих вопросов и лишь в утешение ему и себе отвечаю: «Всё будет нормально, малой!!! Ты только береги себя... И со стаканом осторожней...» С двух сторон нас обняли ещё несколько человек. Кажется, мы долго так стояли, а когда распелись, я увидел слёзы на глазах тех, у кого, казалось, их вообще нет...

— Малой, береги себя... — повторил я и ещё раз ненадолго обнял Тимоху.

Мы идём в сторону КПП, и я пытаюсь вытереть глаза платком, но это не помогает. На меня удивлённо смотрят проходящие мимо первокурсники, потому что я, не испытывая стыда за эти слёзы, всё же надеваю солнечные очки, закрывая ими глаза и думая о том, что этим юнцам сейчас меня не понять, — придёт время и им расставаться, тогда поймут...

Алексей Сазонов



ФОРТУНА МОЯ БЕДОВАЯ

Всё колеблется, всё меняется:
Были лебеди, стали – вороны...
Не скажу, что мне это нравится,
Не скажу, что – в лучшую сторону.

Пониманием жизнь оправдана,
И Земля, по-прежнему, вертится.
Что потеряно, будет найдено;
А не слюбится – значит, стерпится.

Так Фортуна моя бедовая,
Прилетев синеокой полночью,
Стала брагой поить медовою, –
Почему-то с полынной горечью...

ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ

Дорога – для человека,
Ещё – для его коня:
Неважно, какого века,
Неважно, какого дня...

Рвёт ветер покров кибитки,
Весёлой забаве рад.

Алексей Сазонов, член Союза писателей России (2011), поэт. Автор книг стихов «Колеса» (2009), «Где-то за радугой» (2010). Победитель конкурса «Поэтические сезоны Калитвы» (2006) и литературного конкурса «Новогодняя карусель» (2010).

Живёт и работает в п. Коксовом Белоклитвенского района Ростовской области.

Алексей Сазонов

Подпрыгивая, пожитки
На кочках гремят-звенят.

С холма в крутизну откоса,
От солнца – в туманов стынь...
Нагруженные колёса
Безвинную мнут полынь.

Дорога, опять дорога! –
До неба – подать рукой;
Спросите-ка вы у Бога,
Где мы обретём покой...

ПРОДАВЕЦ СВОБОДЫ

Раз – торговец уличный
Праздному народу
На углу у булочной
Продавал свободу:

«Вот свобода следовать
За моря. – Полтина!
Рупь – свобода веровать
Во Отца и Сына..!»

Вот свобода новости
Слушать до упаду!
Есть Свобода совести. –
Никому не надо?..

Налетай, нездешние
Покупай товары!
... Не берут сердешные,
Ни за рупь, ни даром! –

Пожирают пряники,
Да плюют со скуки...»
Тут торговцу стражники
Заломили руки.

Грязью переулочной,
Разродимой, русской,
Повели от булочной
В сторону «кутузки».

Люди безучастным их
Проводили взглядом...
– Эх его, несчастного!
– Так ему и надо!

Анатолий Рощупкин



ЗАТМЕНИЕ

Рассказ

Когда вечерняя заря начала блекнуть и таять над лесополосой, на степном большаке остановился автобус. Из него вышел пассажир — невысокая, покрытая белым платком в крапинку женщина средних лет в длинной чёрной юбке. Проводив взглядом уезжающий автобус, она пошла в сторону деревни, дома которой виднелись невдалеке.

Заросшая повиликой и подорожником стёжка пролегла между жёлтыми полями, уже убранными и ждущими зяблевой вспашки...

Встретилась почтальонка, мать-одиночка Ольгута — розовощёкая, вечно чему-то радующаяся. Поравнявшись с женщиной, улыбнулась:

— Добрый вечерок, тётъ Дусь!

Женщина рассеяно посмотрела на Ольгуту, кивнула головой, но ничего не сказав, пошла дальше. Почтальонка поправила синюю сумку на боку и, продолжая улыбаться, зашагала дальше по своим делам.

Евдокия слышала, как уходящая Ольгута запела: «Ехали на тройке с бубенцами...», — это вернуло из забытья, навалившегося на неё с того момента, как села она в автобус на городской автостанции...

В этих местах Евдокия родилась и выросла. Здесь босоногой девчонкой бегала среди морёных холмов, по полям и перелескам. По этой самой дорожке ходила, сколько себя помнила: знала тут каждую колдобину, каждую ложбинку. Но сегодня шла неуверенно, иногда останавливалась и, как бы впервые, оглядывала колкуню, засыхающую стерню. В голове стоял непонятный шум, сердце то и дело сдавливала тупая, настойчивая боль.

Анатолий Рощупкин, член Союза писателей России (2010), прозаик, поэт. В 1972 году заочно окончил филологический факультет Елецкого пединститута. В 1981 – 1992 гг. работал в ростовской областной газете «Молот». Автор сборников стихов «Свет доброты» (1995), «До вечерней звезды» (1997), «Ещё надеюсь...» (2001), «Январская исповедь» (2006) и прозы «Земляки» (1996), «Поезд в деревню» (1999), «Прощание с ивой» (2001), «Сроки земные» (2004), «Колодезное эхо» (2007), «Последняя вьюга» (2009), «Между светом и тенью» (2010). Лауреат литературной премии имени В.А.Закруткина.

Живёт и работает в г. Ростове-на-Дону.

Перед глазами вновь и вновь возникали острые, расширенные глаза Старшего Брата, слышала его густой бас, достающий до самых печёнок: «Ты должна это сделать, — сделать, как говорится в послании нашего Повелителя...»

Вспоминая, Евдокия вздрагивала, закрывала глаза, но избавиться от этих слов не могла. «Ты должна, ты должна...», — било ей в виски, обостряя боль в сердце.

В который раз она перебирала в памяти сегодняшнее собрание, начавшееся с самого утра, гудящий бас Старшего Брата, гортанные выкрики его помощника, — рыжеволосого почти квадратного Никифора Федосеевича, заведующего одной из городских аптек. Люди, заполнившие большую комнату и коридор кирпичного дома, были возбуждены, глаза их устремлены вверх, все пели заунывную молитву о верности Повелителю. Влившиеся в Братство недавно пели по бумажкам, полученным от старосты Адамовны.

— Настало время жертвоприношения, — возвёл руки к потолку Старший Брат — огромный человек в чёрной одежде, обросший длинными русыми волосами с проседью. — Сегодня мы должны определить исполнителей воли Повелителя, соблюсти закон нашего Братства!

Евдокия, как и все, стояла на коленях, прижав ладони друг к другу, и вслед за другими повторяла слова молитвы, выученной за полтора месяца пребывания в Братстве. Потом слова эти слились с общим гвалтом, она потеряла их смысл, как и ощущение времени и пространства. Лишь непрекращающийся шум стоял в голове.

Когда были названы имена исполнителей, все встали и расступились, оставив пустым центр комнаты. В этот центр, освещённый ярким светом лампы-шара под потолком, по кивку головы Старшего Брата Никифор и Адамовна ввели трёх названных женщин, в том числе и Евдокию.

Каждой Адамовна сунула в руку по записке. Евдокия развернула свою и прочла: «Евгения и Софья, племянницы твои. Исполнить немедленно».

Стало смеркаться, и Евдокия заторопилась. Но голова ещё кружилась, ныло сердце; в ложине она споткнулась о ком земли, упала на обочину... Лежала на правом боку, чувствовала запах полыни и перезревших колосков, оставшихся на земле после жатвы. Лежала и краем глаза видела, как за кронами лесополосы торопливо прячутся последние лучи заката.

«Лежать бы так и лежать», — думала Евдокия. Ей не хотелось идти в деревню, где жили её племянницы: пятилетняя Женя и трехлетняя Сонечка. Вспомнив их маленькие смуглые лица, Евдокия заплакала. Ей стало жалко девочек, хотя их отец и её брат Сергей, откровенно не любил сестру, нередко прилюдно унижал её, подсмеивался, а как-то в далёкой уже молодости (Евдокия всегда вспоминала это с содроганием), подвыпив, стал её домогаться. Выручила сестра — Клавдия, неожиданно зашедшая в родительский дом...

Не жаловала Евдокию и Алевтина, полная, краснолицая жена брата, сосватанная в соседнем селе сразу после демобилизации Сергея из армии.

Оставшись без матери в четырнадцать лет, Евдокия сполна испытала сиротскую долю. Сестра Клавдия вышла замуж и ушла жить в большой деревянный дом к мужу и с Евдокией виделась редко. Поначалу Евдокия было сама зачастила в гости к сестре, но видя суровость и неприветливость её свекрови, ходить перестала. Муж сестры, Никонор, объездчик колхозного сада, невысокий, плотный,

с залысинами на большой голове, встречая Дусю на улице, игриво хмыкая, приглашал в гости. Под его пристальным взглядом девушка лишь съёживалась и молчала.

Однажды Никанор встретил её в березовой роще, далеко от деревни, и почти насильно усадив на раму велосипеда, повёз в сторону домов. Сначала расспрашивал о грибах, за которыми ходила Дуся, а потом затих и тяжело задышал над девушкой, крутя педали и наваливаясь мощной грудью на худенькую спину родственницы.

— Я слезу, остановите, — Дуся сделала движение, пытаясь затормозить велосипед, но тут же почувствовала сильный удар — нога попала на пень, невидимый в густой траве.

От напряжения, страха и боли она заплакала.

— Надо сидеть, а не дёргаться, — Никанор, не стесняясь, грязно выругался и остановил велосипед. Опустив его в траву, взял Дусю на руки и понёс на поляну, освящённую солнцем.

— Не плачь, сейчас пройдёт, — сказал уже мирно зять и начал растирать Дусину ногу большими сильными ладонями.

Дуся продолжала плакать. Ей хотелось встать и убежать, но нога болела, а жёсткие руки Никанора, словно гири, придавливали к земле.

— Сейчас пройдёт, — опять сказал Никанор и попытался улыбнуться. — И что ты меня боишься? Я же к тебе всей душой, а ты косишься да косишься. Кривой станешь...

Он было захохотал, но голос его дрогнул, зазвучал глухо:

— Я же тебя обожаю, дурашка, — Никанор всем телом навалился на девушку. — Да и как тебя не обожать — ты вон какая картинка, постатнее Клавки будешь...

Он прижался к Дусе, закрыв пахнущим луком и махоркой ртом её рот так, что она не могла дышать и только дёргалась под тяжёлым зятем, скользила по траве стоптанными каблуками сандалий, купленных на базаре ещё покойной матерью...

Евдокия лежала на земле, как и тогда, много лет назад, и перед ней представляли картина за картиной её сорокашестилетней жизни... Вот плачущая Клавдия умоляет никому не говорить про Никанора. Вот вихрастый, похожий на мальчика, тракторист Ваня стоит на пороге — пришёл свататься. «Знаю, что не дюже люб я тебе, — говорит Ваня и опускает голову; следом падают смоляные кудри, так я за двоих буду любить. Иди за меня, не сомневайся...» А вот и первенец, Костя, светлоголовый, в мать, розовенький, делает первые шажочки по двору между уток с курами. Падает и вновь встаёт. А вот и младшенький, Сёмушка, на шее у отца — машет маме оттуда жёлтым замшевым бегемотом, только что купленным в райцентровском магазине... Кости уже нет на белом свете, а Сёмушке завтра три с половиной годика стукнет. Евдокия не забыла об этом: в киоске возле автостоянки купила ему кулёк шоколадных конфет, который лежит в чёрной хозяйственной сумке.

Память уносит Евдокию ещё дальше... Вот молодое, с лёгким загаром лицо отца, убитого потом на войне под самым Берлином. А вот и мать с глазами святой великомученицы Варвары, умершая в начале пятидесятых от недоедания и сердечной болезни. Где-то рядом с ней и чуть позади то появляется, то исчезает лицо старшей сестры Елизаветы, застреленной отступающими немцами зимой сорок третьего года. Было ей всего шестнадцать...

Евдокия видит их как бы всех сразу; будто птица, летит она над деревней, оглядывая улицы, огороды, лощины. Вот и братов дом-пятистенка, крытый блестящим оцинкованным железом. Вот и маленькие племянницы возле погребка...

Женя и Сонечка! Как ударом тока, бьют её эти имена. Старший Брат приказал ей, Евдокии, принести в жертву Повелителю обеих девочек, так она выполнит великую миссию...

До этого момента она почему-то всерьёз не думала о том, что ей предстоит сделать. А вспомнив, ужаснулась и почувствовала, как вновь загудело в голове; на неё опять начала наваливаться неведомая тяжесть. «Должна сделать, должна сделать», — пульсировали в сознании слова вожака секты. Щёки Евдокии горели, в желудке ощущалось жжение. Она встала и уже решительным шагом, словно её кто-то подталкивал в спину, пошла к деревне.

Евдокия знала, что Иван вместе с Сёмушкой уехал к матери в соседнюю деревню, и смело, без опаски открыла хату. Зайдя внутрь, устало опустилась на дубовую лавку под образами. В пустой хате отчётливо слышался работающий сетевой радиоприёмник. Сначала была музыка, потом послышался шум большого зала и глуховатый мужской голос, откашлявшись, произнёс: «Уважаемые товарищи! Слово предоставляется генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР товарищу Михаилу Сергеевичу Горбачёву...»

Евдокия машинально вслушивается в аплодисменты, потом в курлыкающий голос выступающего... Откуда-то пришло осознание того, что звучат фальшивые, никому не нужные слова: так обычно выступал на собраниях, проворовавшийся потом колхозный бухгалтер Круцких. «Зачем он говорит? Он же обманывает. И никто не знает об этом, а я знаю», — думает Евдокия...

Перед глазами, как в ускоренном кино, замелькали лица Никанора, брата Сергея, старухи Адамовны. Никто из них не пожалел её, Евдокию. А почему она должна кого-то жалеть?

В сердце словно что-то обрывается, она плохо различает предметы, хотя в комнате горит электрическая лампочка под деревянным потолком. Евдокия смотрит в угол, где висят иконы. С одной из них на неё в упор глядит Спаситель, и под взглядом этим Евдокия съёживается и закрывает лицо руками.

...В аккурат перед самой Пасхой пришло страшное известие. В горах Афганистана от пуль моджахедов погиб сын Костя. Большая беда потрясла Евдокию так, что она не выплакала ни слезинки, и когда ездил с Иваном на станцию забирать цинковый гроб, и когда на этот гроб полетели комья глины и заработали лопаты могильщиков, и когда сидела она среди родных за поминальным столом.

— Поплачь, сестрёнка, — обнимая её и обливаясь слезами, шептала Клавдия, — легче будет. Что ж теперь делать, милая...

На другой день после похорон Евдокия поехала в город, в церковь. Своя, деревенская, давно служила складом горюче-смазочных материалов. Раньше в церковь она ездила только по праздникам, а теперь зачастила. Ставила свечи, размашисто крестилась, отбивала поклоны, шептала и шептала слова молитвы. В храме ей становилось не так тяжело, тоска по Косте немного притуплялась.

Как-то перед Троицей, на день рождения Кости, Евдокия опять приехала в церковь. Помолилась перед образами, поставила свечи за упокой души убиенного сына, не забыла про родителей и скончавшуюся позапрошлым летом тётку Марусю, пожертвовала рубль с полтиной на строительство храма. Выйдя из во-

рот церкви, она прошла несколько шагов, и вдруг в голову пришло, что сегодня Косте исполнилось бы 22 года. Она думала об этом и утром в автобусе, и там, у икон, а пронзила её эта мысль только сейчас, когда яркое солнце и тихий день встретили её в тополиной алле, когда услышала она звонкие голоса девчонок, — наверное, ровесниц Кости...

Евдокия присела на скамью в парке и начала вспоминать маленького Костю, его вихрастый непокорный чубчик. Вспомнилась старая потрескавшаяся балалайка, которую Костя таскал по деревне туда, где молодёжь собиралась на гулянку. Костя садился рядом с гармонистом Тимошкой Кочетовым, красивым чубатым парнем, и начинал бренчать на своём инструменте.

— А ну, девки, выходи в круг, — серьёзным голосом говорил Тимошка, — сейчас мы вам с Константином выдадим музыку. Давай, Константин!

Костя улыбался и от души лупил по струнам. Девки выходили в круг, за ними — парни. Тимофей заводил:

*Много снегу навалило —
По колено вязнешь.
Ты скажи, скажи, милашка,
Любишь или дразнишь?!..*

Вспомнив эту картину, Евдокия беззвучно заплакала. Слезы лились как бы сами собой. Спихотившись, она тщательно вытерла лицо носовым платком и поднялась, чтобы идти на автостанцию, — ехать домой. И тут к ней подошла благообразная старушка в тёмном сарафане и старомодных чёрных ботах.

Она будто ждала Евдокию, будто знала её давно. Запричитала:

— Худо тебе, ой худо! Вижу: большая чёрная птица пронеслась над твоим старшим сыночком. Вьётся она, когтистая, и над Сёмочкой. Надо прогнать птицу! Надо отвести новую беду...

Поражённая Евдокия будто окаменела, долго не могла произнести ни слова. И не заметила, как шла уже по тенистой незнакомой улице следом за старушкой, назвавшейся Анной Адамовной.

Именно в тот миг поселился в душе Евдокии страх. С этим страхом сидела она на веранде кирпичного дома, а потом и в самом доме, слушала и слушала Адамовну. Тому ли Богу она, Евдокия, молится? Нет, не тому! Другой есть Бог — настоящий. Повелитель. Ему надо поклоняться, чтобы спастись. Не все люди это знают, потому и неверно живут, несправедно. Беду в свой дом сами приводят...

Так она попала в Братство. Позже к ней приходили сомнения, возникали вопросы, но внимательное отношение к ней сердобольной Адамовны, доверительность улыбчивого обходительного великана, Старшего Брата, отгоняли тревоги, успокаивали, вселяли в душу уверенность: это — хорошие люди, у них — истинная вера, а значит, — правда.

Евдокии, обиженной жизнью, казалось, что она нашла свою пристань, близких по духу людей. Мягкая по характеру, Евдокия вскоре полностью погрузилась в мир Старшего Брата и его помощников. Она верила им даже тогда, когда ей сообщили, что в кассу Братства надо вносить все свои деньги и ценности. Всё, что имеешь. Ужасалась, но верила даже после одной бессонной ночи, когда Старший Брат призвал любить друг друга телесно — так завещал Повелитель. И все любили... Евдокия тоже... Кто-то разделял её, стаскивал кофту и нижнее бельё.

Она с трудом понимала происходящее. А в памяти осталась лишь группа голых сестёр, с расширенными безумными глазами, кричащих о чём-то и падающих на колени перед тоже голыми Старшим Братом и его помощником Никифором Федосеевичем...

...Внутри Евдокии продолжалось жжение, голова кружилась, предметы в комнате стали перемещаться, словно живые. Вот и кухонный нож, сделанный Ваней из полотна старой косы, вдруг сам собой оказался у неё в руке, и его холодноватая сталь подтолкнула к мысли, — надо идти.

Евдокия положила нож в карман синей, выходной кофты и пошла на улицу. Огородами она пробралась к дому брата. Дом стоял на месте избы, построенной руками отца; в нём родилась и выросла Евдокия. В душе на мгновение заворочался, заныл червь зависти и злости, раннее ей никогда не ведомый...

Изнутри дом Сергея был освещён ярким электрическим светом. Из раскрытых настежь окон слышался смех и звонкие голоса племянниц, каких-то взрослых людей. Включили проигрыватель. Когда зазвучал мягкий, сердечный голос Трошина, Евдокия вздрогнула, будто очнувшись от сна.

*...Я трогаю русые косы,
Ловлю твой задумчивый взгляд. —
Над нами весь вечер берёзы
О чём-то не слышно шумят.
Берёзы, берёзы,
Родные берёзы не спят...*

Евдокия присела на траву рядом с палисадником, который остался от старой усадьбы, и почувствовала, как громко стучит сердце. Оно быстрее, чем затуманенный мозг, вспомнило эту песню и то, что значила она в жизни Евдокии.

Песню по праздникам пел Ваня — человек малоразговорчивый, даже нелюдимый. Но, приняв пару-тройку стопок, муж сначала смешно, а потом всё увереннее и увереннее выводил: «Я трогаю русаи косы...»

Как-то ещё в молодости он всё же сказал Евдокии, что песня эта — точно про неё, жёнушку его ненаглядную. Она знала, что Ваня любит её, и много лет гордилась этой немногословной, но настоящей любовью...

В эту минуту, когда из открытого окна ещё звучал голос Трошина, она вдруг ясно осознала, что... нужна! И Ване, и маленькому Сенечке, и усопшему Косте — чтобы помнить о нём, словно о живом...

Песня закончилась. В наступившей тишине Евдокия мысленно спросила себя: что она делает здесь? Зачем пришла сюда?

В это время на веранду дома выбежали маленькие племянницы. Крича и смеясь, они побежали вдоль забора в сторону Евдокии. Она даже не успела встать, как они увидели её, кинулись, повисли на шее с двух сторон.

— Тётя Дуся, пойдёмте к нам, — бойкая Женя тянула тётку к свету, к людям, к вновь зазвучавшему проигрывателю, а маленькая хрупкая Соня обняла её за голову смуглыми ручонками.

На веранду вышел брат и стал звать детей.

— Папа, а к нам тётя Дуся пришла, — крикнула из темноты палисадника Женя.

— Где вы там со своей тётей Дусей? — умиротворенный голос явно подвыпившего брата как бы объединил Евдокию с племянницами. Сердце кольнула

радость, но, вспомнив, зачем она пришла сюда, Евдокия ахнула и отступила назад. Она наклонилась и торопливо поцеловала в головки одну, потом другую девочку и быстро пошла среди кустов смородины по едва угадываемой в темноте тропинке.

— Тетя Дуся, куда вы? — тоненько закричала Женя. — У мамы же день рождения...

— Дусь, ты что, зайти, что ли, хотела? — громко спросил с веранды Сергей. — Так заходи, лишней не будешь...

Это «лишней не будешь» догнало Евдокию, стегануло, будто кнутом по спине, и она побежала, уже совсем не разбирая дороги. Больно ударилась плечом о старую раскоряченную вишню, с которой в детстве вместе с Сергеем сгрызала клейкую янтарную смолу.

Ударившись, Евдокия не удержалась на ногах и упала на ручную тележку, стоящую возле ствола вишни. Падая, она почувствовала, как что-то кольнуло под ребро. Она поднялась и побежала в сторону своей хаты...

Лишь зайдя в сенцы и опустившись на скрипучий деревянный диван, который Ваня всё никак не мог починать, она ощутила слабость и разгорающийся пожар под левой грудью. Сунув руку под кофту, поняла — кровь, хотя догадалась сразу, что, падая под старой вишней, наткнулась на лезвие ножа, лежащего в кармане кофты...

Рана почему-то не испугала Евдокию. Она вытащила из кармана и бросила на диван окровавленный нож, прошла в хату. Порывшись в комод, нашла чистое полотенце и сунула его под грудь. Потом легла на кровать. Их с Ваней кровать.

Она лежала на спине и вслушивалась в какую-то радиопостановку. Потом радио замолчало и стало слышно, как тикают ходики на стене. «Тик-так, тик-так», — кошачьи глаза бегали туда-сюда. В темноте Евдокия этого не видела, лишь вслушивалась и вспоминала, как маленький Сёмушка любил подтаскивать к стене табурет и залезать на него, чтобы побаловаться часами.

Воспоминание о сыне взбудоражило Евдокию. Она хотела подняться, что-то сделать, может сходить к соседке Райке Зиминой, у которой в доме был телефон и позвонить в больницу... Но сил уже не было. Глаза всё плотнее и плотнее наполнял туман.

Она лежала ещё час или два, временами приходя в себя, а потом снова теряя сознание...

Очнувшись в очередной раз, услышала, как загудел мотор подъезжающего Ваниного мотоцикла, и тут же стих. Послышались голоса мужа и маленького сына.

Евдокия напрягла все оставшиеся силы, чтобы подняться, позвать их, обнять, повиниться за всё, в чём считала себя виноватой. Муж простит, поймёт.

Она радостно вдохнула всей грудью, улыбка пробежала по её лицу, но выдохнуть уже не могла. Не могла ничего. Лишь белое, огромное, совсем не горячее солнце стремительно приближалось к ней, избавляя тело от боли, а сознание и душу — от затмения, которое терзало Евдокию всё это время...

июнь, 2013 г

Кнарлик Хартавакян



РАСПЛЕСНИТЕ ЛАЗУРЬ

Еле видный лазоревый цвет,
Словно бисер, рассыпан по лугу.
Не дивит он сияньем округу:
То ли есть он в траве, то ли нет...

Ах вы, цветики, вешние сны,
Как вы крохотны, призрачно малы!
Будь вы броски, заманчиво алы,
Вас не смяли б на взлёте весны.

Каждым крохотцем умилена,
Возвеличу я вас, возлелею,
Слыша зовы, замру, обомлею,
Различу вас и дам имена...

Расплесните лазурь в лепестки,
Протяните ладони-листочки, –
Приголублю вас трепетом строчки,
Приласкаю напевом строки.

Кнарлик Хартавакян, член Союза писателей России (2011), поэт, переводчик. Окончила Ростовский пединститут, факультет русского языка и литературы. Дипломант литературного конкурса «Всё в нём Россия обрела» (1999), лауреат двух конкурсов-фестивалей современной поэзии и авторской песни «Ростовская лира» (2008, 2009), награждена почётной грамотой отдела культуры администрации Мясниковского района (2007), Благодарственным письмом министерства культуры Ростовской области (2011). Автор книг «Мы из древнего города Ани» (1999), «О, первый снег!» (1999), «Армянские святые письмена» (2005).

Живёт и работает в с. Чалтырь Мясниковского района Ростовской области.

Ах вы, цветики, вешние сны,
Так вы крохотны, так беззащитны,
Но с душой, вас призревшею, слитны –
И в канун, и к исходу весны...

Ах вы, цветики, вещие сны!

ЗАСНЕЖЕННАЯ ЛИРА

Есть тишина – предвестье громовое,
И тишина – отхлынувших словес:
Войдёшь в морозный, ясный день зимою
В притихший, волшебство сулящий лес...

Обильный иней в полумраке – синий;
Таинствен, мелодичен каждый хруст;
И вдруг – в причудливом изгибе линий
Лироподобный ты увидишь куст!..
И долго смотришь, различая струны
Меж вычурно изогнутых ветвей,
Пока свет солнечный не сменит лунный,
Не запоёт невидимый Орфей.
Искрятся в волнах музыки снежинки...
А может, в них преобразился звук?..
А может, свет? – Бесплотные искринки
Непостижимы осязаньем рук.

И не подвластно стихотворству чудо,
Хоть длани к небесам в мольбах воздены.
Но лира – явлена, Бог весть откуда,
В морозный, волшебство сулящий день!

Свет небесный, что льётся нам с высей,
Он – в росе на траве и кустах
И в лучах просветляющих мыслей,
И в заздравных речах – на устах...
Но всех ярче, сиятельней, звонче
Он в свечении добрых очей. –
В них всеильно его средоточье,
Побеждая и в теми ночей.

Свет небесный, он – в солнце, в созвездьях,
В красках радуг, огней городских,
В льнущих ласково дольных соцветьях...
Но, взмывая в зенит милосердья,
Всех он ярче во взорах людских!

Людмила Хлыстова



ПУСТАЯ КВАРТИРА

Рассказ

Соседская квартира давно не давала Вене Фатько покоя. Последние два-три года в ней никто не жил.

Идёт он вечером домой, во всём доме окна светятся, а в этой квартире темно.

Хотя хозяева квартиры, будто бы, существовали. Бывало, даже слышался через стену какой-то стук или шум воды из бачка в туалете...

Странная всё-таки квартира!

«Надо же, — думал Венья. — Трёхкомнатная квартира с хорошей планировкой и — пустует! Вложил кто-то деньги в недвижимость, а по сути, она ему и не нужна».

У Вени квартира тоже трёхкомнатная, но больно народу много на её квадратных метрах: жена, тёща, трое детей. Да ещё старшая дочка замуж собирается.

Ходит Венья, присматривается, прислушивается... Нет, никто в квартире не появляется.

А двери входные у странной квартиры добротные, современные. А окна, — со двора видно, — пластиковые, новые. Хороший ремонт после непутёвых хозяев, видать, сделали. Объединить бы её со своей в одну шикарную квартиру, расшириться...

Ну, это так, мечты. Денег-то всё равно нет.

Балконы у квартир посажены вплотную.

Вышел Венья на балкон покурить перед сном. Темным-темно в соседских окнах.

Людмила Хлыстова, член Союза писателей России (2011), прозаик. Окончила Таганрогский радиотехнический институт. Награждена дипломом 1-й степени в номинации «Проза» в конкурсе, посвященном 95-летию А. Недогонова и дипломом 3-й степени в номинации «Драматургия» в конкурсе в честь 150-летия А.П. Чехова. Автор книг «Если всё будет хорошо» (2008), «Как Данил себе жену искал» (2008), «Зовущая птица» (2010), «Представь себе...» (2010). Живёт и работает в г. Таганроге Ростовской области.

«А балкон бы общий какой получился! — вздыхает Веня. — Ну почему так: одним всё — другим ничего?!»

Из-за этой квартирной недостаточности у него, можно сказать, личная жизнь бедствие терпит. Теснота никому настроения не прибавляет, то и дело стычки между разными поколениями происходят.

«Вот Глафира замуж выйдет, и хорошо, если со свекровью уживётся, а то с зятем — сюда... Дети пойдут, пелёнки... Куда я их? Уж сколько можно углы городить?»

Голова пухнет у Вени от проблем. Спать не даёт пустая соседская квартира.

Рядом жена Эмма во сне вздыхает. Натопталась за день, упала без сил, а заботы, видно, и ночью не отпускают. Тёща за своей занавесочкой похрапывает... Фатко всегда удивлялся: такая щедедушная, а храпит, как прапорщик с бодуна.

И тут цокнула у него в мозгу крамольная мысль: сделать тайный ход к соседям через кладовку. Аккуратно сделать, замаскировать, чтоб ни одна ноздря не пронюхала. Снаружи — вроде, как прежде, никто не живёт, а внутри — нормальные человеческие условия. Всем — законное место: и тёще Францовне, и дочке с зятем, и сыну Котьке — парубку уже, и младшей любимице, шестилетней Олеське — отдельные комнаты, ну и им с женой, соответственно.

...Домашние спали праведным сном.

Встал Веня и как можно тише прошёл в кладовку. Освободил заднюю стенку и легонько постучал по штукатурке. Кое-как нашлёпанная двадцать лет назад, держалась она слабо. Веня взял кирочку и в два счёта отбил наружный слой от стенки. Потом вытащил несколько кирпичей и заглянул в соседскую кладовку. Там были голые стены. Значит, и правда в квартире никто не живёт, иначе, где же всякий «нужный хлам» хранить? Этот факт добавил Вене азарта, он подналёг, и скоро лаз был готов.

Нашёл Веня фонарик и решил сделать первую выход на запретную территорию. Крадучись пролез через проём в стене и включил фонарик.

Вдруг ему показалось, будто в пустой квартире что-то грюкнуло и скрипнула половица.

Животный страх пробежался у Вени по спине, непроизвольно дёрнулась рука, и он, так же непроизвольно, выключил фонарик.

Стало темно, как в преисподней.

Веня слышал бешеные толчки сердца. Можно вернуться, но стоило ли тогда затевать всё это?..

Перевёл дыхание.

Перекрестившись, Веня бесшумно, как вор-домушник, открыл дверь и вошёл в прихожую чужой квартиры. Из кухонного окна сюда простирался лунный свет. Пусто, гулко, пахнет краской и необжитостью.

Осмелев, Веня снова включил фонарик.

На полу лоснился паркет, стены поблёскивали шелковистыми обоями.

На цыпочках Веня переместился в большую комнату. От роскоши обстановки, что предстала перед ним, у простого работяги Вени Фатко открылся рот. Такой шикарной мебели, таких картин, таких портьер ему не заработать за три жизни! Почувствовав слабость в ногах, он присел на корточки, боясь даже коснуться великолепного в своей обтекаемости кресла.

Вдруг из спальни донёсся странный звук, будто придушенный смешок, и потом по смежной с залом стене прошёлся дробный лёгкий стук, вроде пробежала наискосок собачка, стуча коготками. Веня вскочил, его пронял холодный пот.

«Что-то здесь неладно», — обожгла тревожная мысль и, хотя Фатько не относил себя к слабакам, всё же почувствовал неприятную внутреннюю дрожь и желание сейчас же включить раскорячистую, словно огромный краб, люстру. Или — сбежать. Прошла секунда, другая... Ничего больше не нарушало тишины, но желание сбежать усиливалось. Он некстати вспомнил, что в этой квартире когда-то обитал суший вертеп с пьянками и наркотой, и ходили слухи, что совершались тайные аборты.

«Может, теперь души безвинно загубленных младенцев облюбовали это жилище?» — в смятении подумал он, но не успел сделать и шагу, как мимо него повеяло сквознячком, вроде кто-то прошмыгнул рядом...

Веня вскинул руку, лихорадочно нащупал выключатель, нажал... но свет не загорелся, зато отдаляясь в сторону кухни, опять зашелестел смех.

Почти не владея собой, Веня уже собрался было вернуться к тайному ходу, как вдруг снова щёлкнул выключатель, и комната озарилась ярким светом. Прищурившись, Веня увидел, что она полна людей. Это были как бы люди и как бы не люди вовсе, — они были плоскими, точно вырезанные из бумаги фигуры.

Фигуры эти молчали, но от них исходил странный звук — точно исходил злым шипением только что вскипевший чайник.

От ужаса Веня на секунду замер, но тут же метнулся к спасительному лазу, словно бестелесный, мигом проскочил в свою кладовку.

— Стой! — визгливым голосом вдруг прокричала ему вслед какая-то расфуфыренная, мордатая блондинка, стоявшая впереди всех, и Веня почему-то понял, — хозяйка таинственной квартиры.

Блондинка бросилась вслед за Веней, и вся толпа двинулась за ней.

— Ты хотел чужое?! — уже у лаза кричала блондинка, размахивая руками с унизанными перстнями пальцами. — Ты хотел... чужую?.. Отдашь свою...

— Не-ет! Не-е!.. — истошно заорал Веня и, как на амбразуру, бросился грудью закрывать тайный ход. — Не... А-а-а!..

— А-а-а...

— Веня! Очнись! Что с тобой?!

Он озирался и ничего не мог понять. Его тормошила перепуганная жена. Из-за своей загородки в ночной додольной рубаше и с сумасшедшими глазами пришлёпала тёща.

— Что? Что? Нас грабят?! — радостно заверещала она.

Веня ошалело сидел на кровати, медленно, но с облегчением догадываясь, что это всего лишь кошмарный сон.

— Луиза Францевна! Скройте с глаз! — наконец пришёл в себя Веня и привычно «оторвался» на тёщу, которая тут же юркнула ящерницей за ширму, потом отмахнулся от жены:

— Спи! Я в порядке...

— Ты так кричал... — пролепетала, оправдываясь, Эмма.

Веня встал, и, пошатываясь, прошёл в кладовую, пощупал руками злополучную, но целёхонькую стенку, и только тогда успокоился окончательно.

Взял сигарету, но почему-то не пошёл на балкон, а сел курить на кухне. Видимо, ему уже не хотелось видеть тёмные окна пустой квартиры...

Алексей Кеда



ОТ СЛАДКИХ ГУБ

МУЖЧИНА, ЖЕНЩИНА И – ТАЙНА...

Мужчина, женщина
И – тайна:
Она извечно – лишь двоим,
Когда и грусть необычайна,
И взглядов пыл неповторим;
И теплота необъяснима –
От сладких губ, от вольных рук...
И – ревность, что подчас незрима,
Как дуновение разлук.

О ЖЕНЩИНА!..

Ей к лицу эти ладные плечи
И бороздка судьбы меж бровей...
Молвит слово, – её красноречье
Воспевает смельчак-соловей.

Поглядит – приласкает очами;
Коль рассердится, – вьюга в окно...
Суть не в том,
сколько лет за плечами,
А – что женскою долей дано!

Ей судьба и печали приносит,
И улыбки, – чем жизнь и полна.
На висках – серебристая осень,
А в глазах – заревая весна...

Алексей Кеда, член Союза писателей России (2002), поэт. Автор ряда поэтических сборников. Живёт и работает в г. Волгодонске Ростовской области.

Валерий Калмацуй



ВСЕГО-ТО...

И, ВРОДЕ, НИКАКОГО ЧУДА...

Зимою луговое сено
Везут среди снежной кутерьмы...
Как будто вырвали из плена
Остатки лета у зимы!
И, вроде, никакого чуда:
Всего-то – запах луговой.
А вот, пойдя ж ты, смотрят люди
И согреваются душой.

Ясеня сухую ветку
Оседлал лихой мороз, –
Семена шуршат под ветром
Крыльями сухих стрекоз.
И с такой тоской о лете
На тебя глядит закат,
Будто бы в проделках этих
Ты
безмерно виноват!..

СНЕЖИНКА

На твою густую прядь,
Ту, что выбилась небрежно,

Валерий Калмацуй, член Союза писателей России (2011), поэт. Автор девяти поэтических сборников. Живёт и работает в г. Новочеркасске Ростовской области.

Опустилась отдыхать
Звёздочка, как ангел нежный.

Миг – и улетит опять.
Иль растает безнадежно...
Как мне хочется вобрать
Эту каплю бури снежной!

Этот крохотный родник,
Благодатную живицу,
Я бы выпил
в тот же миг –
Так тобой душа томится!..

ЛЕДЯНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ

Дождь, мороз... И все ветки во льду,
И застыли сосульки на кончиках. –
Утром слышу в притихшем саду
Тонкий звон колокольчика.

Снег пошёл, меж ветвей мельтеша, –
Вьётся, кружит...
Ах, сколько наверчено!
Красота!.. Отдыхает душа,
Затихая доверчиво.

ЯНВАРЬ

Зима... Но вот гляжу –
День прибавляться начал,
Заветную межу
Морозами означил.
Встаёшь – окно светлей.
Глядишь, как лихо птицы
Все враз
вспорхнут с ветвей –
Лишь снег, искрясь, клубится!
Морозная заря
Таким здоровьем пышет,
Что небо января
Намного стало выше.
И кажется, уже
Все беды – не задача.
Просторно на душе:
День прибавляться начал.

Борис Стариков



ОТКРЫТА ДВЕРЬ...

Море Чёрное в ярости пенится,
Озорными ветрами звеня;
И волна, как игривая девица, —
То обнимет, то бросит меня.
То, отхлынув, оставит над бездною,
Измотав и не дав отдохнуть...
То, загадочно, светом созвездия
К верным скалам укажет мне путь. —
По серебряной тайной тропиночке
Поплыву к белым скалам, спеша:
Там меня в тёмно-синей косыночке
Ждёт небес голубая душа...

26.06.2008 г.

Всё не так, всё по-другому:
В новый мир открыта дверь.
Жизнь, скажи, какому *гному*
Поклоняюсь я теперь?..
Где врачую сердца раны,
Одурев от суеты,
И зачем вставляю в рамы
Лжи красивые холсты?

Борис Стариков, член Союза писателей России (2011), поэт. С октября 2011 года — председатель ревизионной комиссии Ростовского регионального отделения СП России. Автор поэтических сборников «Начало круга» и «Тропинка в небо».

Живёт и работает в г. Тихорецке Краснодарского края.

С кем шумлю в хмельном веселье
И куражусь над собой –
Позабыв, что есть за дверью
Неба звёздного покой?..

15.07.2008 г.

НА КРЕЩЕНЬЕ

Звёзды крепко вмёрзли в речку,
Лижет ветер глянец льда, –
Под ладонью тают свечки,
Манит в проруби вода...

Машет батюшка кадилом –
Ночь окутал сизый дым...
Жаль, что ты не приходила
К речке, с видом озорным!

Но зато луна нырнула, –
Окрестить блудливый лик.
Я луну поймал под скулы
И губами к ней приник...

Две молодки пели ладом
Про крещение Христа,
А мороз дышал на ладан,
Провожая грусть поста.

И, вином веселье скрасив,
В склепе мёрзлого двора
Поп и я, под тёплой рясой,
Пели песни до утра...

03.06.2008 г.

Не дав напрасным разгореться спорам,
Плоха ли эта жизнь, иль хороша, –
Рассвет ласкает иву за забором,
Звенящею прохладною дыша.
Есть правда жизни,
А её истоки, –
Быть с милой вместе до святого дня,
И пусть судачат глупые сороки
Про жизнь мою, про грешного меня!..

Тамара Привалова



«РАССКАЗАТЬ МАМЕ...»

Новелла

Моросил нудный дождик, один из тех, что «землю не напоит, а настроение испортит». Прохожие спешили в сторону метро... Прасковья не любила толпу. До дома было рукой подать, потому она пешком добиралась на работу и с работы в любую погоду.

Как ни странно, но именно с дождём были связаны главные события в её жизни. Когда родилась Прасковья, шёл сильный дождь...

Когда она вместе с мамой встречала папу из длительной заграничной командировки, тоже шёл дождь, и Прасковья очень боялась, что самолёт испугается дождя, и улетит туда, где светит солнце. Но самолёт приземлился, и вскоре в распахнутых дверях аэровокзала появился папа. Он держал большую коробку в мелких бисеринках дождя. Такие же бисеринки поблескивали на его чёрной шляпе и пальто... Прасковья улыбнулась, вспомнив, как затаив дыхание, заглянула в коробку и увидела там великолепную куклу с длинными золотистыми волосами...

В другой дождливый день папа ушёл от мамы к другой женщине...

Первое свидание Прасковьи, первый поцелуй, свадьба и даже развод — всё было связано с дождём.

Подойдя к подъезду, Прасковья остановилась. Под его козырьком, на небольшом сухом пятчке прямо у двери, сидел большой тощий пёс... Бог знает, что у него на уме! Она с детства боялась собак, а этот пёс, по всему, бездомный. И много раз слышала о том, как такие собаки стаей нападают

Тамара Привалова, член Союза писателей России (2012), прозаик. Лауреат Всероссийского открытого конкурса «Педагогические инновации» (2002) за рассказ «Один день моего детства». Автор сборников рассказов и сказок: «Один день моего детства», «Помоги немощным, утоли скорбь нашу», «От звёзд — до синих васильков», «Бредущие из ада», «Ышка», «Белкин огород» и «Цыплята». Живёт и работает в г. Таганроге Ростовской области.

на прохожих. И хотя пёс был один, Прасковья осторожничала, не зная, что ей предпринять. Но проблема решилась сама собой: пёс вдруг посмотрел на девушку и отошёл в сторону, уступая дорогу. В его взгляде не было ни страха, ни заискивания. Он знал, что делал.

Прасковья почувствовала себя неловко, словно совершила что-то постыдное. Она медленно подошла к двери, и вдруг ногами ощутила тепло того места, где только что сидела собака. Ей стало ещё более неудобно... Открыв дверь, она неожиданно для себя предложила:

— Заходи!

Пёс наклонил голову набок. Дескать, не ослышался ли он.

— Ну, чего тарачишься, заходи, — повторила Прасковья.

Пёс чуть поколебался, но вошёл в подъезд. Оглянулся по сторонам. Не увидев ничего подозрительного, сел. Прасковья наклонилась погладить его по голове... Собака вздрогнула.

— Не доверяешь, — вздохнула девушка, — значит, тебе знакомо предательство. — Она присела на корточки. — Я тебя не обижу, — не обидел бы ты меня. — Прасковья всё-таки погладила пса по голове и поднялась. — Ну что, идём? — спросила она его, направляясь к лифту.

Пёс неуверенно двинулся следом.

Едва двери лифта распахнулись, как он зарычал и попятился. Ему хорошо были знакомы гремящие ящики! Мужчины, от которых пахло смертью, забрасывали в них визжащих от боли и страха собак, после чего пёс уже никогда не встречал этих несчастных собратьев по улице. Они исчезали навсегда. Однажды и сам он чудом избежал такого ящика. И теперь добровольно заходить в него не собирался... Он развернулся и бросился к входной двери, которая была уже закрытой. Пёс, подвывая, стал скрести её, словно мог бы её распахнуть.

— Чего испугался, глупенький? — Ласково спросила Прасковья.

Пёс умолк. Перестал рваться на улицу, но недоверчиво оглядывался. Железный ящик был закрыт. Девушка стояла на прежнем месте. Она не ругалась, не кричала на него, а главное, её глаза не горели злостью, как у тех людей...

Пёс стоял, раздираемый противоречиями. Затем осторожно двинулся за девушкой. Дойдя до первой ступеньки, остановился, напряжённо прислушался, оглянулся, — так, на всякий случай, мало ли чего? И только после этого стал медленно подниматься, обнюхивая каждую ступеньку и непрерывно оглядываясь. Вдруг снова остановился и молча оскалил зубы. Кроме запаха своей новой знакомой, он уловил другой, тот, что обычно исходит от людей, которых пёс и ненавидел, и боялся. Однажды человек с таким запахом убил его подругу, а после, с себе подобными, съел её... Пёс напрягся и замер.

Запах шёл откуда-то сверху, а девушка уже отпирала дверь квартиры.

— Заходи, — сказала она.

Войдя в человеческую конуру, пёс сел и замер.

— Погоди. Я сейчас, — сказала девушка и ушла в глубину своего жилища. Спустя некоторое время она вернулась в коротких брючках и лёгкой кофточке.

Странные всё-таки люди, как они умудряются быстро менять одну шкуру на другую? Пёс лизнул свой мокрый бок, затем виновато посмотрел на Прасковью, дескать, у него запасной шкуры нет, придётся ждать, когда эта высохнет. Но хозяйку, кажется, не смущал внешний вид гостя. Потрепав пса по холке, она скрылась за приоткрытой дверью, и оттуда послышался шум льющейся воды. Пёс остался один. Вытянув шею и слегка раздувая ноздри, он стал ловить запахи, витающие в окружающем пространстве. Ему очень хотелось обследовать жилище, но он не решался это сделать. В это время дверь широко распахнулась, и пёс вздрогнул, словно его застали на месте преступления.

— Пошли купаться! — последовала команда.

Пёс с готовностью двинулся на зов. Послушно запрыгнув в ванную, снова замер. Прасковья долго и старательно мыла своего гостя, а он, тем временем подрёмывая, нежился под струями тёплой воды. После купания позволил обтереть себя большим мохнатым полотенцем, спокойно отнёсся к жужжанию фена. Даже не возражал против расчёски, которая стала хозяйничать в его шубе, так, будто она принадлежала именно ей. Аккуратно, не спеша, съел он предложенный ужин и, лёжа на краешке пушистого ковра, неотрывно следил за своей новой знакомой.

Прасковья села перед плоской светящейся коробкой, начала катать по столу чёрный камень и постукивать пальцами по чёрной доске. Каждый раз, когда она прикасалась к камню, пёс напрягался и сосредотачивал своё внимание на руке, в которой он находился. Вдруг возьмёт, да и запустит ему в голову, как сделал в парке один прохожий, который сначала прикидывался таким добрым, пирожок даже предлагал... У пса заныл шрам, оставшийся после той «встречи» с камнем. Он стал тихонько отползать задом, поближе к входной двери. Его остановил голос девушки:

— Ты куда собрался? Мы сейчас с тобою будем искать твоё имя. Я раньше никогда не интересовалась вашими кличками и в этом деле полный профан, но нам поможет комп.

На светящемся боку ящика стали появляться фигуры собак, а женщина, называя их имена, внимательно следила за реакцией пса. Но он не реагировал ни на одно из них. Прошло много времени, прежде чем прозвучало то единственное, заветное имя:

— Грэй!

Пёс вскочил и громко залаял.

— Так тебя зовут Грэй? Какое красивое имя! Грэй, Грешюшка...

Прасковья вскочила с компьютерного кресла и, присев рядом с псом стала гладить его, ласково почёсывать за ушами, тереть холку, и при этом что-то ласково приговаривала.

Грешю было приятно это почёсывание... Но вдруг словно молния полыхнула в голове, и он, как наяву, увидел высокие деревья, глухую дорогу, где его выпустили из машины... Он тогда посчитал, что это увлекательная прогулка по ночному лесу. Но дверца захлопнулась, и машина стала удаляться, глядя на него недобрыми красными глазами. Если бы машина знала, как долго бежал он вслед за нею, надеясь, что она остановится, и он вновь очутится на любимом сиденье возле хозяина! На это место последнее время часто

стала претендовать женщина, от которой исходил неприятный сладковато-терпкий запах. Она, как и её лысый кот, были крайне невоспитанными. Кот даже в гостях постоянно шипел на пса, женщина всегда гнала пса прочь. И хотя Грэй старался не попадаться им на глаза, хозяин сердился на него и наказывал, а пёс не понимал за что...

Пёс резко мотнул головой и зарычал. Прасковья отшатнулась, испугано спрятала руки за спину.

— Я сделала тебе больно? Ну не сердись, успокойся, я не хотела этого, прости, Грэй, — приговаривала она, отступая к дивану... Машинально села, не отводя взгляда от беспокойного гостя.

Чувствуя вину, пёс опустил голову, лёг на живот и пополз к ногам своей новой хозяйке.

— Ну, что ты, что ты, встань, — растеряно проговорила Прасковья, глядя его ладонью по голове. Но теперь в её поглаживании пёс чувствовал насто-роженность. Не поднимая головы от пола, он тихо заскулил.

Прасковья соскользнула с дивана. Прислонясь к дивану спиной, вытянула ноги и ласково потрепала пса по загривку. Гость осмелел. Сел и, посмотрев на девушку, придвинулся ближе.

— Господи, как ты меня напугал! Я думала, что укусишь, — не делай так больше... — сказала Прасковья. — Как ты оказался бомжом? — спросила она, — Потерялся?

Прасковья тронула его голову и, нащупав шрам, вопросительно посмотре-ла псу в глаза.

— Жаль, что не можешь разговаривать, а то бы рассказал мне... Видно, что ты умный, что у тебя был хозяин. Вот только куда он делся? Дога-дываюсь, — он просто тебя предал. Вряд ли ты смог бы сам потеряться. А предательство в наше время стало нормой, я уже ничему не удивляюсь.

Знаешь, я сама прошла через него, причём — не один раз. Говорят, что время лечит, но не верю в это. Боль только притупляется, но никуда не ухо-дит, живёт в тебе, заставляет с собой мириться... Начнёшь воевать — себе дороже выходит.

Пёс тихонько скулил и лизал её в щёку. Он понимал, что ему рассказыва-ют что-то очень грустное.

— Тебе ещё не надоело слушать моё нытьё, Грэй?

Пёс высунул язык и часто задышал. Он словно смеялся.

— С тобою так хорошо болтать, — продолжала Прасковья. — Ты, ока-зывается, классный собеседник. И знаешь, в чём состоит вся прелесть? С тобою можно поделиться самыми сокровенными тайнами, не боясь, что ты их разболтаешь кому-нибудь. Особенно не хочется, чтобы о них узнала моя мама. Нам крепко повезло, что она изъявила желание жить на даче, а то бы... Папа был прав, с нею рядом жить невозможно. Она думает только о себе и ничего не хочет понимать.

На работе целый день за компьютером; куча бумаг, документов — я очень устаю, а приходят выходные — должна ехать на дачу. Раньше у нас была дом-работница, но и она сбежала. Разве, с мамой кто уживётся?.. — Прасковья шмыгнула носом и размазала по щекам слёзы.

Пёс склонил на бок голову и удивлённо посмотрел на неё. Чего ей не

хватает? Конура тёплая, ящик полон еды. На мокрых листьях в сквере под дождём ночевать не надо. А может, её обижают, как те, кто сначала подманивают пирожком, а потом бросают в тебя камни или бьют в бок ногою, при этом говоря что-нибудь нехорошее...

Пёс, не зная, как успокоить девушку, легонько толкнул её в плечо холодным носом, положил лапу на сгиб локтя.

— Грэй, какой же ты хороший, — улыбаясь сквозь слёзы, сказала девушка, обнимая пса за шею. — Знаешь, каждый раз, когда еду на дачу, я мечтаю, укутаться в плед, сесть на веранде с чаем в любимой папиной кружке, и рассказать маме, как мне живётся. Мечтаю, как она подойдёт ко мне, обнимет за плечи и, словно маленькую, поцелует в макушку... Но... стоит только мне появиться, мама начинает обвинять меня во всех смертных грехах. Пока я вожусь с посудой, она, разбирая продукты, не переставая ворчит: и сыр не первой свежести, и колбаса не та,.. что уж говорить об овощах и фруктах! Послушаешь, — я совсем никчёмный человек.

Слушай, а может, объявить забастовку? Для дачи. Что ты думаешь на этот счёт? По-моему, хорошая мысль. Завтра пятница, и мы с тобою после работы пойдём гулять в лесопарк. Одна я туда боюсь ходить, а теперь нас двое. Грэй, а ты любишь смотреть на звёзды? Что, никогда не смотрел?.. Жаль... Когда я смотрю на них, то мне всегда хочется пить, хочется того тёплого молока, которое папа приносил мне перед сном в своей любимой кружке с розовощёким Дедом Морозом на боку... Смешно, правда?

Прасковья задумчиво смотрела в тёмное стекло балконного дверного проёма, через который доносился шум ночного города и шелест дождя. В открытую форточку тянуло запахом мокрой земли, воздух без пыли бодрил и освежал. Глубоко вздохнув, Прасковья потянулась и, стащив с дивана подушку, положила на неё голову.

— Грэйка, можно я поваляюсь немножко, а потом мы пойдём спать. Ладно? Я только минуточку, — проговорила она, закрывая глаза...

Пёс переступил с ноги на ногу, а затем лёг рядом с нею и, положив свою голову ей на бедро, задремал, Всё же чутко прислушиваясь к звукам вокруг. Сонная тишина, побродив по квартире, зависла над двумя одинокими существами, неожиданно нашедшими друг друга, обняла их и стала сторожить их покой...



Встреча с литераторами г. Сальска

Дмитрий Ханин



ВСТРЕЧАЯ ПЕРЕЛЁТНУЮ ВЕСНУ

НИЩЕНКА

В мире воров и сыщиков
Катится жизнь по ямам...
Плачет хромая нищенка,
Глядя на купол храма –
Под облаками тощими
В серые камни вжалась:
Трудно стоять на площади,
Облокотясь на жалость.

Крик не измерить датчиком,
Боль не спить в подвале.
Руки с портретом мальчика
Раньше не так дрожали, –
Руки сажали овощи,
Солнце в руках горело...
Раньше просить о помощи
Женщина не умела.

Как же теперь быть чище нам –
Если в ладонях синих
Держит седая нищенка
Память о мёртвом сыне?..

2012 г.

Дмитрий Ханин, член Союза писателей России (2011), поэт. Лауреат Международной литературной премии имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами...» (номинация — «Русская надежда», 2012) и премии губернатора Ростовской области для молодых писателей (2011). Аспирант ЮФУ. Автор трёх поэтических сборников.

Живёт и работает в Ростове-на-Дону.

Дмитрий Ханин

СТАРЫЙ ГВОЗДЬ

Снова осень в прихожей замешкалась,
На плаще – пережитки дождя...
Ни театра в округе, ни вешалок, –
Начинается хата с гвоздя.

И войдёт в обветшалую хижину
Безымянная чья-то душа.
Заскрипят половицы пристыжено,
Безнадёжно пылью дыша.

Шумный чайник, кряхтя, постарается
Не оставить скитальца в беде.
А промокшая шляпа останется
Одиноко висеть на гвозде.

Пусть бродяга ночлегом утешится,
Разбавляя усталость вином.
Наше счастье надеждою держится,
Будто шляпа – угрюмым гвоздём.

Неприметный, забытый поэтами,
Гвоздь сутулится, как старожил:
Гнулся он под чужими портретами,
И несчастным одежду сушил.

Слышен говор сомнения дошлого,
Снова стала судьба на ребро...
Гвоздь – непризнанный памятник прошлого –
Держит шляпу, как душу – добро.

2011 г.

МЕЧТАТЕЛЬ

Не все живут эпохе на потребу...
Встречая перелётную Весну,
Он в синее безветренное небо
Закидывал надежду, как блесну.
Раскрасив мир наивными стихами,
Сомнение пуская на порог,
Художник приобщался к оригами,
За стенками журавликов берёг. –
Он знал: судьба расправится и с ними,
Когда тоской наполнится тетрадь...
А небо так искрилось тёмно-синим, –
Хоть обучай журавликов летать!

2012 г.

Владимир Диклов



РОНЯЮТ ЗВЁЗДЫ...

МОЛЧИ

Молчи,
молчи,
молчи! –
Ведь это очень просто.
Послушай, как лучи
В траву роняют звёзды.
Слова же – не халва:
Я понял очень рано,
Что нежные слова
Нешадно души ранят.
Молчи,
молчи,
молчи...
Я так прошу молчанья!
Я тишиной лечить
Хочу твои печали.
Без слов тебе я рад –
В словах ли неизбежность!
Почувствуй, как горят
В глазах любовь и нежность.
Молчи,
молчи,
молчи! –

Владимир Диклов, член Союза писателей России (2012), поэт. Автор нескольких поэтических сборников. Живёт и работает в г. Таганроге Ростовской области.

Владимир Диклов

Не надо слов, не надо.
Послушай, как в ночи
Два сердца бьются рядом.

ГРЕХОПАДЕНЬЕ

Зелёных глаз холодный свет,
Холодных губ прикосновенье,
Холодных слов несносный бред –
Холодное грехопаденье.
Теперь душою не криви
(Хотя себя понять так сложно), –
Постичь неистовство любви
Холодным сердцем невозможно...
Ах, эта поздняя слеза
Среди вселенского веселья!
Твои зелёные глаза
Лишь на мгновенье потеплели.
Душа исчерпана до дна,
И мысли просто рвутся в клочья...
В ответ – молчания стена
И холод августовской ночи.



Март 2013 года. Презентация журнала «ДОН_новый»

Вячеслав Зименко



В ГРИБНОМ ЦАРСТВЕ

Эссе

В четырёхлетнем возрасте судьбе было угодно познакомить меня с миром грибов. Не имея ни малейшего представления о грибах как явлении, об их съедобных и ядовитых свойствах, во время игры на выгоне за огородом я наткнулся на семейку луговых шампиньонов. Что-то заставило меня собрать пару десятков этих «сущест^в, похожих на солдатиков», сложить их за пазуху и принести бабушке.

— Это же печерыца, — по-украински обрадовалась бабушка и приготовила для меня целую сковородку диковинной и, как мне показалось, самой вкусной в мире еды...

Прошла почти целая жизнь, и та же судьба забросила меня из донских степей на жительство в таёжный край — настоящее царство грибов! Теперь я уже знал о грибах многое: что существует особая наука о том, как они «устроены», где растут и как их искать; что увлечение сбором грибов, наравне с рыбалкой и охотой, однажды захватив человека, больше его не отпускает. Говорят: «Охотники — это буйно, а грибники и рыбаки — тихо помешанные». Видимо, доля правды в этом есть. Собирательство — это страсть! Многие с нетерпением ждут сезона, когда по утрам над городом и лесом рождается и, окутывая пространство, повисает тяжёлым слоем туман. Долго не высыхающие лужи на грунтовых дорогах, утренний туман и торгующий на рынке дарами природы мужик — верные приметы: гриб пошёл!

Исходит человек с поклонами земле много километров по заповедным местам, — и вот уже благоухает полная корзина грибов пряной свежестью росистой листвы и таёжного мха. А сколько приключений и эмоций ждёт в тайге грибника!..

Вячеслав Зименко, член Союза писателей России (2013), прозаик. Окончил Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию. Автор книг прозы: «Несъедобный флот» и «Провинциальные истории». Живёт и работает в г. Ростове-на-Дону.

Но одно дело знать теорию, а другое — быть практиком. Благодаря сослуживцу по институту, бывалому грибнику, я быстро поднабрался практического опыта и почувствовал себя знатоком «тихой охоты». Облюбовал и до мелочей запомнил несколько таёжных маршрутов, безошибочно, по косвенным признакам научился находить грибные места, обзавёлся «личными» высокоурожайными полянами.

Коллективный выезд в лес на служебном автобусе — это целое событие для «безлошадных» грибников. Хотя, если честно, мне не особенно нравится быть привязанным к компании вечно плутающих «меж двух сосен» и хронически опаздывающих к установленному сроку коллег. — Невозможность уйти далеко от транспорта, вынужденная необходимость общаться с природой в обществе бредущего за тобой и впереди тебя «стада»... Лес требует уединения, обстоятельности, неторопливости и тишины, а «экскурсанты» вечно суетятся, долго спорят, выбирая маршрут, криком разрушают хрупкую конфиденциальность момента и радости бытия.

В один из погожих сентябрьских дней такой выезд состоялся.

Куда ехать?.. Вообще-то выбор не очень большой. Близлежащие к городу традиционные места: дачный посёлок Темирязево, татарские деревни Чёрная речка и Курлек да 86-й квартал лесничества. О более удалённых от цивилизации «уловистых северах» области, где «грибы растут даже на тротуарах», по причине дороговизны бензина речь не шла. Решено: едем за «белыми» на популярный у горожан 86-й квартал.

Сразу за мостом через обмелевшую за лето реку Тотьма, на подступах к дачному посёлку, открывается удивительная перспектива: подёрнутые утренней дымкой разноцветные квадраты распаханых или ещё не убранных совхозных полей, а вдаль на пригорке — стена изумрудной тайги, местами облитой яркими красно-оранжевыми красками увядающего лета. В самом посёлке вдоль автостреды стоят величественные мачтовые сосны, способные украсить любой пейзаж... Вот и поворот с трассы. На обочине дороги построены примитивные шалаши тех, кто ближе к вечеру появится здесь со множеством ведёрок, чтобы продать дневную добычу проезжающим автолюбителям.

За автобусным окном мелькают «не грибные» участки смешанного леса, густо заросшего высокой травой и уже успевшим побуреть папоротником-орляком. Здесь борового красавца в принципе быть не должно. А вот в конце осени можно наведаться и сюда, потому, что такой лес — «родина» опять, лисичек, белого и чёрного груздей. Боровик «любит» поросшие серым и зелёным мхом высокие гривы¹, поляны и обочины лесных дорог.

Минут через сорок делаем первую остановку и пробный забег... Нет, место плохое — густой подлесок и бурелом; нужно ехать дальше. Следующая остановка похожа на предыдущую, но старший по мероприятию настаивает на «часовом разграблении леса». Соглашаемся, сверяем часы и — вперёд!

Нахожу лесную дорогу, выходящую вдоль небольшой просеки, вдалеке резко забирающую вверх. Это — как раз то, что надо! Народ сразу ринулся в заросли, а я маршевым шагом, почти бегом, устремляюсь по дороге на уда-

лѐнную возвышенность, поближе к так любимому грибами её солнечному склону... Через пятнадцать минут я наверху. Слева и впереди лес мне не нравится, а вот справа грива замечательная! И самое приятное — по её маковке в лес уходит старая, местами уже осыпавшаяся траншея, непонятно кем и для чего вырытая. Отличный ориентир в незнакомом месте: туда можно идти, держась от борозды слева, а вернуться обратно по правому её «берегу».

Буквально через десяток шагов оказываюсь в сказочном мире! Кедровые ели с тѐмными стволами в два обхвата стоят редко, их нижние лапы растут высоко, на уровне двух-трѐх человеческих ростов. Ни кустарника, ни травы нет; земля густо выстлана слоем жѐлтой, поскрипывающей под ногами хвои. Вокруг именно «глухая тайга»! Ощущение нереальности усиливается тем, что солнце скрылось, небо заволокло тучами, а лес стал погружаться в полумрак — серых и жѐлто-коричневых тонов... Почему-то сама собой в голове родилась ассоциация с заколдованным лесом, показанным в фильме «Сказка о потерянном времени». Коричневый цвет пейзажу придают огромные, слегка бархатистые, с лѐгким вишнёво-фиолетовым оттенком шляпки единичных, растущих там и тут белых грибов.

О том, что сюда давно не ступала нога человека, говорят упавшие от старости перезревшие боровики-гиганты и полное отсутствие «срезов». Зато сюда ступала другая «нога»! Кора одного из деревьев варварски ободрана, глубоко процарапана мощными когтями и местами изгрызена не менее мощными зубами. Таким наглядным и весьма недвусмысленным образом заявляет свои права на данный участок косолапый хозяин тайги. — Гоню прочь тревожные мысли и с восторгом начинаю наполнять корзину, стараясь не упускать из виду траншею и отпущенное коллективом время.

Постепенно обстановка меняется. На пути стал вырастать сначала редкий, а затем всё гуще заплетающийся кустарник, появились лиственные деревья: калина с тяжѐлыми гроздьями алых и пурпурных ягод, «пугливая» осина с дрожащими даже в безветренную погоду листьями, облитая вишнёвым цветом черѐмуха и, конечно, берѐза, роняющая на землю первые «золотые монетки»... Как сказал поэт: *«Золотом платят деревья за прошедшее лето!»*

Поворачиваю обратно и перехожу на другой «берег» траншеи. Почти у самой дороги, на влажном и травянистом участке обнаруживаю большую семейку маслят. Клейко-слизистые, подушкообразные шляпки почтенных по возрасту грибов чередуются с тупоконическими, в бугорках посредине, головками «молодёжи». Увлеченно срезаю у самой земли их плотные, сочно хрустящие мучнисто-зернистые ножки...

— У-у-у... — раздаѐтся вдруг в тишине над самым моим ухом. Сердце от неожиданности ёкнуло и скатилось к пяткам. Осматриваюсь и замечаю: на нижнем суку отжившего свой век сухого кедра сидит, уставившись на меня немигающим взглядом, крупный филин. Успокаиваюсь и продолжаю сбор весѐлой семейки.

— Ну что, дед², все мои грибы скосил? — опять неожиданно раздаѐтся в голове.

«Что за чертовщина?» — поднимаю глаза и в метре от себя упираюсь

взором сначала в ноги, а затем, по мере скольжения взгляда вверх — в остальные части тела автора вопроса.

— Да нет, кое-что оставил, — оправдываюсь я и указываю на несколько, ещё не срезанных, маслят у левой ноги непонятно откуда взявшейся здесь бабки.

— Ну, тогда иди к автобусу, а то опоздаешь, — повелительно разрешает она и проходит мимо меня в густой кустарник.

Время действительно уже почти вышло и я, без дополнительных уговоров скоренько направляюсь восвояси. По пути к автобусу я чувствовал, но никак не мог понять, что именно в бабке было не так?.. Потом сообразил: она была босой, и у неё не было лукошка!

Коллеги по поездке в этот раз грибов практически не встретили и поэтому с завистью смотрели на шикарные коричневые полусферы в моей почти полной и тяжёлой корзине. Подогретый увиденным урожаем азарт погнал компанию дальше. — Ещё дважды мы делали часовые вылазки в довольно приличных для роста грибов местах.

Никаких событий, заслуживающих внимания читателя при этом не произошло, разве только случай с находчивой белкой. Этот шустрый зверёк приловчился выслеживать удачливых, но при этом беспечных грибников. Из оставленных без присмотра вёдер и корзин белочка таскала грибы и развешивала их высоко на деревьях, нанизывая шляпки на острые сучки!..

На месте последней нашей остановки народ кое-что собрал. А отдельным везунчикам (знающим волшебное слово), невидимый, но знакомый по народному фольклору старичок-лесовичок даже помог заполнить лукошки отборным грибом до самых краёв. Вдоволь набродившись и надышавшись кислородом, процессия, с общего согласия, двинулась в обратный путь.

— А давайте заглянем в каргу³, — предлагает водитель. — Здесь рядом, может, брусничкой и клюквой побалуемся?

Все соглашаются. И вскоре мы — на болоте.

Вновь появившееся солнышко высветило всё очарование золотой осени: жёлтые пряди в кронах деревьев, выбеленные, с горностаевыми крапинами стволы берёз, бездонную синеву неба, чёрную воду в старицах, буро-зелёные болотные кочки, багряное убранство осин.

Водитель, на правах знатока, проводит с нами инструктаж.

— Пойдём во-о-о-н в том направлении. Должен предупредить, что впереди не твёрдый грунт, а травянистый зыбун — ковёр из сплетений водной растительности в несколько десятков сантиметров толщиной, под ним — вода. Зыбун во время ходьбы колыхнется, но это не опасно, мы ходим здесь каждый год.

Несколько человек (в том числе и я), не имеющих опыта хождения по болоту, посчитали благоразумным отсидеться в автобусе...

Минут через пятнадцать из числа ушедших за ягодой вернулась восторженная дама: «Что вы тут сидите? Пойдёмте со мной, там столько грибов, автобусом не увезёшь!»

— Мы боимся трясины, — робко признается кто-то.

— Какая там «трясина», вокруг — сплошной торфф! Если боитесь, возьмите слегы⁴ подлиннее.

Вооружившись палками и захватив с собой ёмкости, мы цепочкой, с дрожью в коленях, устремляемся за дамой — нашим Сусаниным. Вот и зыбун: ровный, длинный, как футбольное поле, упругий светло-коричневый наст, поросший редким молодым осинником. Поодаль стоят чахлые, низкие деревца. Кое-где торчат из «земли» почерневшие остовы сухих берёз и коряг.

Впереди, за кустами, мелькают наши, часто приседающие и весело щебечущие, компаньоны. С первых же шагов поверхность необычного поля, под тяжестью моего тела начинает угрожающе прогибаться. Становится страшно-вато, но азарт и «стадное» чувство побеждают, и я продолжаю движение...

Открывшаяся через мгновение картина захватывает дух: бурая скатерть зыбуна сплошь покрыта коричневыми и красными бугорками. Семейками и в гордом одиночестве стоят подосиновики и подберёзовики. Уже не замечая унылости пейзажа и зыбкости под ногами, мы присоединяемся к сбору урожая. Гриб чистый, ни одной червоточкины! Особенно хороши молодые подосиновики: плотно прилегающие к «туловищу» полушаровидные, кирпично-плюшевые их шляпки, как светофоры, высоко стоят над болотной травой на своих цилиндрических чешуйчато-серых, в паутинку, ножках. Словно издали сигналият приближающемуся грибнику запретным красным цветом: «Ко мне проезд и проход запрещён, сделайте поворот направо!» Но наступает ещё большее удивление, когда, приготовившись срезать плод у основания, обжимаешь вокруг сухую траву и обнаруживаешь, что у гриба ножища вдвое больше ожидаемых размеров! Такой трофеей, вдруг ощутив его скрытую тяжесть и бархатистую прохладу поверхности, приятно держать в руке, наблюдать, как постепенно синеет, а затем чернеет свежий срез...

Быстро тает сентябрьский день! К вечеру похолодало, и заморосил мелкий, противный, затяжной дождь. Пора домой. Тем более, что ягоды мало, и она ещё зелёная.

Притихшие и изрядно уставшие, в тёплом автобусе мы возвращаемся в город. В салоне стоит неповторимый грибной аромат, да торжественно шуршат удивительной красоты букеты в руках любителей осенних гербариев... Такая поездка, наверняка, всем запомнится надолго!

1 июля 2009 года

¹В Сибири говорят «гривы», в центральной России сказали бы «холмы», а на Дону такой участок местности назвали бы «бугром».

²Необходимо сообщить, что мне на тот момент исполнилось 35 лет, и до деда по внешнему виду я совершенно не «дотягивал».

³Карга — лесное болото, топь.

⁴Слега — шест, используемый для прощупывания грунта на болоте.



Донские писатели у памятника А.П. Чехову в Таганроге. Третий справа — главный редактор газеты «Российский писатель» Н.И. Дорошенко (г. Москва)

Ольга Корнеева



ВОТ И СЛАВНО

Стихи для детей

СОСЕДИ

Чудо-цветик во дворе:
Белая ромашка!
По ромашке день-деньской
Ползает букашка.
Под ромашковым листком –
Преуютный домик.
Для букашки там диван
И стеклянный столик...

Пёс дворовый сторожит,
Нюхает ромашку;
Лапой лезет в странный дом,
Лает на букашку...

Так и жили во дворе:
Пёсик и ромашка,
Под ромашковым листком –
Важная букашка.

Пёс невесело вздыхал,
Разгрызая кости:

Ольга Корнеева

– Почему цветок меня
Не пускает в гости?..

УБИРАЕТ ХЛЕБ КОМБАЙН...

Вот комбайн выезжает:
Вызрела пшеница.
Урожай он собирает –
Надо торопиться!
Напевает он негромко
Сельские мотивы...
Посветлела поля кромка, –
Колосятся нивы.

Это поле так безбрежно, –
Берегов не знает.
Здесь пшеницей тихо, нежно
Ветерок играет.
И колосья наливные,
Словно волны в море,
Разыгрались, золотые,
На степном просторе...

...На волнах качаясь плавно,
Плыл комбайн по полю.
Думал он: «Ну, вот и славно:
Потружусь я вволю!..»



Идёт общее собрание членов
Ростовского регионального отде-
ления Союза писателей России

Идёт общее собрание членов
Ростовского регионального отделения
Союза писателей России



Роза Агоева



Благой Димитров
(перевод с болгарского)

Я знаю, что в начале было *слово*.
И всё же... вряд ли полюблю графит,
Тогда, когда вопрос извечный снова
«Кому стихи твои нужны?» – звучит.

Пресыщенный простор кишит словами,
И правда с ложью вновь переплелись. –
Дождь почерневший хлещет нашу с вами
Обманами наполненную жизнь.
По горло сыт я громкими речами,
Мне надоел гнусавый пустозвон...
Весь этот бред вольны вы слушать сами,
А я, собравшись наспех, брошусь вон!

От бега задыхаясь – кустик каждый,
Травинку, листик... обниму душой.
Деревья языки свои покажут,
В ответ им я, чужак безмолвный, – свой.
И, лёжа на ковре из разнотравья,
С природой воедино я сольюсь,
А запах свежескошенной отавы
Забуть поможет сладкоречья вкус...

Роза Агоева (Перегудова), член Союза писателей России (2012), поэт, переводчик. Автор нескольких книг поэтических переводов.

Живёт и работает в г. Ростове-на-Дону.

Маргарита Григорьева



ОТДАЁМ В ЗАЛОГ...

...Плачú иль пла́чу?
Душа
На сдачу.
Дней прах – в копилке.
Жизнь под копирку.
Свет – на осколки,
И люди – волки.
Грош на удачу. –
Плачú иль пла́чу?..

ВЕЧЕР ВДВОЁМ

Вновь усталость сквозит во взгляде,
Меж бровей морщинка легла...
Я прошу: не хмурься, не надо.
За порогом оставь дела,
Недомолвки, сплетни, усмешки,
Всё, что надо срочно решить...
Мы с тобой заложники спешки, –
Пять минут найди для души.

Маргарита Григорьева, член Союза писателей России (2013), поэт. Окончила факультет журналистики РГУ. Автор двух поэтических сборников.

Живёт и работает в г. Новошахтинске Ростовской области.

ДОЖ_новий 13/3-9

Не дают заботы покоя –
На Земле живём, не в раю...

Дверь сегодня на ключ закрою
И две чашки кофе налью.
Мы за эту краткую встречу
Жизнь другим отдаём в залог.
Запах кофе... Белые свечи...
В тишине – сердце диалог.

Я ладони твои согрею,
Прикоснусь к морщинке на лбу...
Знаешь, я становлюсь добрее,
Не ропщу уже на судьбу.
Да, порою она коварна,
И пути её непросты.
Но сегодня ей благодарна,
Потому что со мною ты.

Мы вдвоём. Остались за дверью
Злые сплетни, зависть и ложь...
Мне не страшно. – Я верю, верю:
Ты однажды снова придёшь.



**На ежемесячных семинарах занимаются 27 наиболее перспективных литераторов
— членов Литературной студии при Ростовском региональном отделении
Союза писателей России**

Ксения Баштовая



КРУГИ НА ПОЛЯХ

Рассказ

Небольшой кораблик класса «А» висел на орбите третьей от звезды планеты уже второй час, а Эллейна всё не могла найти подходящее для вечеринки место. Элур уже начал нервничать, когда девушка внезапно ткнула пальцем в небольшое пятнышко на сферической карте:

— Вот! Я думаю, здесь нам будет хорошо.

Капитан корабля провёл ладонью над глобусом и голограмма, реагируя на лёгкое изменение температуры, на мгновение сжалась до крохотного едва различимого пятна, а затем резко развернулась на плоскости, показывая выбранное Эллейной место. Элур скользнул задумчивым взглядом по огромному, до самого горизонта, полю, заросшему высокой, по пояс, местной травой и задумчиво поинтересовался:

— Ты уверена?

— Конечно, — рассмеялась девушка.

— Но... Здесь же ничего нет!

— Подумаешь, — отмахнулась она. — Чутьочку пригладим траву, чтоб образовалась полянка, развесим на силовых нитях фонарики, расставим камни для сидения... — сейчас это модно! — а у дальней границы поставим небольшой фуршетный столик с пуншем... Всё будет просто прелестно!..

Мужчина задумчиво потёр кончик заостренного уха:

— Не зна...

Ксения Баштовая, член Союза писателей России (2013), прозаик. Лауреат премии губернатора Ростовской области для молодых писателей (2012). Окончила юридический факультет Ростовского государственного экономического университета в 2006 году. Автор книг прозы: «Бубновая гильдия», «Пыль дорог», «Повесть эльфийских лет», «Реалити-шоу «Замок», «Вампир поневоле», «И дорога к себе так длинна...», «Тяжело быть младшим», «Маленьких все обидеть норовят», «Что выросло, то выросло».

Живёт и работает в Ростове-на-Дону.

— Элур, ну не будь таким врединой! Впервые за столько лет решили выехать на небольшой пикничок, а ты... Тем более, Элита так расхваливала это место!

— Ладно, убедила, — сдался он.

По последнему разделу деревенской земли родителям Тома достался участок за Грамовым камнем. Место это издавна обладало дурной славой, но семью Смит это не останавливало. Подумаешь, пляшут по ночам над полем болотные огоньки, да видел какой-то мальчишка тень белой дамы, что летела над хлебами. Так мальчишка был Джонсов, а те сокрут — недорого возьмут, а за Грамовым камнем издавна каждое зерно один к ста идёт!

Том сам не мог бы сказать, что заставило его в ту ночь отправиться за деревню. Может, наслушался досужих баек о сидах, что водят за Грамовым камнем хороводы, да захотелось ребёнку самому на эти чудеса взглянуть. Может, решил перед мальчишками отвагой похвалиться. А может, решил доказать, что не зря его Рифмачом прозвали — даст звёздная ночь вдохновения...

Вечеринка в разгаре. Элита притащила магнитофон, Элкарт перешёптывался с Элести ... Кружились фонарики, снующие по силовым нитям. Звенела музыка — в последнее время в моду вошли аранжировки под старину. Кружились пары...

— Ой! — неожиданно звякнул нетрезвый голосок Элнии. — Посмотрите! За нами абориген наблюдает!

— Ой, какой симпатичный мальчик! — поддержала её Элита — Пусть потанцует с нами!

— Пусть потанцует! Пусть потанцует!..

Тома нашли на третий день. Мальчишка был без сознания...

Лучшая ведунья деревни читала над ним заговоры, курила травы... Два дня Том держался на грани между жизнью и смертью...

Придя в себя, мальчик рассказал, о том, как завлекли его дивные ши в круг, как танцевал он на балу у сидов... А на прощанье подарила ему прекрасная королева волшебную флейту...

Мама только вздохнула:

— Ох, мой маленький Рифмач, и чем только ты полюбился феяри?

Прошло десять веков...

Небольшой кораблик класса «А» висел на орбите третьей от звезды планеты уже второй час, а Элкоста всё не могла найти подходящее для вечеринки место...

— Мама, мама! У нас на поле опять круги появились! Из столицы приехали опять какие-то люди: будут всё обследовать и знаки расшифровывать!.. Здорово!!! Я же говорил, что инопланетяне существуют!..

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:



Главный редактор
Галина Студеникина



Редактор отдела прозы, корректор
Наталья Атланова



Редактор отдела поэзии
Дмитрий Ханин



Редактор отдела публицистики
Павел Малов



Дизайнер
Виктория Анистратова



Художник
Михаил Никулин



Фотохудожник
Александр Аникин



Фотохудожник
Владимир Хлыстов



Директор издательства «ДП»
Алексей Береговой



Дон — он и есть ДОН